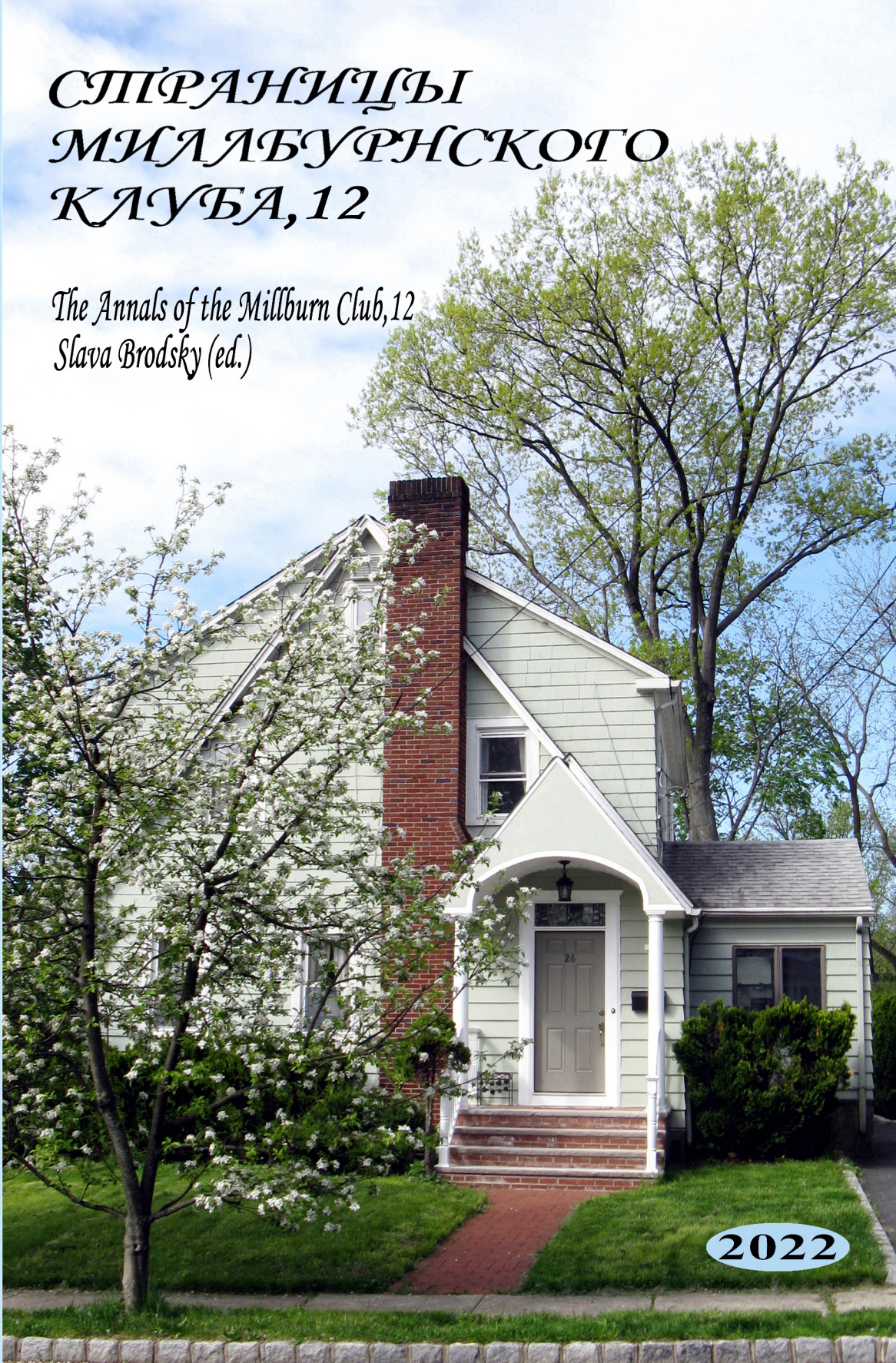


*СТРАНИЦЫ
МИЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 12*

*The Annals of the Millburn Club, 12
Slava Brodsky (ed.)*



2022



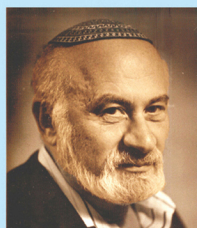
Юрий
Благовещенский



Александр
Бродский



Слава
Бродский



Борис
Гулько



Наталья
Зарембская



Рудольф
Иоффе



Зиновий
Кане



Яна
Кане



Мир
Каргер



Марина
Кацева



Игорь
Мандель



Лазарь
Мармур



Александр
Матлин



Юрий
Солодкин



Эльвира
Фагель



Виктор
Фет



Анатолий
Цукерман



Виктор
Штильбанс



Бен-
Эф



*СТРАНИЦЫ
МИЛБУРНСКОГО
КЛУБА, 12*

*The Annals of the Millburn Club, 12
Slava Brodsky (ed.)*



*Под общей редакцией
Славы Бродского*



Manhattan Academia

Страницы Миллбурнского клуба, 12
Слава Бродский, ред.
Анастасия Мандель, рисунок на титульном листе

The Annals of the Millburn Club, 12
Slava Brodsky (ed.)
Stacy Mandel, drawing on the title page

Manhattan Academia, 2022
www.manhattanacademia.com
mail@manhattanacademia.com
ISBN: 978-1-936581-31-3
Copyright © 2022 by Manhattan Academia

В сборнике представлены произведения членов Миллбурнского литературного клуба. Его авторы – Юрий Благовещенский, Александр Бродский, Слава Бродский, Борис Гулько, Наталья Зарембская, Рудольф Иоффе, Зиновий Кане, Яна Кане, Мир Каргер, Марина Кацева, Игорь Мандель, Лазарь Мармур, Александр Матлин, Юрий Солодкин, Эльвира Фагель, Виктор Фет, Анатолий Цукерман, Виктор Штильбанс и Бен-Эф.

This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Yuri Blagoveschensky, Aleksander Brodsky, Slava Brodsky, Ben-Eph, Elvira Fagel, Victor Fet, Boris Gulko, Rudolf Ioffe, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Marina Katseva, Igor Mandel, Lazar Marmur, Alexander Matlin, Victor Shtilbans, Yuri Solodkin, Natalie Zarembsky, and Anatol Zukerman.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА	4
ЮРИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ	
Я – КОЛМОГОРОВЕЦ	7
АЛЕКСАНДР БРОДСКИЙ	
Мой служебный роман	31
СЛАВА БРОДСКИЙ	
О ПЕРЕВОДАХ	47
БОРИС ГУЛЬКО	
ДРУЗЕЙ МОИХ ТАИНСТВЕННЫЙ УХОД... ..	80
НАТАЛЬЯ ЗАРЕМБСКАЯ	
СЕРАПИОНОВЫ БРАТЯ. Люди, годы и жизни	85
РУДОЛЬФ ИОФФЕ	
В СТРОЧКУ И В СТОЛБИК.....	127
ЗИНОВИЙ КАНЕ	
Ковид и русские классики.....	143
ЯНА КАНЕ	
ОНЕМЕНИЕ	148
МИР КАРГЕР	
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ	151
МАРИНА КАЦЕВА	
Последняя земная дорога Марины Цветаевой	187
ИГОРЬ МАНДЕЛЬ	
РОССИЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ.....	210
ЛАЗАРЬ МАРМУР	
СТИХОТВОРЕНИЯ	231
АЛЕКСАНДР МАТЛИН	
РАССКАЗЫ.....	236
ЮРИЙ СОЛОДКИН	
ШЕПЧУ НЕСОЧИНЕННЫЕ СТИХИ.....	248
ЭЛЬВИРА ФАГЕЛЬ	
БЕЗ РОДНЫХ МОГИЛ	258
ВИКТОР ФЕТ	
НА СЕВЕРНОМ КРАЮ КАРАДЕНИЗА	267
АНАТОЛИЙ ЦУКЕРМАН	
ВОСКРЕШЕНИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ	278
ВИКТОР ШТИЛЬБАНС	
САМОЛЕТНОЕ ДЕЛО В СУДЬБЕ СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ.....	288
БЕН-ЭФ	
СТИХОТВОРЕНИЯ	300

Предисловие редактора

В начале моего предисловия я хочу сказать несколько слов о Юрии Николаевиче Благовещенском, который был мало известен в нашем сообществе по Миллбурнскому литературному клубу. Он готовил свои воспоминания для сборника, но не дожил до того момента, когда смог бы увидеть их опубликованными.

Среди авторов ежегодника Миллбурнского клуба до сих пор нас было трое – Михаил Малюгов, Мир Каргер и я, – кто был в свое время как-то связан с Межфакультетской лабораторией статистических методов Московского университета. Эта лаборатория была уникальной в мировом масштабе и по своему составу, и по ее назначению. А руководил ею академик Колмогоров – абсолютный гений математики. Миша и Мир были сотрудниками этой лаборатории. А я работал в другом месте. Но был тесно связан с многими членами лаборатории общей тематикой. Моим неформальным гуру был Василий Васильевич Налимов – заместитель Андрея Николаевича Колмогорова и заведующий самым большим отделом лаборатории. Я был активным участником семинара Налимова, а также редким слушателем семинара Колмогорова. Однако моя кандидатская диссертация прошла в апреле 1969 года апробацию все-таки именно там – на семинаре Колмогорова.

Летом прошлого года по совету Мира Каргера я разговаривал с Юрием Благовещенским – многолетним сотрудником Межфакультетской лаборатории статистических методов. Он выразил желание участвовать в работе Миллбурнского клуба и, в частности, предложил мне посмотреть его воспоминания на предмет опубликования их в сборнике 2021 года. Сказал, что достанет все заметки из своих архивов, скомпонует все это вместе и пришлет мне. Позднее, когда он пожаловался мне на здоровье и сказал, что уложиться в срок не сможет, я предложил ему отсрочку. На что он ответил: «Спасибо, Слава! Я буду это иметь в виду, хотя у меня в сентябре намечались достаточно большие затраты времени на организацию одного проекта по коронавирусу (мы с Г. А. Сатаровым из фонда ИНДЕМ, с которым я плотно контактирую уже почти 30 лет, готовили его больше года). Впрочем, все зависит от моего здоровья, Его Величества Случая и удачи». Но в сборник 2021 года его статья так и не попала. «Извини, пожалуйста, что все так вышло, – написал он мне. – Будет “хорошая погода” – постараюсь поучаствовать в 2022 году».

К сожалению, «хорошей погоды» в дальнейшем было не так уж и много. И в феврале 2022 года Юрий Николаевич Благовещенский покинул наш мир в результате осложнений после коронавируса.

Его жена (я знаю, что формально здесь более уместно другое слово, – но формально писать не хочется), Вера Самсонова, повозилась с архивами Юрия, и в результате материал был представлен для публикации в сборнике. Так что желание Юрия в конце концов получило свою реализацию.

В послесловии к воспоминаниям Юрия о нем говорят Вера Самсонова, Мир Каргер и Георгий Сатаров. Мне здесь тоже хочется сказать несколько

слов о Юрии. С такой стороны, с какой уже вряд ли кто-то еще, кроме меня, может что-то сказать.

Юрий и я работали вместе около 25 лет в редакции журнала «Заводская лаборатория» (как тогда говорилось – на общественных началах). Несмотря на такое вроде бы малопривлекательное название, этот журнал был довольно почитаем в Союзе. Известен он был и в Америке. Его переводили там «от корки до корки» на английский. За что его авторам платили в американских долларах (правда, после вычитания налога Советским государством в размере около 98 процентов).

Стараниями В.В.Налимова в журнале была создана секция «Математические методы исследования». Но фактически это была секция прикладной математической статистики. Во всем мире выпускалась масса журналов в этой области науки. В Союзе – ни одного. И целью Налимова было создать в стране печатный орган, где могли бы публиковаться статьи, подобные тем, которые публиковались в ведущих журналах мира по прикладной статистике.

Кто входил в состав редакционного совета секции «Математические методы исследования»? Кто там был на первых порах? Формальным главой секции был академик Гнеденко. Но фактически ею руководил Налимов. Единственным штатным сотрудником была Галина Борисовна Преображенская. Кроме Налимова, колмогоровскую лабораторию представляли Лев Дмитриевич Мешалкин и Юрий Николаевич Благовещенский. И еще в составе секции были (с ее основания, как мне кажется) Соломон Менделевич Райский и Рафаил Самойлович Гутер. А я там представлял в единственном лице молодежь. Все обращались друг к другу по имени-отчеству, а когда и ко мне начали так же обращаться, я морщился, ну и меня стали звать просто Славой.

Как мы там работали? Мы приходили на заседания нашей секции с кипой статей, присланных авторами в журнал, и с рецензиями на них. Каждый из нас представлял эти статьи, знакомя всех с мнениями рецензентов, а также высказывая свое личное мнение и о статье, и о рецензиях на нее.

И вот как-то такое представление одной из статей делал Юрий Николаевич. Он сказал, что у него на руках две резко отрицательные рецензии на статью и что он согласен с теми замечаниями, которые там сделаны. Более того, он обнаружил в статье еще какие-то несурзиды. «Но, – сказал он, – там есть, на самом деле, одна здравая мысль». (Это были его любимые словечки – «на самом деле».) Потом он подробно объяснил, каким образом эта мысль могла бы стать основой для переработанной статьи и как можно было бы исправить там все ошибки и исключить все несурзидности. Естественно, возник вопрос, каким же образом все это может произойти. На что Юрий Николаевич ответил, что он сам свяжется с автором и поможет ему в дальнейшей работе над статьей.

Через полгода на очередном заседании секции Юрий Николаевич представлял нам вроде бы ту же, но «на самом деле» в корне

6 ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

переработанную статью, которая вскоре вышла под именем автора с благодарностью в адрес Юрия Николаевича.

Ну, понятно, что если я запомнил этот эпизод, который произошел около 50 лет тому назад, значит, он оказал на меня какое-то влияние. Думаю, уверен, что определенное влияние этот эпизод оказал не только на меня. В результате вот такое бережное отношение к авторам стало тем, что отличало работу нашей секции «Математические методы исследования» от других редакционных коллективов. Если статья содержала здравую идею, то уже несмотря ни на что – ни на запутанность изложения, ни на плохой язык, ни на какие-то отдельные ошибки, – она не выбрасывалась в мусорную корзину, даже если автор был никому не известен. Стиль работы – недостижимый, как я вижу сейчас, даже для ведущих статистических журналов Америки. И заслуга в том, что этот стиль стал основой нашей работы в секции «Математические методы исследования», в большой степени принадлежала Юрию Николаевичу.

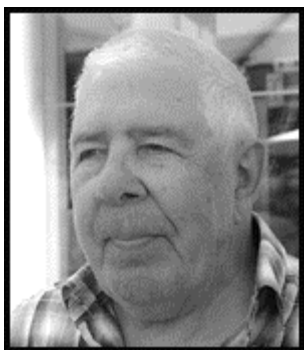
Теперь я хочу сказать еще несколько слов о сборнике этого года. Под его обложкой оказались творения 19 авторов. Кроме Юрия Благовещенского, в нем еще четыре дебютанта. Это Марина Кацева, Виктор Фет, Анатолий Цукерман и Виктор Штильбанс. И я всех их приветствую вот в этом качестве.

Наш сборник выходит в военное время. Война на Украине, которая уже унесла десятки тысяч человеческих жизней и доставила страдания миллионам людей, продолжается. Многие члены Миллбурнского литературного клуба, как я знаю, оказывают разного рода поддержку тем, кто борется против агрессии России. К ним присоединились и те авторы нынешнего ежегодника, которые решили оказать такую поддержку своим словом.

Сборник в том виде, в котором он был сформирован в этом году, мне в целом нравится. Думаю, что он понравится и нашим читателям. Им я хочу напомнить, что ежегодник Миллбурнского клуба – издание не коммерческое. Его выпуски всех лет мы располагаем со свободным доступом на различных сайтах интернета. В частности, их можно читать бесплатно на моем сайте www.slavabrodsky.com и на сайте клуба www.mypedia.com.

В этом году над редактированием сборника работала Рашель Миневич. И я благодарю ее за внимательное и неформальное отношение к работе. Кстати, эту большую помощь в процессе подготовки сборника к изданию она оказывает мне уже десятый год подряд. И я хотел бы ее за это по-дружески обнять, но, к сожалению, не знаю, как это можно было бы сделать на страницах моего предисловия.

Слава Бродский
Миллбурн, Нью-Джерси
19 октября 2022 года



Юрий Благовещенский -

доктор физико-математических наук, профессор. Окончил механико-математический факультет МГУ в 1957 году. Работал в Лаборатории теоретической физики в Дубне, в ВЦ Армянской АН, в Межфакультетской лаборатории статистических методов МГУ, руководимой А.Н.Колмогоровым, и в Межфакультетской лаборатории им. А.Н.Белозерского. Область научных интересов: проблемы анализа статистических данных, представляющих реальные объекты исследования. Автор более 150 научных работ, в том числе соавтор монографий: «Совершенствование методов прогноза ресурсов изделий, разрушающихся от усталости» (1990) и «Анализ надежности технических систем по цензурированным выборкам» (1998).

Мое студенчество вместило в себя ряд поворотных событий в истории СССР: смерть Сталина и доклад Хрущева о культе личности, ввод советских танков в Будапешт и начало короткой эпохи, которую назовут «Оттепелью». Об этом времени, об учителях и сокурсниках, о первых конфликтах студентов мехмата с властью и о других событиях я рассказываю в своих биографических заметках.

Я - колмогоровец

1. Истоки

Когда-то, еще до окончания седьмого класса, бродя по каменистым и болотистым предгорьям Хибин и купаясь в холодной Имандре, я мечтал осчастливить человечество. Не меньше и не больше! Я лишь не знал, как это сделать, мучительно размышляя о том, куда человечество бредет и что ему надо...

Так случилось, что одна из комнат в одном из домиков на базе Лапландского заповедника была завалена книгами самого разного содержания. Среди этой свалки на полу, в каком-то обшарпанном шкафу, на столе и под ним, на нескольких дощатых полках под потолком можно было обнаружить Энгельса и Гумилева, Фрейда и Макаренко, учебник Киселева и «Историю религий» протоиерея Смирнова. Это были книги, которые захватили с собой «интеллигенты», удиравшие от репрессий на север после 37-го года. Это своеобразное хранилище книг на заброшенном берегу озера Чуна собрал, насколько я знаю, внук знаменитого путешественника Семенова-Тян-Шанского, бывший тогда старшим научным сотрудником в этом заповеднике.* Нас же, моих родителей с детьми, постигла та же участь беженцев из Москвы 37-го года: я нашел в отцовских бумагах небольшую записку от Семенова-Тян-Шанского:

* Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский (1906–1990), патриарх Лапландского заповедника.

«Николай, соглашайся с моим предложением и срочно переезжай сюда...», причем «срочно» было подчеркнуто три раза. Эта открытка датировалась пятым мая и была отправлена в Улан-Удэ, где отец в это время проводил какие-то работы по озеленению города. И уже в начале июня отец перебрался в Заповедник, мать со мной и родившейся 8 августа моей сестрой отправилась к отцу в конце сентября, с коротким заездом в Москву, где у матери была крыша.*

С осени 43-го года до возвращения отца с войны в 45-м я проводил долгие заполярные зимы в этой «комнате с приведениями», читая запоем все, что попадало под руку. Это было не чтение, а глотание книг, жадное поглощение непонятного и загадочного мира слов. Я трансформировал прочитанное в какое-то фантастическое пространство. Например, я объяснял сестренке, что «гавны – это такие большие птицы», из-за каких-то фраз о гуннах, которые налетали на своих врагов, как птицы, а слово «говно» слышал где-то на улице, не отдавая себе отчета в его смысле.

Чтение мое было весьма эклектично: это и Энгельс – «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и книжка стихов Гумилева «Шатер» (запомнилось: «...Дико ринутся хищные стаи песков из пылающей юной Сахары...»). Из нее я тогда выучил взволновавшее меня стихотворение «Жираф», его таинственные и притягательные строки: «Ты плачешь? Послушай: далеко, на озере Чад изысканный бродит жираф». «Изысканный» я понимал по-своему: тот, которого искали, но не нашли, прямо-таки изыскались!.. Когда в 45-м году я поступал в Апатитах в четвертый класс, я читал это стихотворение запрещенного Гумилева, но ни я, ни учительница этого не знали. Вообще-то после возвращения из эвакуации осенью 1943 года мне полагалось бы учиться, но из-за отсутствия школы меня обучала мама, и весьма своеобразно. Например, выбирала из задачника по арифметике пять задач и запирала меня в библиотеке, раз в час проверяя, как я справляюсь, и порой подсказывая что-то.** Правило было примерно таким: «Пока все задачи не решишь, кататься на лыжах не пойдешь!» А я сплошь и рядом увлекался каким-нибудь чтением...

Детей на базе заповедника было мало. К 1945 году мне было 11 лет, на год старше меня был Гена Пушкин, еще была какая-то девочка лет десяти, а остальные были малолетки, не старше семи лет. И все же иногда мы хулиганили. Первого апреля 1945 года, когда всем уже было ясно, что война вот-вот кончится, мама приболела, и я вместо нее рано-рано утром пошел

* Переулок Стопани, 12, квартира 40. Там жили А.В. Померанцева, мамина тетя, старая большевичка; Ада Лазо, вдова знаменитого Сергея Лазо; вдова погибшего латышского стрелка (кажется, Карла Петерсона).

** Позже, летом после шестого класса, мама «исправляла» мое письмо следующим образом. Дала мне переписывать страниц пять из «Капитанской дочки» Пушкина. Я должен был их переписать, не сделав ни одной ошибки. Если ошибка обнаруживалась, я должен был начинать все сначала. На седьмой раз мне удалось переписать весь текст без ошибок.

снимать показания метеорологических приборов. Обнаружив, что сегодня 1 апреля, я устроил «представление». Около склада (магазина), где обычно выдавали по карточкам продукты, натаптываю кучу следов, используя снегоступы и чьи-то старые валенки, затем бегу к живущим в одном из крайних домиков (за речушкой), бужу их и кричу: «Эй! Война кончилась! Всем продукты раздадут бесплатно – а вы почему не идете?» Что-то в таком духе... Хозяйка (лопарка) побежала к складу, увидела следы, бросилась искать кладовщицу, разбудила всех в доме барачного типа. А я схватил лыжи и ушел в лес, прятался от взрослых почти весь день.

Откуда-то отсюда, из этих книжных путешествий, из жуткой памяти эвакуационного голода* на юге Архангельской области и из всей скудности окружающей жизни с нехваткой пищи, бумаги, одежды и многого другого родилось мое желание осчастливить людей, все человечество. Я пытался разговаривать об этом с мамой, которая, по ее же выражению, была не столько читателем, сколько книгоглотателем, работая библиотекарем в поселковой библиотеке после нашего переезда в Зашеек** в декабре 1945 года. Она подсовывала мне книги по истории. И я разговаривал об этом с бабушкой, которая была верующей и иногда по церковным праздникам ездила в Кандалакшу на церковную службу. Как-то я спросил у нее о ее Боге: «Чем он тебе помогает, бабушка?». Ее ответ – а дело было на Рождество и за Полярным кругом – был примерно следующим: «Представь, что это темное время никогда не пройдет, – тебе ведь будет хуже от этого; но ты знаешь, что наступит время, когда вернется солнце, и веришь в это, поэтому гораздо легче переносишь все эти темные дни. Так вот, Бог – это мое солнце, которого сейчас нет, но в которое я верю, а потому могу пережить все эти тяжелые времена...» Из этих разговоров я хотел узнать, что нужно людям, чтобы они были счастливыми, чтобы им было хорошо. Но у меня ничего не получалось.

Но где-то в 14–15 лет, точно не помню, читая какую-то историческую книгу, я вдруг осознал великую истину. Не смейтесь, пожалуйста, но я до сих пор восторгаюсь тем своим прозрением. Я вдруг понял, что нельзя узнать, что понадобится людям в будущем для счастья, но изучая историю, можно узнать, чего им не надо, от чего они отказывались, что делало их несчастными, против чего они восставали. Это в большой степени повлияло на мое будущее. Я полез в серьезные книги по истории и вскоре обнаружил, что ответы на самые главные вопросы надо искать в истории религий. И это те корни, из которых растет моя гуманитарная составляющая, та

* Вот строки из моего стихотворения об умершей там сестре Лиде (ей было тогда три года): «...Вздыблен лед на Двине, майским солнцем расколот. Хоронили сестренку... Той жестокой весной даже тени умерших детей продолжали испытывать голод».

** Отец получил должность лесничего в Зашейковском лесхозе (позднее был директором лесхоза), а поселок существенно позднее стал городом Полярные Зори при Кольской АЭС.

внутренняя независимость сознания от пут, которыми обволакивает окружающая действительность.

В этом моем становлении большую роль сыграла, наверно, моя тетя Римма, папина сестра, у которой я жил три года и которая преподавала в школе № 5 г. Калининграда (Кенигсберга) литературу. (Дело в том, что в Зашейке не было старших классов, и родители отправили меня к ней в 1948 году после моего седьмого класса.) И поступать в университет в 1952 году я ехал на филологический факультет. Я поселился на Стромьнке (старое общежитие МГУ), но радость была недолгой: уже на другой день мне предложили забрать документы. Я никогда не был послушным и стал выяснять, в чем дело, дойдя до председателя приемной комиссии. И вот тут мне повезло. Один смелый человек в приемной комиссии объяснил мне, что это из-за отца, но я могу учиться на каком-нибудь другом факультете. И он стал перечислять: химический, физический, мехмат... Я выбрал мехмат. «А вы понимаете разницу между мехматом и филологическим?» – спросил он. Я ответил грубовато: «Если бы не понимал, согласился бы на химический...» Вот так и случилось, что уже 1 августа я стал сдавать экзамены на мехмат.

И самое удивительное, что я поступил. Правда, физику и математику я знал хорошо, по-немецки мог даже разговаривать, литературы и русского, естественно, не боялся, но вот с химией была беда. Несмотря на пятерку в аттестате, я знал ее очень плохо. Но мне и тут повезло. По дороге в Москву на перроне в Петрозаводске я купил маленькую книжечку, в которой популярно рассказывалось про диофантовы уравнения. А на экзамене по химии у меня была задача с определением коэффициентов в росписи химической реакции, которую я легко свел к системе диофантовых уравнений и решил их. Экзамен начался с проверки задачи, но экзаменаторы (двое), видя правильный ответ, не смогли понять моего решения и привлекли кого-то, кто знал математику. Довольно долго разбирались, установили, что я имел право так решать их задачу, и... забыли про билет. Впрочем, какой-то один вопрос по теме билета они задали, и я ответил на него правильно. В результате я получил пятерку, хотя рассчитывал в лучшем случае на четыре. В итоге я набрал 33 балла из 35 возможных и стал студентом мехмата МГУ.

2. Мехмат, младшие курсы

Вначале было старое здание МГУ и общежитие в Коломенском (где-то там, точнее не помню), до которого мы добирались чаще всего на трамвае. После занятий на Моховой мы быстро перебежали Красную площадь и Большой Москворецкий мост и садились на трамвай №3, который вез нас в «Нижние котлы» (бывшая деревня, которая в 1932 году стала районом Москвы). Оттуда уже было рукой подать до общежития. Это было двух- или трехэтажное здание барачного типа (длинный коридор с комнатами налево и направо). В комнате нас было шестеро. Один, Михаил Шерстнев, был

слепым и лет на пять старше нас, его сопровождали на занятия и обратно по очереди (и не только ребята из нашей комнаты).

6 марта 1953 года в 6 часов утра радио разбудило нас сообщением о смерти Сталина. Женя Майков (мы подружились еще во время вступительных экзаменов) тут же предложил вывесить общежитскую стенную газету (мы с ним составляли «редколлегию») и даже придумал сходу текст, заменив Ленина на Сталина в хорошо нам известных тогда бравурных строках Маяковского: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» Я поучаствовал в этом деле; нашелся лист ватманской бумаги, были найдены какие-то вырезки из газет с портретами вождя; как-то все оформили и вывесили чуть ли не к восьми утра. Кто-то собрался ехать в университет, откуда-то прошли слухи, что занятия отменяются, у кого-то были слезы, суетились комсорги.

* * *

До поступления в университет я жил на Севере, зимой учился в школе, а летом работал. Работа моя была сравнительно легкой: сажал деревья-саженцы – на старых горях; дежурил на Лысой,* проверяя, не начинается ли где лесной пожар; собирал ветки, помогая лесорубам. Рабочие люди были выходцами со всего Союза, но в основном – те, кто постарше – бывшие «кулаки» или отпущенные после отбывания срока лагерники из здешнего ГУЛАГа, из ИТЛ Мончегорска, Апатитов и Кандалакши. Среди них были и весьма примечательные люди, наши соседи. Назову лишь три фамилии, так как взрослых не помню, но дружил с их детьми: Мисник (инженер-архитектор, строил Мончегорск), Быстров (директор лесопильного завода в Зашейке), Китаев (родом из Москвы, вроде бы один из замов Лихачева с ЗИС). Подрабатывая на сборе веток, я часто оказывался среди лесорубов. Они много пили, но никогда не были «подзаборниками», такие на севере не выживали и двух зим. Во хмелю практически всегда жили воспоминаниями, особенно о том, как их обобрали «энкавэдэшники». А иногда пели свои песни. Слышал я и политические частушки, например: «Кто сказал, что Ленин умер? Я вчера его видал: без порток в одной рубашке пятилетку догонял!» Да и про Сталина наслышан был. Дома у нас было табу на темы политики, так что на мои вопросы и отец, и мать давали уклончивые ответы, которые скорее подтверждали рассказы мужиков, чем опровергали их, но одновременно все эти темы как бы исключались из реальности, они были тайным знанием, великим секретом.

Так что в моем мозгу про Сталина было много чего запретного, такого, о чем не дай бог кто узнает. Например, звучный голос лесоруба Максимова, настоящего русского богатыря: «...Для нас – мороз и северные дали, горят костры и хочется домой... На зависть нам живет товарищ Сталин – усатый

* Гора высотой чуть более полукилометра, около поселка Зашеек, на которой стояла лачужка с телефоном на базу лесхоза, спасавшая только от дождя, да и то не очень.

вождь, мучитель дорогой!» И я не придумал ничего лучшего, как смяться из общегития. С рюкзаком добрался по Варшавскому шоссе на попутке до реки Лопасня и побрел вдоль нее. Наткнулся на пещерку, устроил себе настоящий шалашик и проторчал с буханкой хлеба вдалеке от всех событий полтора дня. Честно говоря, я боялся, что выдам себя чем-нибудь, притворяться никогда не умел.

* * *

Из времен первого курса запомнились больше всего лекции Минакова Андрея Петровича. Конечно, он был артистом своего дела, но главное, мне кажется, было в его романтическом отношении к науке, в частности к механике. Представьте себе, что читается лекция о гравитации, о законе притяжения Ньютона. И вы слышите вдохновенный монолог красивым баритоном: «Подул ветер, мимо пролетела птица, кто-то плюнул – все это влияет на полет падающего камня, но... (поднятый, как бы указующий вверх палец)... но среди всего этого хлама и хаоса, как жемчужина, сверкает ЖЭ ТЭ КВАДРАТ ПОПОЛАМ!» Или: «Ищите инварианты людей, в них их суть!» На другой лекции подходит к девушке в первом ряду и рукой толкает ее в правое плечо. Она смотрит на него изумленно и молча, а он спрашивает: «Почему вы отклонились влево?» И сам же отвечает: «Потому, что я приложил к вам силу, а сила имеет направление!»

Год пролетел как-то незаметно, жил я крайне скудно, на одну стипендию. Сейчас даже трудно понять, как это нам удавалось (говорю «нам», так как живущих на стипендию было не так уж мало, в моей группе из 22 человек таких было еще четверо, насколько я помню).

В новом здании на Ленинских горах было великолепно. Большинство из нас жили по двое в одном блоке. Блок – это маленькая двухкомнатная квартирка с туалетом и душем. В каждой комнате стоял диванчик (кровать), книжный шкаф и стол с двумя стульями. Были еще блоки без перегородки между комнатами. Но в них только студентов селили по двое, а аспирантов – по одному. От главного холла тянулись три коридора: влево, вправо и вглубь здания, в сторону учебного корпуса (зона «А»). В каждом коридоре была хорошо оборудованная кухня – правда, без посуды, если не считать чайник (один на блок) и графин для воды с парой стаканов в каждой комнате.

Я жил в одном блоке с Женей Майковым, а в паре блоков от нас жили в одной комнате Сергей Худяев и Кабдуш Наурызбаев. В нашей общежитской компании были еще три девушки: Галя Архипова и две Юли, Синицына и Голопятова. Мы частенько вечеряли вместе, собирая в кучу все добро, которое у нас было. Иногда это был всего лишь чай с хлебом, иногда картошка с луком и растительным маслом, а на редкие праздники покупалась и бутылка вина, например портвейн «Три семерки» или ликер для девушек (на языке вертится название «Лимонный», но уверенности нет). Любителей выпить среди нас не было.

Нашу компанию поддерживали «москвичи» – Игорь Гирсанов, Слава Ерохин, Наташа Иванова и в какой-то своеобразной манере Миша Вайнштейн. Он был в своем пространстве, внутри себя, но вдруг раскрывался, как волшебный папоротник, вспыхивал и снова пропадал на долгое время. Мог вдруг приехать в общежитие с рюкзаком продуктов и устроить для всех нас праздник с выпивкой. А еще я с ним месяца два-три был в одной команде бригадмила, в дежурствах в районе нынешнего метро «Университет» и улицы Строителей, где жили тогда рабочие, устраивавшие окрестности МГУ. Рядом с ним было просто, легко и надежно, а внешне он выглядел очень домашним.

Мы все (кроме Майкова) учились на первом курсе в одной группе. И даже экзамены обычно сдавали по некоторому сложившемуся правилу. Среди первых шли Игорь, Галя Архипова и я, иногда Наташа Иванова, а в конце – Слава Ерохин и Миша Вайнштейн. Это (кроме меня) была непробиваемая команда, получавшая только пятерки, кто бы их ни спрашивал и какой бы предмет они ни сдавали.* А я мог оступитья до четверки, особенно по истории партии.

Конечно, нельзя обойти молчанием наших великолепных преподавателей. Механику теперь, после смерти Минакова в начале 1954 года, нам читал Николай Гурьевич Четаев. Ничего особенного о нем сказать не могу, помню лишь один эпизод на экзамене. Он спрашивает, какие законы сохранения я знаю (имеются в виду классические законы механики). Называю закон сохранения механической энергии, затем, пытаюсь не ошибиться в формулировке, медленно говорю: «Закон сохранения импульса...» и вижу, как Николай Гурьевич загибает еще три пальца на руке. И мгновенно сообразив, что это означает, радостно продолжаю: «...и закон сохранения момента импульса, оба – как трехмерные векторы, по каждой из своих трех компонент!». Он смотрит на меня, берет зачетку и ставит пятерку. Уже выйдя из аудитории, я узнаю, что это один из его коронных вопросов при выборе, что поставить – четыре или пять.

Куратором нашей группы была Роза Садековна Гусарова, которая к тому же вела у нас практические занятия по математическому анализу. Мне лично она казалась искренней и одновременно скрытной женщиной. В ней были материнская доброта, благожелательность и некая глубинная скорбь. Наверное, это была реакция на какие-то следы, которые оставила в ее душе война. Мне всегда хотелось отвечать на ее занятиях и зачетах так, чтобы не создавать ей никаких проблем: чтобы ей не нужно было решать, какую оценку мне ставить. Насколько я теперь знаю, она была в армии с лета 1942 года.

Лекции по математическому анализу нам читал легендарный

* О том, каким был уровень нашего курса, можно судить по следующей статистике: каждый второй получил в итоге научную степень, причем каждый седьмой защитил докторскую диссертацию.

профессор мехмата – Лев Абрамович Тумаркин. Но на экзаменах я к нему не попал ни разу (в конце каждого из первых четырех семестров): один раз сдавал Гусаровой, дважды – Зое Михайловне Кишкиной* и один раз – какому-то аспиранту с кафедры математического анализа, уже не помню. Зое Михайловне я сдавал экзамен в начале июня 1954 года, за несколько дней до своего 20-летия. Это было в большой аудитории, сдавали все «математики», около 120 человек. Предмет я знал хорошо, отвечал бодро и получил пятерку. Выхожу, показываю пять пальцев, и ребята из соседней группы говорят, что я установил рекорд: получил у Кишкиной пятерку за 23 минуты. Оказывается, она ведет у них занятия по математическому анализу и они уже второй год отмечают, за какое время можно у Зои Михайловны получить пятерку. Я не успел особо возгордиться – в тот же день мой рекорд побил мой сокурсник Миша Федорюк: он получил у Кишкиной пятерку за 21½ минуты!

3. Мехмат, 1956 год

У меня были замечательные родители и я был первенцем. В шутку и чуть-чуть всерьез мои младшие сестры-двойняшки говорили, что одна половина талантов отца и матери досталась мне, а другая – всем остальным детям (а их было семеро!). Конечно, это было не так.

Я ощущал жестокую нехватку времени, так как хотелось всего сразу. Я бросался то в математику, то в физику, то в литературу, то в историю верований и религий, то в спорт, не считая участия в жизни факультета и общежития. Вот некоторые штрихи к этой моей разбросанности.

На третьем курсе я, как представитель мехмата, входил в Совет общежития и отвечал за «культуру». От физфака за «культуру» отвечал Юра Гапонов. Общались мы с ним часто и по-приятельски, и по делам, но общей компании не имели. Однажды мы вместе ходили к И.Г. Петровскому по поводу «африканцев»: наши ребята в темную отлупили двух черных за грубые приставания к девчонкам. И этих ребят (второкурсников) решили исключить из МГУ. Иван Георгиевич выслушал нас и согласился оставить «забияк»: фактически они на пару лет сняли проблему африканцев, которые до этого вели себя безобразно... На старших курсах Юра был знаменит: он один из главных движителей физфаковской оперы «Архимед» и физфаковских капустников (День Архимеда).

Кстати, после окончания мехмата я распределился в Лабораторию теоретической физики Николая Николаевича Боголюбова (Дубна, ОИЯИ) по совету Юры Гапонова – он знал, что на 3–4-м курсах (плюс осень 5-го курса) я параллельно с учебой на мехмате бегал слушать лекции на физфак

* Про ее методы преподавания ходили легенды, но я у нее не учился, так что ничего нового сказать не могу. Я лишь расскажу об экзамене у нее и об экзаменах, которые сдавал ее мужу, профессору Курошу.

и хотел бы продолжить это.

Еще в школе я начал «писать» стихи. Все, что вспоминаю, – весьма посредственное и чужое. Я никак не мог отвязаться от того, что знал наизусть, а это – прорва стихов из Пушкина (включая первые три песни из «Руслана и Людмилы», большие куски из «Евгения Онегина» и из сказок), Лермонтова, Фета, Маяковского и многих других. И все время в собственные строки «вползали» обрывки чужих строк. И мне было очень трудно с этим бороться. На третьем курсе я стал ходить в литстудию МГУ (или студию поэзии, или кружок, уже не помню), занятия которой проходили в Клубе МГУ на Ленинских горах. Но очень скоро, после одного конфликта, бросил эти занятия. Разговор шел, насколько мне помнится, о качестве рифм, и из-за моего вздорного характера я влез с замечанием, что говорить о рифмах вне «плоти» стихотворения бессмысленно. Сейчас уже не важно, какие аргументы использовались мной и ведущим,^{*} важна лишь концовка этого спора. Мне предложили прочесть какое-нибудь свое стихотворение для разбора. Я уже не вспомню, что я прочел, но мне как-то очень не понравился характер разбора, из которого следовало, что я так упорно отстаиваю «неточные» рифмы из-за того, что у меня не хватает терпения их подыскивать, что я мало работаю над стихом.

Кипя от скрываемого возмущения, я сказал, что нет никакой сложности в точных рифмах: «Дайте мне какой-нибудь звук, и я тут же за 10 минут продиктую вам аллитерацию на заданную тему с абсолютно точными рифмами в соответствии со всеми канонами стихосложения из трех четверостиший». Это, мол, «уничтожит» главный тезис (не хватает терпения и мало тружусь). Пари было принято и мне была названа буква «Ш». В итоге я сымпровизировал «Шуршание»:

Где-то за окном шуршат машины,
заглушая шепот тишины,
Шорох мне мерещится мышинный
в шелесте полуночном весны.

Слышится, как что-то шебаршится,
чьи-то вздохи, шарканье шагов,
и ушам шущукание мнится
в шумном придыхании часов.

Шевельнется вешняя тревога –
горше одиночество души...
За окном уставшая дорога
шинами по-прежнему шуршит.

Но это еще не все: студия хором признала, что я этот спор выиграл. И тут кто-то подал свой голос: «Нет! Он проиграл! Ведь последняя рифма – неточная!». И верно, «души» и «шуршит» – не очень точная рифма, но все

* У меня в памяти почему-то застряло, что это был семинар, который проводил в конце 1954 года Павел Антокольский, но никакого подтверждения его возможному участию в современном интернете я не нашел.

было построено на звукоряде и при чтении это расхождение рифм совершенно не слышится, так что его прозевали, а тем самым я выиграл дважды!

И еще я увлекался спортом. Именно увлекался: я ходил в лыжную секцию (2-й разряд), где по осени и по весне мы бегали на длинные дистанции, занимались спортивной ходьбой; параллельно я играл в шахматы (1-й разряд), начал играть в настольный теннис (достиг к пятому курсу 1-го разряда); с Игорем Гирсановым мы устраивали походы по Подмосковию. Об Игоре можно рассказывать много и долго, но я лишь процитирую один абзац из моей заметки о нем «Памяти друга» в газете «Московский университет» от 21 марта 1969 года:

«В университете Игоря направили в группу общей физической подготовки – шумы в сердце... А Игорь, скрыв это, пришел в лыжную секцию. Тренировки были тяжелыми: вверх, вниз по Ленинским горам, по Раменским оврагам. Самым трудным для Игоря был зачет по бегу на три километра – сердце подводило. И вот мы, несколько его товарищей, по очереди “натаскивали” его: кто-то из нас бежит в необходимом ритме, а Игорь – за ним. Раз пять он бежал со мной – никогда не забуду, как я, оборачиваясь и видя его бледное, с закушенными губами лицо, останавливался. Но Игорь сердито требовал: “Беги!” – и, лишь падая навзничь, с посеревшим за какие-то мгновения лицом, виновато умолкал... Он победил свое сердце, и в печальный год своей гибели в Саянах был одним из сильнейших туристов-перворазрядников МГУ».

Литстудия, общежитие, разные виды спорта и некая «деревенская» легкость заводить разговор с незнакомыми людьми были источниками новых знакомств и случайных общений. Я легко сходилась с людьми, но мало кого допускал до своего внутреннего «Я». Вспоминая 1956 год, могу назвать всего двух сокурсников, Игоря Гирсанова и Сергея Худяева, с кем мог откровенничать практически на любые темы. А вот с очень близкими мне в то время Женей Майковым и Кабдушем Наурызбаевым я ни о чем, затрагивающем устройство нашего общества, не говорил и не стал бы говорить. И причины были не в них, а во мне.

Дело в том, что мои взгляды на «демократический централизм», на общественные науки, а во многом и на всю политическую систему СССР были глубоко запрятаны и туда никто не допускался. Я ни с кем не делился своим отношением к происходящему в стране и мире: события в Польше и Венгрии, доклад Хрущева на съезде КПСС, Суэцкий кризис... Это те события, которые меня тогда интересовали, но мне не с кем было поделиться своими эмоциями. Я уже тогда был инакомыслящим, но всегда считал, что нельзя ничего разрушать, если не знаешь, что будет на месте разрушенного, пока нет проекта нового строительства.

Я себя не относил и не отношу к диссидентам, я – инакомыслящий, то есть я не включаюсь в борьбу «против», а пытаюсь вести конструктивную

критику и предлагать решения, которые отвечают моему личному взгляду на такое понятие, как «честная и умная власть».

И это мое «вольнодумство», конечно же, как-то просачивалось во внешний мир, это явно чувствовали мои мудрые* однокурсники и это как-то отражалось на наших отношениях. И в какой-то мере повлияло на то, что я поучаствовал в двух студенческих актах, о которых можно и сейчас найти некую информацию в Интернете, набрав «бойкот столовых в МГУ, 1956 год» и «дело о Литературном бюллетене, 1956 год, мехмат МГУ». Об этом я и хочу рассказать.

В «дело о бойкоте столовых» меня втянул Вадим (Дима) Янков, мой однокурсник, с которым у меня не было тогда даже приятельских отношений, просто – однокурсники. А позже наши пути разошлись, он был активным участником диссидентского движения, а я «инакомыслил», не участвуя в диссидентских акциях. И при всем при том меня за мои грехи (записанные тексты, стихи и разговоры) неоднократно вызывали кагэбэшники для собеседования.** После развала СССР мы с Димой неоднократно беседовали обо всем этом на наших курсовых встречах. В Википедии имеется достаточно подробная биографическая справка «Янков, Вадим Анатольевич».

В 1956 году я входил в какой-то общежитский комитет, где по «должности» занимался устройством быта студентов. В результате Дима Янков (Вадим) привлек меня к тому, что в конце концов вылилось в бойкот столовых.

Поначалу я предложил «поймать» руководство столовой (зона «В») с поличным, что и было сделано. А именно: пройдя с «шапкой» по общежитию, мы собрали инициативных ребят и закупили около 40 порций масла (как мне помнится, по 30 граммов каждая). Затем все это было статистически обработано (каждая порция весила меньше нормы, что в сумме давало около 15% недовеса). С этим мы и пошли к директору столовой (от общежитского студкома). Но директор сказал, что он ничего не может поделать, а для наказания кого-либо нужна партийная комиссия и инспекция народного контроля.

С этим я и вернулся к Диме Янкову. Вообще-то идею бойкота Дима проталкивал и со студентами других факультетов. И эта идея уже бродила по нашему общежитию, а после контрольных замеров масла откликнулась и на Стромынке, где студенты, наткнувшись сначала на некачественную

* Не побоюсь сказать, что Игорь Гирсанов, Миша Вайнштейн и Слава Ерохин, с которыми мы учились тогда в одной группе, были гениальными людьми, без всякой скидки на возраст.

** В спецотдел МГУ; в дом на улице Горького, чуть выше Почтамта; в следственный отдел (это было по делу Юрия Орлова, работал почему-то следователь из Перми, а вот где это было – уже не помню). И дважды меня останавливали прямо на улице, для «откровенных» бесед с плохо завуалированными угрозами.

пищу (кажется, сардельки), 25 мая устроили бойкот столовой с пикетом, который никого не пускал.

А китайские студенты «проголосовали» против бойкота и пытались прорваться.* Возникла небольшая драчка пикета с китайцами, что вылилось в «международный скандал».

Я тогда с Димой разошелся в тактике действий: всем «своим» общежитским активистам я предложил не устраивать пикеты из-за этих китайцев, а Дима Янков считал, что все равно надо бойкотировать, и пошел в пикет один.

К очень косвенному участию в Литературном бюллетене меня привлек Миша Вайнштейн, который знал о моих литературных потугах, и через знакомых по Литстудии, в которую я тогда ходил весьма часто, предложил подготовить материал для дискуссии на филфаке о романе «Не хлебом единым». Впрочем, я просто связал одного аспиранта (фамилию уже не помню) с филфака с Мишей, а потом вместе с этим аспирантом участвовал в подготовке написанного.

Мне это не очень-то навредило – слишком уж яркие личности там участвовали, я на их фоне «не смотрелся». Однако где-то на заметку я, видимо, попал – похоже, мне это, аукнулось на госэкзамене по Истории партии, как считал тогда мой руководитель дипломной работы Добрушин Роланд Львович, собиравшийся взять меня к себе в аспирантуру. В итоге «допроса с пристрастием» я получил тройку (по математике, физике и механике у меня были пятерки).

Эта «тройка» закрыла мне путь в очную аспирантуру, а потому я распределился в Дубну, в ОИЯИ, в Лабораторию теоретической физики Н.Н. Боголюбова. В то время среди его молодых сотрудников были такие блестящие ученые, как Логунов А.А., Ширков Д.В., Черников Н.А., отдельными направлениями исследований руководили Смородинский Я.А., Блохинцев Д.И и Марков М.А.

Основным моим занятием были модели Ферми столкновения частиц высоких энергий и рождения новых частиц (по наблюдаемым трекам в пузырьковой камере), которые я исследовал в компании с Г.Копыловым, физиком и поэтом (известен по поэме «Евгений Стромьнкин»). Параллельно я участвовал в расчетах «стохатрона» – разгона частиц случайными ударами магнитного поля. Там главной математической проблемой было описание процесса прилипания частиц к стенкам: поток частиц, летящий с несусветной скоростью, диффундировал в ортогональной к потоку плоскости. Это был диффузионный процесс с малой диффузией по отношению к детерминированному движению

* Миша Белецкий пишет, что китайские студенты «целую ночь на собрании решали вопрос, присоединяться ли им к бойкоту... В конце концов, кажется, таки присоединились». Нет, они не присоединились, не случайно у Миши написано «кажется».

процесса.

Здесь я не могу удержаться и не рассказать, как я оказался «расчетчиком стохатрона», идею которого сформулировал и «заказал» расчеты Владимир Иосифович Векслер, заведовавший тогда Лабораторией высоких энергий в ОИЯИ. Режим тогда был весьма строгим, начало работы (восемь часов утра) фиксировалось, а я никогда не был очень аккуратен, так что на меня вскоре «донесли»: докладная о моих опозданиях легла на стол директору ОИЯИ Дмитрию Ивановичу Блохинцеву. К выходцам из МГУ относились с уважением, так что Блохинцев со мной беседовал лично. Сейчас я уже не помню, какой бес в меня вселился, но я стал оправдываться тем, что голова у меня начинает работать не по расписанию и потому я прошу поставить в моем пропуске «звездочку» (свободный вход-выход). Блохинцев не выдержал такой наглости и высказал мне кучу своих мыслей по этому поводу, шикарно пользуясь русским матом. И пригрозил мне увольнением со строгим выговором. Как-то я все это осознал и чисто интуитивно «поймал линию защиты». Я сказал, что не боюсь остаться без работы, поскольку имею разряд столяра, работал лесником и сплащиком, и у всех у них заработок больше, чем здесь у младшего научного сотрудника (при этом я тоже чуток разбавлял свою речь ненормативной лексикой), но я люблю физику и математику и уверен, что буду лучше и больше работать, если надо мной не будет висеть необходимость являться на работу к восьми утра. И я, мол, могу пообещать это и готов пройти любую реальную проверку своей работы через полгода, например. Я не знаю, что повлияло на Дмитрия Ивановича, но минут пять он молчал, а потом вдруг сказал: «Вас тут из МГУ пришло пять человек, если я разрешу одному, то что скажут другие?» И вот тут я неожиданно даже для самого себя подпустил елею: «Дмитрий Иванович! Вы руководите таким огромным коллективом, вы – блестящий организатор, вы всегда найдете выход из любой ситуации. Мне так кажется». И я скромно стал ждать его реакции. Он выпроводил меня из кабинета. А на другой день я был прикреплен к одной теме у Векслера (в дополнение к основной работе у Боголюбова), так что требовалось бывать на двух разных территориях, а потому мне поставили в пропуск звездочку.

Расчеты по стохатрону удалось провести, но идея стохатрона по их результатам была прикрыта, поскольку плотность частиц с нужной энергией на выходе оказалась ничтожной. Насколько я знаю, в научную литературу эта идея не попала, как будто ее никогда и не было. Но зато сама математическая модель диффузионных процессов с малой диффузией оказалась весьма плодотворной. По сути, это малые стохастические возмущения детерминированных процессов, процессы без последствия (если известно настоящее, то для будущего совершенно неважно, каким образом все происходило в прошлом). Мне удалось по-новому связать эту модель с параболическими уравнениями и создать новый инструмент их исследования. Это было базой моей кандидатской диссертации и, скорее всего, эти исследования перетекли бы в докторскую, если бы не история

конфликта Игоря Гирсанова с Е. Б. Дынкиным, в которой я выступал в качестве главного и единственного свидетеля. После всех пертурбаций мы с Игорем оказались в Лаборатории статистических методов у А. Н. Колмогорова, расставшись с тематикой диффузионных процессов уже навсегда.

Еще в Дубне я поступил в заочную аспирантуру к тому же Роланду Львовичу Добрушину с собственной темой, которую породила работа над стохатроном и неоднократное участие в семинарах Дынкина.* Для этого, правда, приходилось около шести часов тратить на дорогу в МГУ, но зато я включался в молодую научную среду, где главной темой в это время стали марковские процессы и уравнения Ито, давшие новый инструмент исследования диффузионных (марковских) процессов. Эти процессы складывались из траекторий, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, и случайных блужданий, которые локально порождались броуновским движением. Как раз перед поступлением в аспирантуру мне удалось продвинуться в одном очень интересном направлении, а именно – получить нечто похожее на ряд Тейлора для диффузионных процессов с малой диффузией, разложить его по степеням малости этой диффузии. Дынкин отметил это мое достижение в своей статье «Марковские процессы и связанные с ними задачи анализа» («Успехи математических наук», 1960 г., том 15, выпуск 2), написав, что некоторые математики «...выступали на семинаре с докладами, вызвавшими оживленное обсуждение», при этом назвав А. В. Скорохода из Киевского университета и меня, работающего в ОИЯИ.

4. Я – колмогоровец

Я никогда не был учеником Колмогорова, но я – выходец из его школы, из его творческого пространства. Мой первый опыт в математическом созидании произошел на вступительном экзамене на мехмат МГУ. По математике в 1952 году было три отдельных экзамена: устный и два письменных – «Алгебра с арифметикой» и «Геометрия с тригонометрией». На первом письменном экзамене мне досталась следующая (по смыслу) задача: «Найти целые положительные числа X и Y , если известны их сумма, наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное».

Задача весьма простая, если знать правило: наименьшее общее кратное двух чисел равно произведению этих чисел, делимому на их наибольший общий делитель. Я в какой-то момент догадался об этом равенстве и стал его доказывать, на что потратил почти три часа из четырех часов отведенного на работу времени. И был очень горд, что доказал его, хотя из-за потери

* Дынкин был руководителем Игоря в аспирантуре и присвоил один его результат. Позже он признал это перед родителями Игоря, после его гибели в горах под лавиной в 1967 г.; в Межфакультетской лаборатории Колмогорова многие это знали.

времени не все успел сделать и получил «3+». Зато по геометрии с тригонометрией получил «5++», а знак «плюс» ставили за оригинальное решение, не предусмотренное составителями задачи. За два письменных экзамена в зачетную ведомость ставили общую оценку, так что я получил четыре балла.

На нашем удивительном курсе (выпуск 1957 года) я по учебе был где-то в районе верхнего квартиля, хотя мой средний балл успеваемости понижали в основном непрофильные предметы (военная подготовка, история партии, исторический материализм). Уже на первом экзамене по высшей алгебре у меня произошел конфликт с А.Г.Курошем, нашим лектором.

Я был беден – и вдруг мне предложили бесплатный билет до Калининграда (я кончал там школу, живя у тети, и хотел на зимние каникулы туда съездить). Не помню подробностей, но кто-то оставался на передачу экзамена, а билет уже был куплен. Но вот беда: ехать надо было в день экзамена по алгебре (последний мой экзамен в зимнюю сессию). Я пошел в деканат и попросил разрешения сдать его на день раньше, с другой группой (на нашем курсе учились порядка 325 человек). Разрешение получил и радостно пришел на экзамен, вытянул билет, быстро подготовился и пошел отвечать, попал к Курошу (принимали трое или четверо, уже не помню). И Александр Геннадьевич спрашивает меня (с иронией и как-то «высокомерно», по крайней мере мне так показалось): «Насколько раньше вы пришли сдавать экзамен, молодой человек?» А я как-то не научился быть вежливым и весьма заносчиво сказал: «На 24 часа!» На это он спокойно ответил: «Хорошо. Я вам настолько больше вопросов задам».

Отвечал я в общем-то хорошо, но напряженно, и где-то на 15-м вопросе сбился (со слов студентов, которые стали считать вопросы). Курош поставил мне «4» и отпустил. Весной опять был экзамен по алгебре, он проходил в большой аудитории для целого потока (у нас было два потока: математики с вычислителями и механики с астрономами). Курош распределял нас по экзаменаторам. Взяв мою зачетку и посмотрев на меня, сказал: «Ко мне пойдете отвечать». К нему так к нему. Но напряжение было. Отпустил он меня с четверкой, сказав: «Знаете, но нетвердо; правда, сами же свои ошибки исправляете». Наконец, в зимнюю сессию на втором курсе я, подавая ему зачетку, сказал: «К вам пойду отвечать!» Он посмотрел на меня и положил зачетку в свою стопку. Я постарался и получил «пять» (эта отметка шла в диплом).

На третьем году обучения моя курсовая работа была по алгебре, а руководителем был некто Боев (имени-отчества уже не помню). Надо было разобраться в одной работе Смолуховского, который ввел для своих вычислений в статистической физике бесконечные матрицы, и попытаться найти исчисление детерминанта. Но кроме общих слов, я уже ничего не

помню, хотя знаю, что получил за курсовую работу пятерку.

В весеннем семестре третьего курса я стал ходить на семинар Дынкина, но не входил у Евгения Борисовича в группу основных участников. А на четвертом курсе моим руководителем стал Роланд Львович Добрушин. Реально он был моим учителем и старшим товарищем, по крайней мере в последующие десять лет. А Колмогоров был звездой, вокруг которой рождались и вращались планеты.

Пространство Колмогорова – это созвездие потрясающих ученых. Мои личные контакты 1957–1976 годов в этом пространстве и за его пределами широки и удивительны, причем они вряд ли бы случились, если бы я не входил в область притяжения самого Андрея Николаевича.

После окончания МГУ я почти три года проработал в Дубне, после чего перевелся из заочной аспирантуры в очную. Моим руководителем на кафедре Колмогорова был Р. Л. Добрушин, а тема диссертационной работы была рождена еще в Дубне, на стыке теории диффузионных процессов К. Ито (их обсуждали на семинаре Дынкина) и изучения потоков частиц со сверхвысокой энергией, подгоняемых «магнитной плеткой» в синхрофазотроне, – задача, поставленная В. И. Векслером тогда же, во время моей работы в Дубне.

Осенью 1961 года (диссертация была практически сделана) у меня возникли проблемы с КГБ: я написал философско-математический текст «К общей теории государства», в котором пытался обосновать (в рамках вероятностной модели) ущербность демократического централизма. Мне было по секрету подсказано, что я могу избежать больших неприятностей, удрав на время в Литву или в Армению, – мол, там – регионально независимые органы КГБ. По совету Добрушина я пошел домой к Андрею Николаевичу, но его еще не было, так что все свои проблемы я выложил Анне Дмитриевне – таким она была внимательным и умным человеком. И она все представила Андрею Николаевичу чуть-чуть не так, как это сделал бы я. В результате был звонок Кубилиусу Йонасу Петровичу (математик, президент Литовской АН), который не мог предложить мне работу быстро (а уезжать рекомендовали срочно). После этого Андрей Николаевич позвонил Виктору Амазасповичу Амбарцумяну (президенту Армянской АН). Как потом я узнал, после не очень длинного разговора и сообщения моих данных Виктор Амазаспович сказал: «Хорошо, со вчерашнего дня он у нас работает». И еще я узнал, что Добрушин разговаривал с Андреем Николаевичем обо мне до того, как я туда пришел. Так я попал в круг армянских математиков ВЦ АН, во главе которого был тогда Сергей Мергелян.

В 1963 году я собирался жить и работать в Новосибирском Академгородке; я туда уже ездил, и мне там обещали сразу же квартиру и работу. Но я не мог не зайти к Андрею Николаевичу – по двум причинам. Во-первых, мой ближайший друг Игорь Гирсанов предлагал Андрею

Николаевичу взять меня в статистическую лабораторию при кафедре, и Колмогоров хотел со мной переговорить. А во-вторых, мне не терпелось рассказать Андрею Николаевичу о некоторых своих результатах и попросить его рекомендовать их в ДАН СССР. Разговор оказался длинным, с чаем и бутербродами, Анна Дмитриевна расспрашивала про Армению, Андрея Николаевича занимали мои похождения по горам, о том, как я водил Ольгу Александровну Ладыженскую на Арагац. И еще я рассказал о своей защите 25 апреля 1963 года, в день его 60-летия. Я тогда чуть-чуть не был рекомендован к защите докторской на тех же практически материалах. (Замечу, что по дороге в Ленинград, где была защита, я зашел на кафедру Теории вероятностей в МГУ, и тогда Андрей Николаевич мне «посочувствовал», что может не быть кворума, так как многие собириались приехать на празднование его юбилея. Но кворум был обеспечен.)

В итоге Андрей Николаевич пригласил меня работать в свою Лабораторию и предложил мне 1000 рублей («отдадите, как сможете») для первого взноса в кооперативную квартиру. Я согласился, деньги взял (вернул через пару лет, заработал на сплаве в Архангельской области, работая «развальщиком» – разбирал заторы, которые возникали при сплаве по небольшим рекам). И я плотно работал с Андреем Николаевичем вплоть до его ухода из Лаборатории.

В 1964–1967 годах главной темой для меня была классификация при растущей размерности – задача, которой занимался сначала, с подачи Андрея Николаевича, его стажер из Швеции, Пер Мартин-Леф, но Пер почти сразу переключился на алгоритмические основания случайности (подробности чуть позже). Мне вскоре удалось решить задачу классификации для нормальных распределений с общей известной матрицей ковариаций и неизвестными математическими ожиданиями. А именно – выписать три независимые статистики, по которым наилучший классификатор однозначно определялся независимо от размерности пространства. Затем удалось продвинуться на случай общей и неизвестной матрицы ковариаций. Вся задача теперь погружалась не в трехмерное пространство (три статистики), а в пятимерное, правда, полностью описать распределение этого набора из пяти статистик мне не удалось. Полное решение было найдено моим аспирантом, Сашей Деевым. Оказалось, что решение задачи классификации с парой произвольных нормальных распределений любой размерности однозначно определяется семью независимыми статистиками (функциями от наблюдений).

Сейчас это, как говорят немцы, «давно прошедшее время», но тогда этими задачами занимались разные люди в разных странах, и это называлось статистикой в пространствах большой размерности (число наблюдений сравнимо с размерностью пространства) или анализом «малых» выборок, где «малость» понималась как число наблюдений на одну размерность многомерной случайной величины. Наряду со мной и Лево

Мешалкиным этими вопросами в СССР занимались Володя Вапник из ИПУ, Шарунас Раудис из Литвы, Гирко из Киева и многие сподвижники названных ученых. По крайней мере, конференции по малым выборкам проводились несколько раз, и они собирали 30–40 участников из разных центров.

Параллельно в 1965–1966 годах мы с Л. Д. Мешалкиным вели общемосковский семинар по математическим методам в биологии и медицине. В семинаре участвовали очень интересные представители из своих предметных областей: В. М. Колосова – из института судебной экспертизы, Л. А. Фаворова – из института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, представители онкологических центров, психиатрии (Владимир Львович Леви), кардиологии.

Летом 1964 года Мартин-Леф на подмосковной даче рассказывал мне и Лева Мешалкину концепцию Колмогорова о подходах к определению информации, о которой мы уже слышали на четверговом семинаре. Пер работал над рядом задач, связанных с концепцией алгоритмического подхода. Мы все это тщательно записали, отпечатали и отдали Андрею Николаевичу с настойчивым пожеланием увидеть его статью, чтобы можно было сослаться (дело в том, что Пер через год должен был вернуться в Швецию и ему надо было публиковаться, а без ссылок на основы было неудобно). Статья Андрея Николаевича – правда, значительно переделанная – вышла в начале 1965 года.

Этот период в жизни Лаборатории Статистических методов особо выделен в сообщении «Лев Дмитриевич Мешалкин (некролог)», УМН, 2001, том 56, выпуск 3 (339), 146–150.

Хочется отметить «политику» Андрея Николаевича в создании школы «энциклопедистов». Он даже придумал термин полиолог по ассоциативной связи со словом «полиглот». Правда, я слышал его от Андрея Николаевича лишь однажды, но зато с пояснением, что это связано со способностью схватывать сущность материала из любой предметной области, если в этом возникнет потребность.

Приведу примеры его отношения к соратникам по науке (именно так относился он ко всем научным сотрудникам Лаборатории).

Обращается он к нам севой и предлагает разобраться в том, насколько можно доверять информации, на которую опирается в своей эволюционной теории пола В. Геодакян (он тоже ходил на наш семинар, но откуда Колмогоров узнал об этой теории, мы так и не выяснили). Мы попытались разобраться, и это привело к длительным обсуждениям; к ним присоединился А. Шерман из Института хирургии им. В. А. Вишневского АМН. В результате мы пришли к выводу, что доказательства слабоваты, однако опровергающей информации мы не нашли. В целом возникло сотрудничество Геодакяна с Шерманом, которое вылилось в частичное признание этой теории уже в 1970 году. А сейчас она широко известна.

А вот пример другого рода. Как-то в начале 1966 года Андрей Николаевич попросил меня зайти к нему в кабинет (комнатка 12 квадратных метров). Оказалось, что он договорился с издательством «Мир» о том, что я переведу для них книгу «Факторный анализ как статистический метод» Лоули и Максвелла. И вот примерная реконструкция нашего диалога:

- Андрей Николаевич! Но я же плохо знаю английский!
- Ничего, выучите, они с переводом не торопят.
- Андрей Николаевич! – воскликнул я, рассматривая содержание книги. – Да это же статистика тестов, я в этом ничего не понимаю!
- Разберетесь, Юра. Я вам и консультанта по терминологии подобрал, психолога, Небылицына Владимира Дмитриевича.

Вот так я стал и переводчиком, и редактором книги по факторному анализу и познакомился с замечательным ученым. К великому сожалению, Небылицын, которому прочили большие успехи в науке, погиб 1 октября 1972 года в разбившемся под Адлером и затонувшем в море самолете...

На этом воспоминания Ю. Н. Благовещенского обрываются.

Послесловие

Ниже приведены воспоминания, в какой-то степени дополняющие и расширяющие мемуары Юрия Николаевича. Их авторы: Мир Каргер, друг Ю.Н.; Вера Самсонова, его вдова; Георгий Сатаров, коллега Ю.Н. по совместной работе в течение последних 30 с лишним лет.

О друге

Юрий Николаевич Благовещенский ушел из жизни 15 февраля 2022 года, пал жертвой эпидемии Ковида-19. Горькая ирония заключается в том, что последние свои месяцы он занимался статистикой летальности этого вируса – и как раз сам стал ее частью. Ю.Н. оценил бы эту иронию.

Эти воспоминания он нацеливал в «Миллбурнский сборник», поскольку основатель сборника Слава Бродский – наш коллега-математик с колмогоровских времен и к тому же человек, любящий русскую словесность. К приведенным здесь четырем главам Ю.Н., по его словам, собирался написать еще три главы – о В.В.Налимове, Солженицыне и Есенине-Вольпине. Но – не получилось. Однако и то, что он написал, эти четыре главы, уже самоценны. Они погружают нас в мир мальчика из хорошей семьи, которая укрылась в глухомани от злобы той эпохи. Мальчик пытливым, с темпераментом исследователя. Он прорывается в Москву, на мехмат, и превращается в молодого ученого среди светил Московской

математической школы...

Насчет его семьи надо пояснить. Семья действительно была хорошая, старорежимная. Сестра Юрия Николаевича, Ирина Николаевна, рассказывает, что их дед, Вениамин Благовещенский, был тульским оружейником. В Русско-Японскую войну он доблестно воевал, за что был произведен в офицеры и получил личное дворянство. Его дочери стали учительницами. Один из сыновей стал морским офицером, другой – лесоводом.

Дед со стороны матери, Померанцев, был профессором почвоведения в Новочеркасском почвенно-мелиоративном институте. Ирина рассказывает, что жил он широко («11 детей, трехэтажный дом из 16 комнат, прислуга») – вплоть до наступления эпохи уплотнения в 1928 году. На его дочери и женился студент-лесовод Н. В. Благовещенский, будущий отец Юрия.

Еще я должен развернуть замечание Ю.Н. о полиологах. А.Н. Колмогоров говорил, что наша Лаборатория распалась потому, что ее сотрудники безнадежно расплзлись в разные предметные области, то есть полиологами не стали. При этом он понимал, что стать полиологом нельзя, ибо он в тебе либо есть, либо его нет. Ю.Н. с детства и до последних дней таким как раз был – любопытным ко всему на свете, наделенным страстью докапываться до корней. Потому множество народу высекали «об него» свои творческие искры.

В частности, я моими результатами во многом обязан ему. Вот пример «искрения», относящийся к 1970-м годам. В давних дискуссиях с Ю.Н. оформилась идея степенного распределения размеров месторождений как объектов, «выросших» из единого ограниченного ресурса, а также идея случайного цензурирования этого распределения в эмпирике. Спустя годы эта модель хорошо подошла для анализа частотных распределений фирм в конкурентной рыночной среде. И еще спустя годы – для анализа электоральных результатов, в том числе для выявления возможной фальсификации. Последнее вылилось в статью про выборы в Госдуму-2003,* которая (статья), кажется, была пионерской в этой области.

Не так давно по наводке Ю.Н. родилась тема – перевести все статистические задачи моей прикладной геохимии в копулу. Эту тему я ворошил последние семь лет, то и дело адресуясь к Ю.Н., и закончил за неделю до его ухода. Теперь я должен один это описывать – до чего же красиво, например, упростились громоздкие алгоритмы кластеризации подпространств. Как бы я хотел порадоваться этому с ним вместе...

Мир Каргер

* Благовещенский Ю.Н., Винюков И.А., Каргер М.Д. Анализ выборов в ГД-2003 и закон Циффа-Парето. – Тр. VI Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ и эконометрика», Цахкадзор (Армения), 23-28 июня 2004 г. – М., ЦЭМИ РАН, 2004.

Юрий Николаевич

Мы встретились с Ю.Н. Благовещенским почти полвека назад – он не дожил трех месяцев до 44-й годовщины нашей совместной жизни. Все эти годы он так и остался для меня Юрием Николаевичем – это было домашнее имя. Не знаю, почему это так, однако имена определяют при первой встрече и становятся образом. Ю.Н., или Юрий Николаевич – друг, учитель, муж, спутник жизни, человек, в котором все это сошлось в единую сущность.

Меня привел к нему на консультацию Е. А. Дмитриев, мой учитель и руководитель кандидатской диссертации, на которую был получен почти отрицательный отзыв. В этом отзыве не было формулировки «автор недостоин...», однако смысл и настрой были именно таковы. Хочется верить, что тот отзыв возник только для того, чтобы мы встретились. Не нулевая вероятность нашего знакомства существовала, поскольку Ю.Н. работал в Лабораторном корпусе «А», а я в соседнем здании, на факультете почвоведения МГУ, однако сейчас я не вижу поводов для спонтанного знакомства. Я уже и не помню, как с помощью Ю.Н. были сформулированы ответы на вопросы того пресловутого отзыва, но защита прошла бурно и интересно.

Наша совместная жизнь началась через год, с покупки кухонного стола. С того момента почти 44 года стол был с нами и до сих пор занимает свое место на кухне. За этим столом Ю.Н. ночами писал свою докторскую диссертацию и свои работы.

Прогнозы окружающих на наше совместное существование были мрачными: большая разница в возрасте, у обоих не первый брак, у Ю.Н. в прежней семье оставались маленькие дети. Но ни он, ни я за эти долгие годы ни разу не пожалели об этом шаге.

С Ю.Н. всегда было легко: возможность разговаривать на любые темы и чувство, что тебя понимают. Однако фразы «мне надо подумать» или «мне надо поработать» означали требование личного времени, личного пространства. А сам процесс работы было очень интересно наблюдать – на бумаге появлялись символы, латинские, греческие знаки, они бежали от строки к строке, от листа к листу, и потом – вот оно, решение. То же самое и с литературными текстами. Писал он много. Тексты редко правил, чаще переписывал заново.

Случай для Ю.Н. был и символом, и предметом исследования. Он часто повторял, что готовность к Случаю для него – основной жизненный принцип. Ему удалось работать в очень разных направлениях – теоретическая физика, медицина, эпидемиология, теория надежности, почвоведение и др. В последние годы он много занимался социологией и моделированием динамики эпидемий, в частности Ковида-19. И всегда это был новый взгляд на проблему и неожиданное решение. Он умел видеть

альтернативы, что в настоящее время является большой редкостью. Наукой он занимался как ребенок, которому все интересно.

Теперь его нет, и некому сказать «Спасибо» за то, что позволил быть рядом...

Вера Самсонова

Тридцать лет с Юрием Благовещенским

Я впервые увидел Ю.Н. Благовещенского лет пятьдесят назад, когда начал работать на семинаре Колмогорова по прикладной статистике. Но тогда я смотрел на него из почтительного отдаления, как на Колмогорова и других старших товарищей. Прошло двадцать лет. В 1990 году появилась юридическая возможность создавать независимые от государства общественные организации, в том числе – занимавшиеся научной и аналитической деятельностью. Осенью 1990 года был учрежден Фонд ИНДЕМ, а я стал его руководителем. К тому времени я активно сотрудничал с ученицей Юрия Николаевича Еленой Кулинской. Она и представила меня Ю.Н. официально. И началось.

В наше динамичное время, да еще с учетом разносторонних интересов Ю.Н., трудно себе представить, что мы проработали бок о бок тридцать лет, не менее. Было несколько небольших перерывов, когда ему нужно было сконцентрироваться на какой-нибудь параллельной работе. В любом случае, я тешу себя надеждой, что такое длительное и плотное сотрудничество стало возможным потому, что ему эта работа была интересна.

Везение ИНДЕМа состояло в том, что Ю.Н. был не только уникальным знатоком математической статистики, но и обладал богатейшим опытом ее применения. Это означало, что он был прекрасным аналитиком, искушенным во всех стадиях решения прикладных задач. Это обеспечивалось и его общим широким культурным диапазоном с глубоким проникновением в суть проблем, стоящих не только перед математикой. Мне представляется, что именно поэтому нам удалось сделать так много нового, интересного, уникального, когда я после некоторого периода работы на государство вернулся в ИНДЕМ.

До этого мы занимались в основном применением разработок, с которыми я и мои коллеги сошлись в ИНДЕМе. Наверно, в этот период главной новаторской разработкой Ю.Н. был подход к анализу данных предвыборных опросов с целью прогнозирования результатов выборов. Триумф был достигнут на президентских выборах 1996 года. Тогда разработка Ю.Н. использовалась в избирательном штабе Бориса Ельцина с потрясающей результативностью.

После 1998 года произошел первый прорыв с новой разработкой. Мы провели в России, Казахстане и Эстонии три больших социологических опроса по анкетам, почти не отличавшимся друг от друга. Появлялась возможность кросс-культурных сравнений. Задача такова: есть данные типичных опросов, проводившихся с использованием типичных анкет. Надо придумать индикаторы некоторых обобщенных латентных переменных для сравнения разных стран. Пример: «лояльность власти».

Разумный социолог никогда не станет напрямую спрашивать респондентов: «В какой степени вы лояльны власти?» Обычно косвенными индикаторами лояльности (в данном случае) являются ответы респондентов на другие вопросы. Как свести эти ответы вместе и построить индикатор нужной латентной переменной? Мы нашли решение с применением байесовских экспертных оценок, сопрягавшихся с ответами респондентов. Для решения обратной байесовской задачи Ю.Н. придумал совершенно нестандартный метод оценивания, включающий механизмы бутстрепа! Он давал более чем осмысленные продуктивные результаты. Вот еще пара примеров построенных нами латентных переменных: «тип социальной адаптации к переменам»; «уровень понимания коррупции».

В 1999 году мы выиграли тендер Всемирного банка на проведение большого исследования коррупции в России. Тогда мы первыми в мире поставили и решили задачу разработки социологических индикаторов практики коррупции, а не ее субъективной оценки респондентами. Это была система индикаторов коррупции, которые позволяли описывать ее как рынок услуг со своими рыночными характеристиками. Наши результаты скрупулезно оценивались и были приняты экспертами Всемирного банка, а несколько позже получили полноценный мировой резонанс.

В работе над этим проектом Ю.Н. столкнулся с проблемой, которой он занимался до последних дней. Речь шла об оценке эмпирического распределения размера взяток. Предполагалось, что это могут быть степенные распределения. Но аккуратный анализ выявил, что это были распределения Вейбулла. Причем на рынке деловой коррупции это была склейка двух распределений Вейбулла с разными параметрами. Точка склейки отделяла крупный бизнес от остального. Тогда Юрий Николаевич предположил, что появление склеек вызвано разными механизмами порождения данных.

Опишу еще две проблемы, которые занимали Ю.Н. несколько последних лет жизни. Первая из них – модели коллективного сознания. Во второй половине десятых годов мы вплотную подошли к построению по данным социологических опросов сложных сетей, моделирующих и представляющих коллективное сознание в его ясном отличии от общественного мнения. Эти сети отличались от ранее известных сложных сетей, но самое интересное то, что распределение по степеням узлов снова оказалось склейкой распределений Вейбулла! В итоге Юрий Николаевич

успел написать обобщающую статью о склейках распределений.

Вторая проблема – динамика пандемии, изучением которой ИНДЕМ занимался с самого начала на материале многих стран. Здесь у нас было немало находок, но самое значимое изобретение сделал Ю.Н. Такая важная характеристика болезней, как летальность, имеет смысл как статическая характеристика. Для эпидемий/пандемий она традиционно подсчитывается после их окончания. Ю.Н. нашел динамический аналог летальности и успел доложить об этом в ЦЭМИ на семинаре, который он возглавлял с несколькими коллегами после смерти Айвазяна, и на семинаре Фуата Алескерова в НИУ ВШЭ, но не успел опубликовать подготовленную статью. Мы должны сделать это за него и в память о нем. Это касается и статьи о склейках.

Ю.Н. был человеком, вмещавшим в себе столько интересного и плодотворного, что хватило бы на целый коллектив исследователей. Но дело не только в этом. Я не знаю, как долго еще буду просыпаться с мыслью: «Надо позвонить Юре».

Георгий Сатаров



Александр Бродский - родился в 1937 году. Окончил Ленинградский театральный институт по специальности «театроведение» в 1961 году. Работал на телевидении в Петрозаводске и Ленинграде, в документальном и научно-популярном кино. Написал более 80 сценариев документальных и учебных короткометражных фильмов. В 25 лет стал членом Союза журналистов. В Америке с 1977 года. Печатался в газетах «Новый американец», «Новое русское слово» и других изданиях. Книга литературных пародий «Извините за внимание» вышла более 40 лет назад. За последние три года вышло еще три книги. На пенсии. Женат, трое детей, пять внуков.

Мой служебный роман

С чего же все-таки начать... С того, как я семь лет прослужил на студии «Леннаучфильм» и как оттуда ушел? Или как меня ушли? Это не обида, не жалоба, это рассказ о системе, в которой мы варились. Хотя еще мама моя говорила – не перебегай дорогу начальству, слушай старших.

Уйдя с телевидения, я долго мыкался без работы. Кропал какие-то сценарии, часто ездил в Карелию. В моем архиве осталось фото: красавица-актриса Клара Ячменева и я ведем по телевидению КВН, матч между командами Университета и Пединститута.

Потратил месяц, собирая материалы для телефильма о лесах и лесничих. Сценарий приняли. Получив аванс, пригласил в ресторан гостиницы «Северная» будущую съемочную группу вместе с режиссером – и аванс остался в ресторане. Через неделю пришло письмо: режиссер написал свой сценарий, а мой снимать отказался. Что мне с ними – судиться, что ли? Как говорил приятель, – наплевать и забыть.

Жить на авторские гонорары было очень тяжело. На студию «Леннаучфильм» меня привел дядя Юра, отец моей кузины, советской и немецкой (по последнему месту жительства) поэтессы Ольги Бешенковской. Заместителем директора студии был друг его детства Семен Рубежов.

Как до этого жилось? Скажу честно: занял у соседки шесть копеек на трамвай и поехал наниматься на работу. Рубежов отправил меня к главному редактору Суслову. Надо же: опять блат! Суслов помнил моего старшего брата, оба учились на журфаке ЛГУ. Мне дали на отзыв два сценария: один – о мастерах книжной иллюстрации, а второй – сценарий фильма о Советском Союзе для зарубежной выставки. Первый был приличным, хватило двух страниц – отметить плюсы и минусы. Второй был набором штампов и типичной клюквы. Имя сценариста не сказали. Я разразился рецензией на семь страниц негатива. Как оказалось, автором был навязанный Москвой халтурщик; моего отзыва хватило, чтобы расторгнуть с ним контракт.

Потом коллеги объяснили: чтобы принять или отфутболить сценарий, достаточно одной странички. Редакторская краткость не всегда сестра таланта. Это просто экономия времени. В общем, экзамен я прошел. И стал одним из десяти редакторов студии «Леннаучфильм». Директор студии Потапович лично пожал руку.

Главный редактор Сулов, человек образованный и умница, в те годы выпивал очень солидно. На нескольких редакторских выпивках, которые он возглавлял, я старался не уступать, и поэтому чувствовал его личную симпатию. Да и директор студии отнесся ко мне нормально. Едва я приступил к работе, как меня и второго новичка, Лио Борщевскую, отправили на семинар по научно-популярному кино в Дом творчества кинематографистов, в подмосковное Болшево. Там нас кормили не только вкусными обедами, но и лучшими зарубежными фильмами. Десять дней в экранном раю!

Руководил нашим семинаром Игорь Афанасьевич Васильков, признанный мэтр этой отрасли – популяризации науки в кино. Теоретик, сценарист, автор книг по документальному и учебному кино. Убеждал нас, как нужна и полезна советскому народу наша служба. Тогда же о зарубежном кино рассказывал главный редактор всесоюзного кинокомитета Тимур Гваришвили. Какие американские фильмы нам показали! Те, что во времена осторожной министерши Фурцевой не допускали на союзный экран. «На берегу» Стэнли Крамера – о возможной мировой атомной катастрофе; «Кто боится Вирджинии Вульф» – с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном; «Семь дней в мае» – о вторжении союзников во Францию во время Второй мировой; «Корабль дураков» – антифашистский шедевр Крамера; «Огни большого города» – шедевр самого Чаплина. Я жил в одном номере с главным редактором Ростовской студии Гришей Денисенко. После фильма Стэнли Крамера «На берегу» я две ночи не мог спать спокойно, так этот фильм потряс меня. Когда я сказал об этом Грише, он искренне удивился: «А что там такого? Ну, кино и есть кино...» Его такая ерунда, как атомная война и ее последствия, не волновала.

Тимур Иванович Гваришвили, занимавший один из самых высоких постов в советском кино – главный редактор всесоюзного Министерства кинематографии, – оказался не чиновником, а милым раскрепощенным человеком с чувством юмора. Развлекал нас забавными историями о разных киношных казусах. Почему-то я с ним неожиданно разговорился, мы подружились, гуляли по очаровательному большевскому парку. Он мне сказал однажды: «Я же грузин московского разлива!» Я ответил: «А я ленинградец по прописке». Мы оба ухаживали за хорошенькой секретаршей семинара. Чисто символически.

Через несколько лет такой же семинар организовали под Ленинградом, в Доме творчества «Комарово». Я приехал на лекцию нашего классика

Василькова (он помнил меня с болшевского семинара). Там меня узрел директор нашей студии Всеволод Алексеевич Потапович и сказал: «Слушай, у нашей студии на семинаре есть незаполненная единица (я оказался той единицей), так ты оставайся на семинаре». – «Да у меня там работа, сценарии ждут...» – «А черт с ними, оставайся, я скажу кому надо, поживешь на всем готовом. Плохо тебе, что ли?»

Ну просто отец родной!

Съездил на электричке домой, взял вещи, предупредил своих и вернулся. Тимур Гваришвили там тоже был, и мы опять несколько дней гуляли, на этот раз в комаровской роще, по чистеньким тропинкам. Тимур сказал: «Саша, бросайте вы редактуру, переходите в режиссеры. Я курирую высшие режиссерские курсы документалистов. Набор в этом году осенью. Если захотите поступать, дайте знать. Подумайте о будущем».

Опять я умного человека не послушал. Ведь до этого сам Товстоногов предложил мне перейти на его режиссерский курс с театроведческого. Не хотел я год терять – с третьего курса снова на второй... Да и не было ощущения, что это мое.

Забыл: «Леннаучфильм» – Ленинградская студия научно-популярных фильмов – в разговорах имел короткое и удобное название: «Научпюп». Я возвратился на студию через неделю. Директор неожиданно назначил меня секретарем художественного совета. Почему-то об этом не сказали прежнему секретарю, редактору Саше Пинскеру, и он за это страшно обиделся на меня. Потом оказалось, что он высокомерно разговаривал с членами худсовета, нашими аксакалами, мэтрами отечественного научного кино, и они на него разгневались. Не знаю, по каким причинам я понравился им больше.

С Потаповичем у меня возникли довольно дружеские контакты. Однажды я обратил внимание на стопку больших листов на его столе. Это были дипломы, полученные студией на кинофестивалях. Дипломы на разных языках: пара – по-английски и по-французски, остальные на языках сателлитов – польском, чешском, венгерском. Фестивали в те годы были местом, куда любили ездить наши чиновники, и привезти хотя бы ничего не значащий диплом участия было делом обязательным. Вот и привозили, вручали директору студии, и они у него пылились годами. Я предложил: «Давайте, я эти дипломы переведу на русский». Директор отнесся к идее недоверчиво:

– Ты что, все языки знаешь?

– Я попробую.

Я не стал объяснять, что коллекционирую словари. Забрал всю стопку домой. Все дипломы, как правило, написаны по стандартной форме: кинофестиваль в такой-то стране, год, название фильма, за что присуждается диплом; иногда – имя режиссера или оператора.

За пару недель я все перевел, принес тексты, приклеенные на обороте каждого листа. Самое простое – это фестивальные грамоты из союзных республик, они же были по-русски. Директор удивился, студийному художнику было велено дипломы окантовать, в рамочки и под стекло, тексты аккуратно подписали и развесили по стенам вдоль коридоров студии. А мне неожиданно увеличили зарплату на двадцать рублей в месяц. Изучайте иностранные языки, и жизнь удалась!

К тому же, как только студию приглашали на наши внутренние кинофестивали, директор отправлял меня. Почему? До сих пор это остается для меня загадкой. Ведь были редакторы достойнее, служившие намного дольше. Кажется, я был самым молодым. Вот и летал. То в Свердловск – на показ фильмов о рабочем классе, то в Ригу – на фестиваль спортивного кино. Я даже ездил на съемки в ближайшие города. Хотя никого не проверял, никого не учил, и никаких прав у меня не было кого-то контролировать. Иногда думал – может, меня отправляли с глаз долой, чтобы не мелькал перед начальством?

Все же что это такое – работа редактора в научно-популярном кино? Особая профессия. На весь СССР нас было... Однажды я посчитал по студиям (многих редакторов знал лично – из Ростова, Киева, Москвы, Свердловска) – 55 редакторов научного и учебного кино во всем Советском Союзе. Ведь элита, правда? Ну, плюс-минус один-два на весь советский научно-популярный ликбез! Меньше, чем в одном отдельно взятом обкоме партии!

И при том мизерные зарплаты. На всех киностудиях, занятых в этом малоэффективном жанре кинообразования, редакторами служили журналисты и педагоги, которые обязаны были разбираться в том, что снималось под их редактурой. Попробуйте переварить все то, что вам поручали. Наука. Техника. Искусство. Учебные процессы. Авторы. Просмотр материала... И как всегда в советском творчестве, – никаких прав, только обязанности. Сотни полторы отредактированных за семь лет короткометражек, непонятные с моими школьными знаниями физика, электроника, линии электропередач, сопротивление материалов, мосты и тоннели, строительство судов, история искусств, техника безопасности и даже особенности сбора грибов – строчков и сморчков – на экспорт (не смейтесь, было и такое! Снимала режиссер Гусева, абсолютно малограмотная тетка!), – обо всем этом надо было иметь хотя бы минимальное представление.

В те годы существовали даже ведомственные кинолаборатории и киноотделы, но я ничего не знал о целой сети такого кино при министерствах. Это станет моей судьбой позже.

Но иногда выпадала тема для души – искусство, музеи, театр, литература. Хотя я за все брался с профессиональным интересом и удовольствием. Приходил к девяти на работу – бывало, с опозданием, что

отмечалось вахтершей тетей Машей. Уходил ближе к полуночи – то автор поздно являлся, то запись дикторского текста в вечернюю смену. Дикторы, обычные театральные актеры, приходили или после спектакля, или рано утром. Выговоры редакторам за опоздания объявлялись в приказе по студии часто. Тут я был в лидерах.

Все знали, что редакторы – народ бедный. Против нашей бедности было одно лекарство: нам разрешали раз в год написать сценарий. Тут важно было или придумать что-то самому, или ухватить из списка заказных картин что-нибудь увесистое. Лучше в двух частях, чем в одной: лучше пятьсот рублей, чем двести пятьдесят.

И опять я сам себя оставлял в убытке. Придумал фильм про вибрацию – одна часть. Фильм о штангистах – одна часть. Десятиминутка. Оплата за сценарий – минимальная. И поскольку это научно-популярная или документальная картинка, – минимум потиражных, а ведь сценаристу платили за количество копий.

Как-то на мою долю выпала тема, которую никто не брал. Называлась она приблизительно так: «Техника безопасности на сельскохозяйственных работах в совхозах и колхозах». Я пережил это несчастье, накопал сценарий в двух частях, фильм вышел просто кошмарный, ему дали низкую категорию качества. Я и режиссеру, милейшему Борису Азарову, сочувствовал, но помочь ничем не мог. Это к искусству кино никакого отношения не имело – тракторы, телеги, коровник. Даже в конюшне снимали, запах киноплёнка не передает, к счастью. Запах исходил от всего фильма. Но зато какие потиражные – больше моей зарплаты за год! Почему так, скоро поясню. Запомните пароль – «Профтехобразование».

* * *

Однажды директор студии на общем собрании «Научпопа» заговорил о качестве наших фильмов и объяснил главные проблемы плохой работой редакторов с авторами. Я выступил на собрании – вообще впервые в жизни. Но я славно подготовился. Сказал все, что наболело: как дергают доносы и выговоры за опоздания, как мы уходим домой после 10 – 12-часового дня. А наши сценаристы – вообще не литераторы, а чаще ученые, они не имеют понятия, как писать киносценарий. И на проблемы авторства привел цитату (наизусть выучил!) знаменитого французского кинорежиссера Рене Клера: «Дайте мне достаточно времени и денег, и из встреченных мной на улице прохожих я сделаю тысячу режиссеров. Но ни одного автора!» Помоему, сидящие в зале режиссеры приняли цитату великого Клера без восторга. Зато остальные проводили аплодисментами. А на мой крик души с трибуны Потапович заметил в заключение: «Конечно, Александр Михайлович – подающий надежды редактор (это после трех или четырех лет я все еще был подающим надежды!), но опаздывать никому не позволим».

На этом разговоры о проблемах киностудии закончились.

Тут я понял, что о директоре студии должен написать особо. Всеволод Алексеевич Потапович, по кличке Потап, был родом из Белоруссии, вырос в еврейском поселке и понимал идиш. Высокий, статный, седой. Человек был не злой, старых работников и трудяг ценил. Иногда сильно раздражался и кричал в гневе. Его хоть и звали за глаза Потапом, но уважали. О его романе с нашей редакторшей Лариской знала вся студия. И эту Лариску он с треском выгнал, когда из дома отдыха (путевку ей дала студия) пришло письмо о ее безнравственном поведении. Знаю, кто давал Потаповичу взятки, но мораль в те шестидесятые была перекошенной, да и, по всей видимости, начальство свыше свою долю тоже требовало. Это называлось – представительские расходы.

Дело свое Потапович знал. Помнил всех по именам, просматривал готовые фильмы и неготовый отснятый материал. Непрофессионализм чувствовал. Мог прилюдно сказать режиссеру: «Ты это в каком Мухосранске снимал? У тебя не река, а говнотечка...»

При этом он был глуховат. Однажды мы сдавали фильм о крайнем Севере. В самом начале звучала специально заказанная Александру Колкеру песня, слова – его соавтора Кима Рыжова. Песня начиналась строчкой, которую пел популярный Эдуард Хиль: «Белый-белый Ледовитый океан...» Потапович вдруг вскинулся в кресле: «Как, как? Какой океан?!» Режиссер Горин говорит ему: «Ледовитый...» Отчетливо, громко, чтобы Потап расслышал. «А, ну хорошо, – говорит директор, – а то мне посылшалось – ядовитый и даже...» Все легли от смеха. И он сам смеялся.

Надо сказать, хороших режиссеров и сценаристов Потапович часто переманивал в «Леннаучфильм» из провинциальных студий. Дорогу молодым давал без колебаний. Молодой ассистент режиссера Сергей Сиваченко снял свой самый первый фильм по моему сценарию о проблемах вибрации. И впоследствии он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. Национального вопроса для Потаповича не существовало. К примеру, пришел Семен Аранович, который потом снял несколько художественных картин на «Ленфильме». Гриша Винницкий был инженером, мастером-фотографом, а Потапович принял его на должность режиссера учебных фильмов.

Уже известный в документальном кино Юз Герштейн приехал в Ленинград из Киргизии. Однажды мы столкнулись с ним в коридоре. Он был с девочкой лет двенадцати: «Познакомьтесь. Моя дочь Лариса».

Через несколько лет после того, как семья Герштейна эмигрировала в Израиль, Лариса стала вице-мэром Иерусалима. Женщина в Израиле заметная – председатель общества защиты прав человека. Она известный исполнитель песен Булата Окуджавы на иврите. А тогда меня поразили ее огромные глаза и совсем не детский умный взгляд...

Поработав в студии пару лет, можно много узнать. Известно было, что режиссеры, получив тему для фильма, могли вдобавок написать к нему сценарий (при этом делились с начальством). Авторы сценария часто вручали подарки режиссерам и директорам картин, те оплачивали им билеты и расходы (а потом делились). Плановый отдел все знал, воевал с такими тратами, но безрезультатно. Воровство в кино не сегодня началось.

Почему-то круговорот наличности обходил нас, редакторов. Директор привел ко мне симпатичную дамочку, дочь известного московского скульптора. Велел дать ей написать сценарий о судомоделистах. Пришлось сценарий переписать, и беспомощный дикторский текст потом перестрочить за ночь. Зато какой я получил от нее подарок – цветные фломастеры, которые дама привезла из Дании! Больше она у нас в авторах не появлялась. Жаль, хорошие были фломастеры! Дочка их очень любила.

В 1970 году мне пришлось редактировать очередной юбилейный фильм о Ленине. Режиссер Николай Левицкий получил за него Государственную (с большой буквы!) премию имени Братьев Васильевых (в честь постановщиков «Чапаева»). 25 тысяч рублей! Серьезные по тем временам деньги! Свое получили оператор и монтажница негатива, а меня пригласили в ресторан «Москва» выпить по такому случаю.

* * *

...Вечно приходилось у кого-то занимать пару рублей до зарплаты. Помню, как пришедший из ВГИКа молодой режиссер Толя Дубинкин учил меня есть бутерброд с колбасой, передвигая маленький кусочек языком, чтобы колбаса продвигалась до конца куска хлеба: так колбасы казалось больше!

Правда, благодарные сценаристы иногда приглашали пообедать. Мои московские авторы, два ученых-этнографа, написали сценарий о карельских наскальных изображениях – «По бесовым следам» – и были благодарны за то, что я не мучил их поправками. Я просто переписал их сценарий – не мотаться же им вдвоем из Москвы в Ленинград на переделки семи – восьми страниц.

В Москве они пригласили меня в ресторан Дома литераторов, и мы славно «откушали». Это был самый роскошный ресторан в столице. О его красоте написала даже Виктория Токарева в книжке «Мои мужчины». Столичные писатели там были как дома, и подвыпивший Евгений Александрович Евтушенко развлекал народ, приплясывая в красной косоворотке, несколько сконфузив благородную публику.

Авторы подарили мне свою книжку «По бесовым следам»: «Глубокоуважаемому А.М. от авторов этой книжки и плохого сценария на эту тему». Бдительные советские таможенники этот автограф не нашли, а то бы тоже выдрали, как они это сделали с двумя десятками подаренных авторами книг, которые я отобрал для отправки в эмиграцию. К примеру,

«Искусство силуэта» – книжечка, подаренная мне автором, сотрудницей Эрмитажа Эрой Кузнецовой: авторское посвящение аккуратно отрезали ножничками, чтобы не повредить остальное! Вопрос: чего боялась советская власть? Силуэтов?

Особенно жаль было выданный из «Истории кино» и написанный по-английски автограф французского режиссера Андре Мишеля, чей фильм «Колдунья» с Мариной Влади был очень популярен в Союзе.

А книжечка «По бесовым следам» до сих пор стоит у меня на полке.

* * *

...Очередной год начинался нормально. Пришли новые темы. Крупнейшим нашим заказчиком был Комитет профтехобразования – профессиональное объединение тысяч ремесленных училищ и техникумов всей страны. В их плане на текущий год стояла тема «Французская скульптура». Видите, как заботилась страна о будущих токарях, слесарях, сантехниках. Культурно образовывала. Как дожить до 15–16 лет и не знать ничего о такой прелести, как скульптура Франции, – Фальконе, Роден, Гудон и прочие ваятели.

Профтехобразование заказывало копий больше всех – для тысяч профтехучилищ. При этом гонорар за сценарий был небольшим, его платила студия, но потиражные были бешеные! Минимум тысячи полторы-две, а то и три. В те семидесятые – деньги немалые! Мы и гонялись за этими темами. А главная заказчица Профтехэ Эллочка Левицкая была моей приятельницей, план сообщала заранее, чтобы я застолбил хорошую тему как автор.

Попросил главного редактора записать «Французскую скульптуру» за мной и разрешить написать сценарий. Тот согласился, и через три-четыре недели я положил сценарий главному на стол. Я уже мысленно считал, какие огромные деньги получу, как поправлю свое тягостное финансовое положение.

Последнее время Суслов был мрачным, раздраженным, на всех рычал, но умеренно. Откровенно ругаться образование не позволяло. Оказалось, он перестал пить. Его «зашили». Вызывает меня через месяц, отводит глаза в сторону и сухо сообщает: «Строго между нами. Потапович уходит на пенсию, и тему “Французская скульптура” надо отдать ему...» Да как так, говорю, вот у вас на столе готовый сценарий лежит, вы же мне его написать разрешили, уважаемый шеф, мы с вами вместе столько раз дружески сживали, даже как-то вдвоем в ресторан «Восточный» заходили допивать и доедать...

Главный редактор внимательно разглядывает пейзаж за окном, вдумчиво изучает пыльный фасад мельницы имени Ленина (поэтому-то и улица была Мельничная), и говорит: «А ничего я вам не разрешал. Вы сценарий самовольно написали, о чем я вынужден доложить директору

студии». Буквально через пять минут я был вызван перед немигающие очи самого директора, который обещает меня сурово наказать за сценарное самоуправство. И я понимаю, – он не знает того, что знаю я, и что мне велено отдать ему в руки то ли тему, то ли уже написанный сценарий. Праведное возмущение искрится в его глазах, и вообще меня завтра прилюдно будут обвинять в авторско-сценарном мародерстве... Так что, приготовься, собрание утром! И мало тебе не покажется.

К тому времени уже ходили слухи, что обком партии настаивает на отстранении Потаповича от директорского кресла. Ему припомнили все идеологические ошибки, замеченные в наших фильмах. Год назад, к столетию великого вождя, режиссер Михаил Игнатов сделал фильм о том, что никакого штурма Зимнего дворца фактически не было. Фильм запретили. Потапу вклеили партийный выговор. Досталось и главному редактору. Редактуру и монтажный цех лишили прогрессивки. Только Игнатова наказаниями обошли. Он не был партийным, да еще являлся национальным кадром в режиссуре. Впоследствии Миша кино бросил. Вернулся в родные края.

До сих пор жалею – почему я не сказал директору всю правду о ситуации? Ведь я знал, что он уходит. А он не знал, что я это знаю! Ну как я мог все объяснить... Суслов сказал все как бы по секрету, и признаваться, что я все знаю, так и не решился.

Я поехал к родителям, чтобы домашний телефон не засветился, позвонил в Госкино нашему куратору Диме Сарычеву, парню доброму и любителю поправить здоровье поутру сухим вином. Мы его отпаивали, «засуху лечить», по его словам, когда он приезжал нас инспектировать. Рассказал ситуацию. Его реакция меня ошарашила: «Завтра на студию приедет комиссия. Будут снимать вашего Потапа с работы в связи с переходом на пенсию. Иди на студию, все будет тихо».

Сарычев как в воду глядел: никакого собрания не было. Только вывесили приказ Министерства кинематографии СССР. Директор исчез, как будто не сидел в своем кресле двадцать пять лет. Слух пошел, что сняли Потапа из-за меня. Хотя он ко мне так хорошо относился, а я – неблагодарный негодяй... Было очень неприятно. Правда, оказалось, что доносы на Потаповича годами писали бывшие друзья. Думали – назначат директором кого-то из своих и все останется как прежде.

И сразу пошли разговоры о неумении директора сохранять национальные пропорции в штате режиссеров: Зейфман, Гранатман, Вязьменская, Кирнарский, Клигман, Риф... Об этом открыто говорили на партсобрании, как мне доложил Веня Гусаров. Да еще редакторский отдел – пятеро из двенадцати. Правильно говорили – не случайно четверо из пяти эмигрировали: Марк Портной, Лия Борщевская, Саша Пинскер и я. А пятый – Анатолий Соснин, мой коллега, впоследствии посетил меня в Нью-Йорке.

Главный редактор будто забыл о моем существовании. На летучки не зовет. Я есть – и меня нет. Прошло недели три. Я сижу тихо, как мышь, вопросов начальству не задаю. А у меня к тому времени уже принят сценарий видового фильма «Площадь Искусств». На этой площади каждый квадратный метр – история русского искусства XIX века. Я сценарий несколько лет готовил, редкие материалы нарыл в библиотеках. И даже режиссер назначен, один из лучших в научном кино СССР, личность известная – Мария Марковна Клигман. Главный консультант, директор Русского музея Василий Андреевич Пушкирев, сценарий одобрил.

Но если кому-то надо отомстить, того у нас никогда не забудут. И исполнитель обязательно найдется.

Вызывает меня замдиректора Рубежов и сухо объявляет: тему «Французская скульптура» заказчик решил отменить. (Ого! Никогда такого не было.) А ты за самоуправство должен уйти по собственному желанию, и раз уж мы (мы!) сценарий «Площадь Искусств» приняли, то гонорар оплатим. Никаких объяснений Рубежов слушать не хочет. Главный редактор в кабинет не допускает. А в худсовет назначены две секретарши, каждой уже утвердили зарплату в сто рублей. И выходит, я за лишний двадцатник в месяц пять лет секретарствовал?

Все это было настолько противно, что я ушел из «Научпопа». За литературный сценарий, материал для которого я собирал лет шесть, мне действительно заплатили аванс, и... обманули: положили на полку. Редчайший случай: режиссерский сценарий не принял Госкомитет по кино. Самой Клигман от ворот поворот! Словом, отомстили по всем статьям!

Тем временем появился новый директор, режиссер «Ленфильма» Аксенов. Его прислали навести партийный порядок в нашей погрязшей в грехах конторе. Студия притихла. Стариков-ветеранов Аксенов публично обхамил, нескольких грубо выставил на пенсию.

Видимо, про меня ему что-то настучали, и когда я пришел узнать, почему в работу не идет мой сценарий и отчего не принят режиссерский сценарий самой Клигман, он разговаривал со мной так по-хамски, что я резко хлопнул дверью его кабинета и больше порога «Леннаучфильма» не переступил.

Нет, не торопитесь! С французской скульптурой мы не прощаемся!

Прошло лет шесть. Перед отъездом из СССР я зашел в фотомагазин на Калининском проспекте в Москве и купил выпущенный на 8-мм пленке немой фильм для кинолюбителей «Французская скульптура».

Автор и режиссер-оператор Б. Дементьев, моего имени в титрах нет, разумеется. Ай да молодец Борис Михайлович, для которого я сценариев шесть накропал. На коробочке – хорошенький «Эрос» из Лувра. Видите, пальчик к губам поднес? Чтобы тихо было! Между прочим, скульптор – Фальконе, тот самый, что и автор «Медного всадника». А на фильме

«Павловский дворец» (тоже написанный мной сценарий по просьбе Дементьева) мою фамилию изъять забыли, я числюсь там редактором. Оба фильма тихо спят у меня в столе. Лет 25 назад посмотрел я их на американском кинопроекторе, но с тех пор современные модели не подходят к советской перфорации...

Сижу и думаю – может, их выбросить? И коробочки поистрепались...

* * *

Новый директор студии Аксенов прочистил студийные национальные кадры по правилам брежневских времен. Когда мы собрались в Нью-Йорке у ассистента режиссера Бори Иоффе, из «Леннаучфильма» нас насчитывалось человек 35. Мы представляли многонациональный союз советской эмиграции – Украину, Беларусь, Узбекистан, Армению, Грузию, Латвию, Россию...

Впоследствии Аксенов вернулся на «Ленфильм» новым директором. Выслужился по партийной линии. Но тут грянула перестройка. Великая студия «Ленфильм», пережившая за семьдесят лет столько директоров и катаклизмов, сначала зачахла, а потом просто исчезла. Рассосались куда-то кадры, разрушились павильоны, неведомо куда исчезла техника. И мебель красного дерева из кабинета директора студии исчезла одновременно с последним и бывшим директором.

А в двухтысячном практически снесли и мой родимый «Леннаучпоп».

За ненадобностью...

* * *

Без работы я ходил долго. С женой Ритой разошлись. Не выдержали тягот совместной и нищей творческой жизни. Я оставил наши две комнаты в коммуналке и ушел в никуда.

Жил в мастерской приятеля-художника, писал для ТВ сценарий о героях-пограничниках. Ездил по советско-финской границе читать лекции по истории кино. Для закрытой газеты «Пограничник» писал репортажи с погранкораблей Баренцева моря. Постоянной работы не было. И опять случайность. Встретил на улице сценариста «Научпопа» и доброго приятеля Анатолия Гольдштейна. Как он трудоустроивал меня в объединение «Красногвардеец», я рассказал в книге «40+40». Сначала генеральный директор, депутат и член ЦК партии, принял меня на должность начальника кинопроизводства, но Первый отдел не пропустил. И тогда Толя посоветовал меня своему брату, заведующему киноотделом при НИС-34.

Научно-исследовательская станция №34 принадлежала Москве, министерству электрификации, хотя находилась в Ленинграде, на улице Салтыкова-Щедрина. (Сейчас этой улице вернули старое название – Кировная – очевидно, чтобы имя сатирика не раздражало владык

нынешних, узнающих себя в цитатах классика.)

НИС-34 занималась расчетами и нормами оплаты труда. Судя по номеру, у министерства электрификации была не одна такая, извините за выражение, НИС. В подвале на Кирочной улице в центре Питера сидели человек 20 инженеров-экономистов. Они там что-то считали – сколько затратить времени на операции по строительству, как расценивать труд, и так далее. Был начальник НИС и главный инженер. Конечно, был и начальник отдела кадров, отставной военный. Каким-то образом при этой конторе существовал киноотдел, занявший квартиру на задворках Кузнечного рынка, напротив музея Достоевского, на улице имени писателя.

Заведовал киноотделом милейший Дон Яковлевич Гольдштейн, тоже отставной военный. В штате нашего отдела были два молодых ассистента – Толя и Сережа – и монтажер Тамара. А главное – там имелся комплект съемочной и осветительной аппаратуры, включая превосходную советскую 35-мм кинокамеру Конвас. Много лет я просто видел во сне и мечтал – держать эту камеру в руках – и снимать, снимать, снимать... Камера Конвас звалась так по имени своего создателя Константина Васильева, была безотказной, ее выпускали в Союзе без переделок лет сорок.

И вот я получил мою мечту в собственные руки. Правда, снимать с рук было не самой простой задачей – камера с заряженной кассетой весила килограммов восемь, но могла снимать на пленку нон-стоп десять минут. Штатив (при необходимости) прилагался, аккумулятор вешали на плечо. Камера была удобной: три объектива передвигались на турели с крупного плана на средний, на общий и так далее.

Дон Яковлевич встретил меня приветливо и отправил на Кирочную улицу – оформляться на должность старшего инженера.

В отделе кадров, которым заведовал добродушный Иван Абрамович (его еще именовали «полярником» – за «полярные имя-отчество»), я заполнил документы и переадресовал их молодой девушке, сидевшей на высоком табурете перед пишущей машинкой.

Мгновенно бросилось в глаза: рыженькая, стройная, в зеленом брючном костюмчике. А какая хорошенькая! Секретарь начальника Галочка Беккер. Рад познакомиться! С первого взгляда!

Так определилась моя судьба. После моих многократных приглашений она согласилась встретиться со мной вне подвального отдела кадров НИС-34. И вот уже пятьдесят лет мы вместе...

А тогда меня отправили осматривать объекты в Гродно: мне поручили снимать фильм «Прогрессивный метод складирования железобетонных конструкций!» Такой вот заказ министерства. Они же там о принципах кино ничего не знают. Вот сиди сам и выдумывай.

Что-то я все-таки придумал, заказчики остались довольны, а главный консультант после просмотра фильма повернулся к залу и сказал: «Поняли,

как надо работать?» После этого мне часто приходилось ездить в Белоруссию. Не знаю почему, но министерство постоянно что-то там строило. Я ездил осматривать объекты в Полоцк, опять в Гродно, в Витебск, в Минск. Были стройки, вообще удаленные от городов, – никаких развлечений, кроме водки, у монтажников не было. Правда, были там еще девушки-монтажницы.

Запорожье... Поволжье... Названия городов вылетели из памяти. Куйбышев (нынешняя Самара), кошмарное пиво в Жигулях...

Помните, была такая замечательная песенка на музыку Никиты Богословского: «Любимый город может спать спокойно». Я снимал в разных городах, и эту песню переименовал: «Любимый КонВас может спать спокойно». Кстати, а почему город Тольятти – в честь генсека итальянской компартии – не переименовали? За города Калинин, Молотов, Свердловск властям стало неудобно? Ленинград переименовали, а Ленинградская область осталась – за какие заслуги? На вывесках сэкономили? Эти нынешние власти охотно бы и все советские названия вернули. И Сталинград, подозреваю, хотели бы назад вернуть – все-таки война, история...

Надо сказать, жили мы на улице писателя Достоевского вольготно. Дон Яковлевич не требовал особой дисциплины. Он иногда сам не ходил на работу, чинил свой «Москвич». Даже не помню, снимал ли он что-то сам. И начальство далеко. Мы с ребятами варили обеды – рынок-то за стеной! Даже скучный музей Достоевского навестили (до сих пор неясно, там ли жил Федор Михайлович). На съемки ездили втроем – Толя с Сережей и я.

Только однажды инженера-экономиста, в наказание за пьянство, отправили со мной в Жигули ассистентом, носить камеру. В последнее утро он явился в таком состоянии, что его не хотели пускать в самолет. Где он с утра набрался, мы не поняли.

Кажется, три или четыре фильма я в этом НИС-34 наснимал. Мы монтировали фильмы в своем подвале, а благодаря настырности босса озвучивали профессионально на «Ленфильме».

Уже после того, как я оттуда ушел, подруга моей жены и наш монтажер Тамара Липартия перешла на «Ленфильм», иногда в титрах фильмов 80 – 90-х годов видим ее фамилию.

* * *

А потом я перешел на свою последнюю в Союзе работу. В Институт водного транспорта меня несколько лет звал начальник тамошнего киноотдела Игорь Лухтанский. Это было гораздо круче, чем НИС-34, и там меня официально назначили режиссером-оператором в одном лице. На мне было все: сценарий, заказанный какой-то кафедрой, съемки в любом городе по желанию заказчика. В основном – на великих российских реках. А что может быть прекраснее, чем плавать по Волге и Оке или же по Ладоге и

Онеге и при этом иногда немножко снимать...

У Игоря Федоровича Лухтанского было много прекрасных качеств. В-первых, он был приятелем ректора и пристраивал всех сотрудников киноотдела на кафедры, коих было множество в институте и где всем нам платили еще полставки – добавку к зарплате. В штате числились режиссеры-операторы, ассистенты, художники, хорошие фотографы, две милые женщины-редакторши. Была вполне современная съемочная техника. Свой цех мультипликации.

Во-вторых, у Лухтанского были нужные связи. Обработка пленки и озвучивание фильмов выполнялись на больших питерских киностудиях и практически без очереди.

Было только одно «но»: Лухтанский не мог долго жить без водки. Всю неделю, с понедельника до пятницы, он терпел. Но каждую пятницу в конце дня требовал от всех скинуться по рублю. Самый молодой бежал в ближайший магазин. После нескольких таких пятниц я стал уклоняться. Да и часто ездил в командировки, поэтому причина для отказов была.

Существовало еще одно «но»: сотрудникам киноотдела месяцами было совершенно нечего делать. Редакторши вязали кофточки или разгадывали кроссворды. Перерыв на обед не лимитировался. Фотографы бегали по халтурам. Мой молоденький ассистент Юра Константинов был перворазрядником по шахматам. К его отцу-драматургу (помните – Рацер и Константинов?) захаживал тогда еще советский гроссмейстер Виктор Корчной. Юра с ним тоже изредка играл. Корчной к пареньку снисходил, но играл в полную силу. А на работе Юра громил меня. Из десяти партий я с трудом делал две ничьи. Выигрыш был большим праздником. К шахматам мы еще вернемся. Словом, это была обычная обстановка советского учреждения, где самым главным правилом было создать атмосферу работы, а не сама работа. Мы что – другие? Все так жили, не тужили и служили!

Мой первый заказ в Институте водного транспорта – учебный фильм о работе ковшового экскаватора. Вы об этом что-нибудь знаете? И я тоже ничего не знал. Поэтому дал задание цеху мультипликации сделать необходимые схемы, сам снял двадцать метров пленки, как работает эта машина на стройке, и ждал мультикадры. Работа непростая. Целый год ждал, делать было нечего. Зато подвернулась интересная съемка.

В Ленинградский порт зашел пассажирский теплоход с громким названием «Владимир Ильич». Нас благосклонно посетил флагман советского речного флота. Он курсировал между Москвой и Ленинградом, заходил в Ладожское озеро, возил туристов. Производство послевоенной Германии. Четыре палубы. Удобные каюты. Ресторан. На этом роскошном по нашим меркам теплоходе была какая-то уникальная установка то ли очистки воды, то ли опреснения. И нашему киноотделу заказали снять эту штуку на пленку.

С бумагой от министра мы приехали в речной порт на Неве. Меня и ассистента отвели в роскошную каюту на верхней палубе. Там был даже свой душ, и не иллюминатор, а окно с занавеской в цветочках! Я на таком судне не плавал никогда, и вряд ли еще придется.

Мы отплыли ранним вечером, замечательно пообедали, потом поужинали. Утром теплоход приплыл на остров Валаам, и пассажиры поплелись осматривать знаменитый монастырь и разные прочие достопримечательности. Мы перетащили аппаратуру в отсек, где стояла эта установка, и сняли ее минут за сорок во всех деталях – крупным, средним и общим планами. На берег мы не успели сойти, начался обед (с капитаном и хорошим коньяком), через пару часов экскурсанты вернулись, и мы отплыли обратно в сторону города на Неве. О том, что на Валааме был ужасающий концлагерь советских времен, в те годы не рассказывали.

Потом я плавал по красавице Оке на каком-то особом пароходике, даже не помню, что мы там запечатлели, но поездка по роскошной реке с заходом в Константиново и музей Есенина к делу уже не относилась. Просто отпуск за казенный счет. И порт на Онеге – Петрозаводский – мне пришлось снимать, и Ладожское озеро. Для меня ездить в Карелию – как в дом родной возвращаться!

Вскоре в Ленинград на гастроли приехал петрозаводский драмтеатр. Там столько друзей, я прибежал на спектакль «В списках не значился». Поснимал актеров за кулисами, какие-то сцены из зала. На следующий вечер принес фотографии в театр и раздарил. Подходит заместитель директора театра. Посмотрел снимки и говорит:

– А вы не хотели бы приехать в театр? У меня деловое предложение – снимать для нашего театра фотоафиши.

Конечно, это было интересно. Через пару недель театр вернулся в Карелию, замдиректора мне позвонит: «Приезжайте».

Я поговорил с шефом Лухтанским. Он отпустил меня на пару дней (сказал – бутылка коньяка с тебя!), и я пошел договариваться об этой халтуре с фотографом. Юра Котов обрадовался. Деньги всем нужны. У него молоденькая жена, на ставку 95 рублей не прожить.

Мы зарядили фотокамеры и поехали в Петрозаводск.

Театр подписал с нами договор. Платить будут просто роскошную сумму – рублей двенадцать за каждую фотоафишу метрового размера! Ого, как мы сразу разбогатеем! После спектакля сняли несколько сцен, портреты актеров, назавтра еще один спектакль, и завхоз театра выдал нам огромный рулон. Там было метров сто фотобумаги!

Снять-то мы сняли, а как проявлять снимки размером метр на шестьдесят сантиметров?! Таких бачков для проявки не существует. Умница

Котов нашел выход: приспособил метровые плафоны для ламп дневного света, и мы вдвоем (в рабочее время!), перематывая бумагу вручную при красном свете, отпечатали десятка четыре фотографий.

Работа наша понравилась. И нам тут же заплатили значительную сумму – кажется, рублей шестьсот. Даже дорогу и гостиницу оплатили. После похода в кассу замдиректора позвал нас в кабинет и объяснил, что ему полагается его доля. И мы отдали ему треть. Все равно хорошо, ведь для нас деньги были шальные.

Так мы ездили в Петрозаводск каждый месяц. В театре нас уже знали. Мы приезжали рано утром, а вечером уезжали, отсняв несколько пленок. И мы зарабатывали, и замдиректора получал свою треть. Вымогательство чистой воды, нет слов, но не протестовать же нам! И на том спасибо!

Потом мы придумали комбинированные кадры – главные персонажи спектакля на одной афише. Эти монтажи Котов печатал просто блестяще. Заказчику очень понравилось, и нам заплатили больше, чем всегда. Ну, и третья доля увеличилась, как вы понимаете.

...Но настал день, когда я должен был уйти из института – пришел срок подачи документов на эмиграцию. Я в последний раз отвез наши афиши в Петрозаводск и сказал замдиректора, что уезжаю работать на киностудию в Одессу. Он был в шоке. Кажется, не поверил, а может, понял – ведь народ стал уезжать в эмиграцию. Попросил найти замену. Я посоветовал знакомого профессионала, фотографа Театрального музея в Ленинграде. Они договорились, фотограф приехал, сделал несколько работ, но с театром не сработался. Его снимки не понравились. Что было дальше, не знаю.

Последней моей работой в Институте стал фильм о речниках и моряках Ладожского озера близ блокадного Ленинграда во время войны. Начальство фильм приняло. И я ушел с работы.

Моя карьера в кино закончилась.

Впереди была эмиграция.



Слава Бродский - выпускник

Московского университета (математического отделения мехмата). Автор многочисленных работ в области прикладной математической статистики. С 1991 года живет в Соединенных Штатах. Свою трудовую деятельность в Америке начал в небольшой компьютерной фирме штата Нью-Джерси, выполняющей заказы компаний Уолл-стрит. Через два года перешел в *Chase Manhattan Bank*. С тех пор работал в крупнейших финансовых компаниях Манхэттена. В 2004 году была опубликована его первая повесть «Бредовый суп». Затем вышли и другие его книги. Он работает также в различных стилевых направлениях изобразительного искусства. Значительная часть таких работ относится к керамике, над которой он трудится в керамической мастерской своего дома в Миллбурне (Нью-Джерси). Его вебсайт - www.slavabrodsky.com.

О переводах

Данная статья посвящена вопросам перевода литературных произведений и отражает мое выступление на эту тему на заседании Миллбурнского литературного клуба 14 ноября 2021 года и мои соображения по поводу возникшей после этого выступления дискуссии и последующих обсуждений «в кулуарах» клуба.

Постановка вопроса

Главный вопрос, на который я хочу ответить в моей статье: может ли перевод стихотворного произведения оставлять адекватное впечатление об оригинале? Также я буду обсуждать связанные с этим другие проблемы.

Я начинаю с анализа проблем переводов поэтических произведений. Однако похожие моменты я буду потом рассматривать и для переводов прозаических произведений.

Что означает слово «перевод» применительно к литературному произведению? Большой современный толковый словарь русского языка говорит нам о том, что это «литературное произведение, переданное средствами другого языка, сохраняющее художественную форму, особенности оригинала».

Общий смысл этого определения более-менее ясен. При переводе на другой язык, как предполагается, должно быть сохранено все то, чем воздействует на нас оригинальный стихотворный текст, включая все особенности (надо полагать – художественные особенности) и даже форму. Ну, значит, мы и приступим к обсуждению вопроса о том, насколько реально сохранить все художественные особенности оригинала и его форму в тексте перевода.

Удельный вес сюжета

Для начала я остановлюсь на том, что многие принимают за основополагающую составляющую художественных особенностей. Это сюжет и главная идея произведения – не обязательно даже литературного.

Мне иногда советуют посмотреть какой-то фильм и начинают подробно раскрывать его содержание. Я пытаюсь остановить рассказчика, говоря, что с самой занимательной идеей фильм может оказаться совершенно пустым, а с абсолютно никакой идеей – замечательным. И если мои слова не помогают, начинаю отшучиваться и прошу рассказчика остановиться, иначе мне, мол, будет неинтересно этот фильм смотреть.

В музыкальной школе на уроках музлитературы нам играли что-то на фортепьяно и потом учили распознавать в этом произведении какие-то образы. И мы писали сочинение о прослушанном. Почему там сначала было тихо, а потом громче. (Или сначала медленно, а потом быстрее.) И что там напоминали нам звуки. И на что надо было обратить особое внимание. И в какое время это все было написано, и что автор хотел этим сказать.

Девочка, которая сидела на одном из этих уроков рядом со мной и у которой были совершенно замечательные косички с бантиками, написала, что она слышала, как какой-то ветерок где-то там пролетел, и получила пятерку. А я получил тройку. В следующий раз я написал про ветерок. А девочка написала, что слышала, как судьба где-то там стучит. И опять я получил тройку, а девочка – пятерку. Потом оказалось, что все, что написала девочка с бантиками, было в нашем учебнике. Я как-то начал его читать, но скоро бросил, потому что понял, что не смогу всего этого осилить никогда.

В общеобразовательной школе нас учили, как надо «правильно» воспринимать живопись. Рассказывали, что именно изображено на картине художника и какой особый смысл он пытался вложить в свое произведение. То есть описывали «содержание» картины и всякие побочные обстоятельства ее сотворения. Объясняли, почему и какие пальцы подняла боярыня Морозова. Откуда взялись персики на картине Серова.

На уроках литературы в школе нам долго и упорно объясняли смысл и основную идею каждого литературного произведения, прозаического или стихотворного. Объясняли, на что намекал Пушкин, когда написал «пора, брат, пора!» и когда говорил, что север для него вреден.

Вот те учителя, которые говорили нам про Пушкина, про пальцы Морозовой, про стучащую судьбу, и те, кто пытались рассказать мне о сюжете нового фильма, должны, наверное, полагать, что вполне адекватный перевод всегда возможен. Ведь самое главное (думают они) – это идея, сюжет, содержание. А какие могут быть проблемы в передаче содержания на другом языке? Да никаких особых проблем (это опять так думают они) не может быть.

Однако для меня и, как я знаю, для многих других восприятие литературного произведения, как и любого другого произведения искусств, не сводится к восприятию его сюжета, идеи, а гораздо богаче этого.

В поддержку своих мыслей я хочу привести слова Набокова из его работы о Гоголе. Вот короткое высказывание Набокова об общем подходе к творчеству Гоголя (с определенной стороны, правда): «Его произведения, как и всякая великая литература, – это феномен языка, а не идеи».

Я, конечно, согласен в этом с Набоковым. Однако, судя по тем примерам, относящимся к живописи, музыке, кино и литературе, которые я привел, масса людей думает по-другому.

Здесь я только хотел бы обратить внимание читателей моей статьи на одно слово в высказывании Набокова. Это слово – «великая». Он говорит именно о великой литературе. К ординарной литературе это может не иметь никакого отношения. В ней, весьма возможно, основным будет сюжет, идея.

Что можно сказать, например, о таком стихотворном опусе: «Шампанское лилось рекой / В честь Прасковьи дорогой.»? В нем нет ничего, кроме самой простой идеи. И поэтому заключение Набокова о феномене языка к нему, конечно, неприменимо.

Я не буду здесь каждый раз подчеркивать, о какой литературе идет речь, но если это не оговорено особо, буду подразумевать именно неординарную литературу.

Что порождает трудности перевода

Попробуем понять, реально ли сохранить все художественные особенности стихотворного оригинала в тексте перевода. Но сначала надо было бы ответить на вопрос: каким образом языковые средства, а с ними и художественные особенности произведения, воздействуют на нас? К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить исчерпывающе. По крайней мере, никто пока исчерпывающе на него не ответил. Можно лишь в отдельных произведениях отмечать те или иные элементы, которые такую работу выполняют. И при этом констатировать, что при переводе на другой язык сохранить эти элементы так, чтобы они выполняли ту же самую работу, практически невозможно.

Далее я приведу перечень (скорее всего, неполный, поскольку это не является моей целью) элементов языка, которые порождают трудности перевода, препятствуют сохранению художественных особенностей оригинала. Однако я не буду проводить всестороннее и полное исследование всех вопросов. Моя цель здесь – выявить основные трудности, которых будет достаточно для того, чтобы сделать определенные выводы. Но сначала я хочу сказать о самом словосочетании – «трудности перевода».

Когда говорят о переводах, то неминуемо сбиваются на обсуждения

трудностей перевода каких-то определенных мест в каких-то определенных произведениях. Это основное, о чем обычно говорят, когда обсуждается проблема переводов. Ну, и у каждого активного участника таких обсуждений запасены многие десятки примеров вот этих самых трудностей. А слово «трудности» имеет такой оттенок, что переводить, мол, трудно, но справиться с этим можно. Особенно, как надо полагать, если дружно взяться за руки.

Так вот, в моей статье словосочетание «трудности перевода» такого оттенка априори не имеет.

Николай Гумилев в своих девяти заповедях переводчика фактически пытался систематизировать трудности перевода, перечисляя то, что надо «обязательно соблюдать» в стихотворных переводах. И неявно, таким образом, полагая, что соблюдение его требований принципиально возможно.

Трудности, о которых говорю я, либо могут быть преодолены лишь в какой-то мере, либо, скорее, могут оказаться вообще непреодолимыми.

О различии в значении слов

В этом подразделе я укажу на ключевой момент, который порождает трудности перевода.

Будем для определенности считать, что мы рассматриваем перевод с английского языка на русский. Хотя то, что я скажу дальше, относится в равной мере к любой другой паре языков.

Когда мы говорим об английском или о русском языке, мы, конечно, сильно упрощаем реальную ситуацию. Потому что даже те люди, которые говорят якобы на одном и том же языке, приписывают различные значения одним и тем же языковым элементам. Мало того, эти значения даже у одного и того же человека меняются со временем. Однако в каждый конкретный момент для какого-то определенного слова на русском языке у каждого человека имеется свое множество значений и ассоциаций, которые с этим словом связаны. В этом случае мы говорим о русском языке в узком смысле – как о языке конкретного индивидуума. Можно говорить о русском языке в широком смысле – как о большом кластере, включающем близкие языки различных индивидуумов. И тогда можно было бы сказать, что язык некоторого индивидуума принадлежит кластеру под названием «русский язык». Именно тогда мы и считаем, что этот индивидуум говорит на русском языке (в широком смысле). Национальный язык в широком смысле по-разному воспринимается различными индивидуумами и меняется в их представлении со временем.

Этот феномен, как мне кажется, хорошо и подробно описан в моей книге «Релятивистская концепция языка». Несколько с другой стороны – с привлечением вероятностных соображений – похожие моменты описаны в

книге В. В. Налимова «Вероятностная модель языка».

При переводе слова русского языка (или комбинации слов) заменяются вроде бы эквивалентными словами (комбинациями слов) из английского языка. У любого англоязычного читателя с любым из этих английских слов (комбинаций) связано множество значений и ассоциаций. И это множество отличается от подобного множества значений и ассоциаций на русском языке. В каких-то случаях это отличие может быть довольно большим, в каких-то – не очень большим. Но в любом случае у каждого русского слова есть свое поле значений. И никакое слово из другого языка такого поля иметь не может. В этом и состоит ключевой момент, порождающий трудность перевода.

Хочу привести здесь слова Александра Сергеевича Пушкина из его небольшой работы «О Мильтоне и переводе “Потерянного рая” Шатобрианом»:

«...стараясь передать Мильтона слово в слово, Шатобриан, однако, не мог соблюсти в своем предложении верности смысла и выражения. Подстрочный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами».

Эта выдержка показывает, что те положения, которые я привожу в этом подразделе, хорошо осознавались давным-давно. (Правда, только продвинутыми индивидуумами.) К сожалению, в наше время они порой либо совсем не принимаются, либо принимаются с большими оговорками.

И еще один момент. Окружающая среда формирует мировоззрение человека, в том числе его эстетическое мировоззрение. Оно будет различным у разных индивидуумов. И у одного человека оно будет меняться со временем. Литературное произведение может быть направлено (или всегда направлено) на определенное мировоззрение читателя. Различия мировоззрений, как нетрудно понять, могут быть сильно коррелированы с различиями в множествах значений. И, действуя примерно в одном и том же направлении, эти различия представляют серьезное препятствие для возможностей адекватного перевода.

О языковых ловушках

Далее я бы остановился на языковых ловушках для переводчиков, которые порождают их явные ошибки. Набоков в своей работе «Искусство перевода» дает примеры таких ошибок. Один из них – перевод пушкинского «У лукоморья» оборотом «На берегу лукового моря».

На сессии Миллбурнского клуба о переводах выступавшие

приводили и другие примеры явных ошибок. Кстати говоря, это является чуть ли не обязательной частью каждого исследования о переводах, которое может анонсироваться даже как теоретическое.

Я вполне понимаю авторов подобных исследований, поскольку такие примеры выглядят довольно эффектно и легко читаются. Но я бы не отнес языковые ловушки к ключевым моментам перевода. В частности, не отношу их к ключевым моментам моего изложения, поскольку таких ошибок, теоретически говоря, можно было бы при переводе избежать. Правда, практически их избежать нелегко, поскольку для переводчика один из двух языков, наверное, всегда не является родным.

Об игре слов и звуков и об ассоциациях

Другие элементы языка, которые серьезно препятствуют возможности адекватного перевода, тоже широко известны и часто обсуждаются. Это непереводаемая игра слов и звуков, а также ассоциации, вызываемые словами, темой или даже звуками.

Я вспоминаю выступление в Миллбурнском клубе Джулиана Лоенфельда в апреле 2005 года с переводами Пушкина. Читал он в тот раз и свой перевод *“A wondrous moment I remember...”* пушкинского стихотворения «Я помню чудное мгновенье...» Думаю, что Джулиан – один из лучших переводчиков Пушкина на английский. Но смог ли он в данном случае довести очарование пушкинского текста до англоязычного читателя?

Вот что говорит в своей работе «Искусство перевода» Набоков о переводе на английский первой строки этого стихотворения:

«Мелодия этой строки с округлым и полнозвучным словом “чудное” в середине и звуками “м” и “н” по бокам, уравновешивающими друг друга, – умиротворяет и ласкает слух, создавая при этом парадокс, понятный каждому художнику слова. Если посмотреть в словаре эти четыре слова, то получится глупое, плоское и ничего не выражающее английское предложение: “I remember a wonderful moment”. <...> Как ни старайся, английского читателя не убедишь, что “I remember a wonderful moment” – совершенное начало совершеннейшего стихотворения».

И еще:

«В слове “чудное” слышится сказочное “чудь”, окончание слова “луч” в дательном падеже и древнерусское “чу”, означавшее “слушай”, и множество других прекрасных русских ассоциаций. И фонетически, и семантически “чудное” относится к определенному ряду слов, и этот русский ряд не соответствует тому английскому, в котором мы находим “I remember”».

Негативное мнение Набокова о возможности перевода русской поэзии вызвало отрицательную реакцию многих выступавших на заседании

Миллбурнского клуба в ноябре 2021 года. Это несогласие с мнением Набокова сопровождалось довольно резкими выражениями в его адрес. И совсем уж неожиданным для меня оказалось то, что по этой причине (или по какой-то другой) острой критике с еще более резкими выражениями подверглись выполненные Набоковым перевод на английский язык романа «Евгений Онегин» и Комментарий к нему.

Критика набоковского Комментария не совсем была, так сказать, по теме заседания Миллбурнского клуба. Не совсем она и по теме этой моей статьи. Однако хочу очень кратко, буквально в нескольких словах, ответить на эту, как мне кажется, явно несправедливую критику.

Сам Набоков считал свой Комментарий «кабинетным подвигом». «Россия должна будет поклониться мне в ножки (когда-нибудь)» – так, он полагал, литературное сообщество должно было оценить его труд. Работа над Комментарием заняла у него более десяти лет. Объем этого труда – более тысячи страниц в четырех томах. Небольшая часть первого тома отведена для прозаического перевода романа. Остальная, большая часть первого тома, и другие три тома содержат обширный комментарий.

Этот труд Набокова высоко оценивается ведущими российскими пушкиноведами. Вот что говорил о нем Вадим Петрович Старк – российский литературовед, исследователь творчества Пушкина, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела пушкиноведения Института русской литературы Российской академии наук:

«Теперь нам стал доступен Набоков, <...> мы открываем в нем не только художника, но и ученого, заставляющего нас по-новому взглянуть на Пушкина и его роман. В целом, если говорить о набоковском Комментарии, примечательными оказываются не только те открытия и наблюдения, которые явились плодом длительных и кропотливых научных изысканий, но и те, которые не мог сделать никакой другой исследователь, кроме Набокова, чей писательский дар позволил ему проникнуть в области, недоступные критике».

О размере, рифме и не только

Все сказанное выше может относиться не только к стихотворным, но и к прозаическим произведениям. Возможно только, в стихотворных произведениях это проявляется в большей степени. А сейчас я перехожу к трудностям, относящимся исключительно к стихотворным произведениям. Основные из них – это рифма (созвучие окончаний в строках), рифмовка (порядок чередования рифм в стихотворении) и ритм (чередование ударных и безударных слогов). Существует много видов (типов) рифмы, рифмовки, ритма. К этому можно было бы еще добавить особенности переноса части предложения (или даже слова) на следующую строку или строфу, как например, у Высоцкого: «Прочь влияния извне – / Привыкайте

к новизне! / Вздох глубокий до изне-/ можения». И то, что присуще оригинальному произведению, вроде бы должно быть как-то сохранено в адекватном переводе.

Можно найти много примеров того, насколько серьезными могут быть возникающие при этом проблемы перевода. Я приведу здесь одно высказывание из довольно интересной книги Якова Клоца «Поэты в Нью-Йорке». Это высказывание Евгения Осташевского. Вот что он ответил на вопрос о переводах Введенского на английский:

«С Введенским другая проблема – не столько лексическая, сколько ритмическая. Особых лексических выкрутасов у него нет: у него просто свой словарь, который все время повторяется. Так что не в этом была сложность, а в том, что делать с четырехстопными ямбами и хорейми, которыми Введенский часто пишет: по-русски это напоминает сказки Пушкина, но по-английски такой ассоциации просто нет. А для Введенского она абсолютно ключевая. Четырехстопный хорей в английской традиции совсем другой. Он другой и ритмически, потому что язык гораздо более односложный, и культурно, потому что такой размер совсем по-другому ощущается. Вообще четырехстопные размеры в английском более закрыты. Можно, конечно, перевести четырехстопный ямб четырехстопным ямбом, но это бессмысленно, потому что такого же четырехстопного ямба все равно не получится. Бродский считал, что язык языком, а размер размером. Я с этим категорически не согласен. Это другая мелодия, другая традиция».

Только ли с переводами русской поэзии на английский возникают какие-то проблемы? Нет, конечно. И об этом говорят многие. Вот что пишет, например, Жорж Нива в своем эссе «Александр Блок во Франции», посвященном в основном французским переводам «Двенадцати». Он цитирует Станислава Фюме, который говорит о том, чем страдает французская поэзия при переводах:

«Эта ее слабость объясняется отсутствием тонического ударения, исчерпанностью запаса рифм и в особенности своеобразием развития французской поэзии от Клоделя до Элюара и Шара. <...> К этим общим трудностям прибавим особую, блоковскую: никто не нашел французского эквивалента для дольника, который “канонизировала” поэзия Блока».

И далее Жорж Нива приводит прямую цитату Фюме:

«Пока мы не выучимся по-русски, мы должны, увы, отказаться от надежды услышать ритмы, которые, по словам знатоков, не знают себе равных в мире. Переводы дают представление лишь о красках русской поэзии; о рисунке ее мы узнаем очень немного, о мелодии – почти ничего».

По свидетельству Нива, Станислав Фюме считает, что «французская поэзия страдает тем же недугом и при переводах с немецкого или с английского».

Ну а насчет пассажи «пока мы не выучимся по-русски» я бы хотел кое-что добавить. И я вернусь к этому моменту в одном из следующих разделов.

В заключение этого подраздела я хочу привести цитату из довольно интересной работы Гайто Газданова, посвященной русской поэзии на французском языке. В ней он делает одно немаловажное замечание по поводу трудностей или даже невозможности перевода поэтических произведений, рассматривая проблемы перевода со стороны фонетики:

«Когда-то Тургенев говорил Флоберу о Пушкине, и Флобер попросил его перевести ему что-нибудь. Тургенев перевел одно из лучших стихотворений Пушкина “Я вас любил”. И Флобер сказал: “Но это плоско – то, что он пишет”. Тургенев был прекрасным переводчиком, это несомненно. Пушкин – великий поэт, и это тоже не вызывает никаких сомнений. Но дело в том, что передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно или, во всяком случае, необыкновенно трудно. Как можно по-французски передать это движение русских гласных, которых нет во французском языке, эти смещения ударений, которые есть в английском и немецком языках, но которых нет по-французски, где ударение всегда на последнем слоге? И это только чисто фонетическая сторона».

Промежуточные выводы

Теперь можно оценить, какую работу должен проделать переводчик для адекватного перевода поэтического оригинала. Получается, что он должен написать нечто по теме оригинала, во-первых, используя при этом эквивалентные слова (или группы слов), которые, как мы знаем, не существуют, во-вторых, используя такую же (пусть даже похожую) звуковую мелодию стиха, в-третьих, используя похожие предметные, речевые и даже звуковые ассоциации, в-четвертых, привлекая ту же игру слов (которая почти наверняка отсутствует на языке перевода), а также, в-пятых, подчиняясь многим другим ограничениям. И, наконец, в-шестых или даже в-седьмых, в-восьмых, в-девятых и в-десятых, он должен написать все это обязательно в рифму (желательно такого же вида, как рифма оригинала), с той же рифмовкой и используя при этом размер оригинала.

Возможно ли такое? Ну, с учетом всего сказанного выше, надо заключить, что описанное частично соблюсти чрезвычайно трудно, а частично и просто нереально. И, значит, надо заключить (с глубоким прискорбием, конечно), что адекватный перевод поэтических произведений невозможен.

После такого вывода я должен был бы в дальнейшем слово «перевод» заключать в кавычки. Время от времени я так и буду делать (не всегда, иначе текст станет трудно читаемым).

Все, что было пока высказано мной, вызвало возражения как у тех, кто присутствовал на сессии Миллбурнского клуба в ноябре 2021 года, так и у многих других, с кем я беседовал на эту тему до или после заседания. Что говорят те, кто не согласен с моими выводами? В моей статье я не стану обязательно приводить точные высказывания конкретных людей, а взамен буду приводить, так сказать, обобщенное мнение по тому или иному моменту всех, с кем мне пришлось обсуждать эти вопросы в разное время. Желających посмотреть и послушать, как эти вопросы обсуждались в Миллбурнском клубе, я отсылаю к моему сайту *slavabrodsky.com* или сайту клуба *mypedia.com*.

Каким образом народ аргументировал свое несогласие со мной? Обычно эта аргументация сводилась к представлению каких-то примеров. И поскольку мы говорили о великой литературе на русском языке, то, как естественно было ожидать, многие примеры были связаны с большими именами в русской литературе. Что говорили те, кто не был согласен со мной, по поводу переводов, скажем, Пушкина? Считали ли они возможным адекватный перевод его поэтических творений?

Кто-то ответил на этот вопрос утвердительно, кто-то уклонился от ответа. Был ли я единственным в той аудитории, кто без сомнения отвечал бы на этот вопрос отрицательно, не знаю. Могу только надеяться, что это не так.

Среди отвечающих на этот вопрос утвердительно иногда все-таки были те, кто несколько смягчал формулировку своего ответа. В таких случаях можно было услышать, что пока еще никто не созрел до этого, но если, мол, найдется кто-то с талантом нашего Пушкина, кто не только в совершенстве знает язык, на который он переводит, но и в совершенстве знает русский, тогда, мол, вполне возможно ожидать абсолютно адекватного перевода.

Ну что ж, давайте представим себе такую ситуацию. Представим, что кто-то, скажем во Франции, обладающий всеми талантами Пушкина, вдруг проникся каким-то его стихотворением и решил написать нечто похожее на французском языке. Предположим также, что этот человек вдобавок свободно говорит по-французски и по-русски. И не только свободно говорит, а оба этих языка являются для него родными. Ну, скажем, он родился в Париже, но потом родители перевезли его в Москву. А потом – обратно в Париж. И так он все время до тридцати лет ездил туда-сюда. Обладая необычайными поэтическими талантами, он к тридцати годам превратился в гениального русского поэта, а во Франции – в гениального французского поэта. И вот тут он прочитал какое-то стихотворение Пушкина и решил перевести его на французский язык. И свершается чудо. Душа нашего француза стесняется лирическим волнением, в нем пробуждается поэзия, мысли в голове волнуются в отваге, рифмы легкие

навстречу им бегут, пальцы просятся к перу, перо к бумаге, ну и все такое прочее, что определяет процесс свершения поэтического чуда гением поэзии.

Будучи гениальным русским поэтом, наш француз, конечно же, чувствовал все художественные особенности оригинала. А будучи гениальным французским поэтом, был в состоянии проявить все свои таланты, усиленные прочтением оригинала, для того чтобы создать нечто совершенное на французском языке. В результате французские читатели рыдали над его переводом точно так же, как рыдали над оригиналом Пушкина российские читатели.

Возможен такой вариант?

Конечно, возможен. Теоретически возможен. А так (в смысле, практически) – вряд ли. Или точнее, такой вариант очень и очень маловероятен. Однако если такое вдруг все-таки случится, французский поэт не сможет передать по-французски поэтическое волшебство Пушкина. И в этом смысле французский «перевод» не будет адекватен оригиналу. Хотя французский поэт вполне мог бы создать поэтическое произведение, наполненное волшебством, на французском языке, которое, правда, было бы, конечно, волшебством другого типа по сравнению с русским оригиналом.

Многие говорят, что хотя перевод не может быть абсолютным эквивалентом оригинала, но он к нему может быть очень близок. К этому по одному конкретному случаю однажды была добавлена оговорка, что перевод близок к оригиналу, насколько это возможно. Вот с такой оговоркой я, пожалуй, согласился бы. Поскольку перевод может быть близок к оригиналу, «насколько это возможно», даже если близкий перевод принципиально невозможен.

При обсуждении переводов Бёрнса Маршаком иногда говорят, что в них сохранена общая мелодика. И что перевод и оригинал вызывают одинаковые эмоции. Примерно то же говорят и о переводах сонетов Шекспира Пастернаком.

То, что при переводе сохранена общая мелодика и, скажем, еще ритм, это, как считают многие, хорошо. Но не это же определяет качество «перевода». А вот то, что перевод и оригинал вызывают одинаковые эмоции, – в этом есть определенное зерно. Хотя мы знаем, что ни у каких двух индивидуумов эмоции не могут быть одинаковыми. Но похожими они могут быть. Однако кто может оценить и сравнить эмоции людей, вызываемые оригиналом и переводом любого произведения? Пожалуй, никто.

Я уже цитировал книгу Якова Клоца «Поэты в Нью-Йорке». Скажу теперь, что в ней оказалось довольно много высказываний поэтов о

переводах. И практически все они лежат, так сказать, в одной плоскости с моим представлением о предмете. Приведу еще одну цитату оттуда. Она принадлежит Елене Сунцовой:

«...у меня очень примитивный подход к переводам: я убеждена, что переводить невозможно, даже если ты гений. Если хочешь читать персидскую, греческую, английскую, французскую или итальянскую – любую – поэзию, то будь добр сядь и выучи язык. Для этого нужно очень этот другой язык полюбить. Со мной такого не происходит, а заставлять себя я не умею. Я уважаю переводчиков и их работу, но, к сожалению, ничего не могу с этим своим мнением поделать».

Единственное возражение к сказанному у меня было бы связано вот с этим: «будь добр сядь и выучи язык». Я бы заменил это на «будь добр родись в этой стране». Поскольку адекватного ощущения от прочтения оригинала шедевра мировой литературы нельзя достичь простым выполнением указания «сядь и выучи язык».

Похожее мнение (насчет «выучи язык») в несколько иной трактовке звучало и на заседании Миллбурнского клуба о переводах. В одном из эпизодов зашла речь о том, насколько нужны были переводы с французского на русский в XIX веке. И говорилось о том, что французский был родным языком дворянского общества. Поэтому, казалось бы, можно было всегда обратиться непосредственно к оригиналу.

Насколько это мнение справедливо? Трудно об этом судить без каких-то, так сказать, исторических свидетельств. Одно я нашел. Это воспоминание П. И. Мельникова-Печерского. Он приводит свидетельство его преподавателя в Казанском университете Г. И. Суровцева, который познакомился с Пушкиным в то время, когда тот собирал в Оренбурге материалы для истории Пугачевского бунта:

«Однажды, говорил Суровцев, спросили Пушкина, как он находит даму, с которой он долго говорил, умна ли она? Поэт отвечал: "Не знаю, ведь я говорил с ней по-французски"».

Что можно сказать по этому поводу? Наверное, только – «Ай да Пушкин!»

А я бы добавил вот что. Языком дворянского общества в XIX веке был не французский язык, а, так сказать, «российский французский» язык. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В связи с последним моим замечанием – еще такой риторический вопрос. А мы, «русские», члены Миллбурнского клуба, которые «сели и выучили» американский английский и теперь вроде бы свободно на нем говорим (быть может, с акцентом), – можем ли мы обращаться к Шекспиру на языке оригинала?

Что такое удачные переводы

Только что я рассматривал гипотетический удачный перевод. Теперь я хочу указать на реальные случаи, когда может создаться впечатление, что стихотворный перевод выполнен удачно. И тогда может показаться, что такие примеры приводят нас в противоречие с теми выводами, которые я здесь уже сделал.

Но для начала я бы подразделил всех, делающих стихотворные переводы, на несколько групп:

группа первая (довольно малочисленная) – первоклассные поэты, делающие переводы, так сказать, по зову сердца;

группа вторая (тоже малочисленная) – первоклассные поэты, делающие переводы за деньги, или «для куска хлеба»^{*};

группа третья (намного превосходящая по численности первую и вторую) – все остальные; сюда входят непервоклассные поэты и любители, делающие переводы по любой причине.

Теперь обратимся к первой группе переводчиков. Вспомним, скажем, переводы Бёрнса, выполненные Маршаком. Бёрнс почитается шотландцами. Они его очень любят. И может быть, по этой причине за перевод взялся Маршак. А Маршак – замечательный поэт. Его тоже почитают. Только его почитают русские. И не удивительно, что русские с удовольствием читают его «переводы». И получается, что шотландцы обожают своего Бёрнса, а русские обожают Бёрнса в переводе Маршака. Ну, и вроде бы отсюда следует, что Маршак замечательно перевел Бёрнса и что теперь русскоязычные читатели имеют хорошее представление о поэзии Бёрнса.

Но вот чтостораживает. Маршак ведь переводил не только Бёрнса. Он, например, перевел сонеты Шекспира. Многим они нравятся. И тогда вроде бы получается, что он помог русскоязычному читателю получить хорошее представление о поэзии Шекспира. А Пастернак тоже перевел сонеты Шекспира. И они тоже многим нравятся. И, значит (вроде бы), он тоже помог русскоязычному читателю получить хорошее представление о поэзии Шекспира. При этом народ, который так думает, не обращает особого внимания на то, что «переводы» Маршака и Пастернака довольно разные. Они очень уж разные. Ну и как же тогда они, будучи очень разными, могут дать нам осмысленное представление об оригинале?

Ответ тут может быть только один. К оригиналу эти переводы имеют лишь косвенное отношение. И это – несмотря на то, что сделаны они выдающимися национальными поэтами.

Однако русскоязычный читатель, скажем, сонетов Шекспира в переводе

^{*} Выражение А.С.Пушкина по поводу перевода Шатобрианом «Потерянного рая» Мильтона.

Пастернак получает сильное эмоциональное воздействие при знакомстве с этим переводом. И поэтому он приходит к выводу о том, что перевод сделан блестяще. И в каком-то смысле будет прав. Но он на этом не останавливается и продолжает. Что он, мол, просматривал сонеты в подлиннике и видит, что перевод очень близок к оригиналу. И теперь, мол, русскоязычный читатель может получить идеальное представление о том, что такое сонеты Шекспира, на основании пастернаковского перевода.

Попробуйте спросить кого-то, читал ли он сонеты Шекспира. И вы, скорее всего, услышите – читал, конечно читал. Хотя читал он не сонеты Шекспира, а «перевод» сонетов Шекспира.

На самом же деле, конечно, Маршак «перевел» сонеты в своем стиле и в силу своего таланта. А Пастернак «перевел» сонеты в своем стиле и в силу своего таланта. И, значит, в этом случае можно говорить только о том, что они написали сонеты по мотивам (на основе) сонетов Шекспира. Хотя общеупотребительное значение этого термина («по мотивам») несколько другое. И об этом я еще буду говорить тут же, в этом же разделе.

Бёрнса в переводе Маршака я читаю с наслаждением. Хотя понимаю, что это не Бёрнс, а Маршак. А шотландцы – они с удовольствием читают Бёрнса? Да, с удовольствием, я знаю это, но независимо от переводов Маршака.

Безусловно, Маршак что-то «поймал» у Бёрнса. Но, может быть, что-то и «недопоймал». Но наверняка вложил свой талант в перевод, скомпенсировав то, что «недопоймал». И тем не менее, оригинал Бёрнса и перевод Маршака – разные произведения. Каковы они в сравнении? Думаю, что ответить на этот вопрос не сможет никто.

Может показаться, что вопрос, который я сейчас обсуждаю применительно к первой группе переводчиков, – чисто терминологического характера. Что все, конечно, прекрасно понимают, что Маршак писал по мотивам (на основе) сонетов Шекспира. И несмотря на это, принято в таком случае говорить, что это сонеты Шекспира в переводе Маршака.

К сожалению, это не совсем так. И даже совсем не так. Что я имею в виду?

Как мы поняли, всякий перевод не является адекватной копией оригинала. Можно выразить это и другими словами. А именно, можно сказать, что перевод представляет собой произведение, написанное по мотивам (на основе) оригинала. Однако существует одно неявное, но общепринятое терминологическое соглашение, которое связывают с намерениями автора перевода. Когда говорят, что перевод сделан по мотивам оригинала, то имеют в виду, что автор сознательно отклонился (чаще всего в основной линии, в сюжете) от оригинала. А когда говорят о

переводе без ссылок на то, что он сделан по мотивам оригинала, то имеют в виду, что автор старался следовать букве и духу оригинала. Поэтому-то до сих пор я ставил после словосочетания «по мотивам» пояснение в скобках «на основе», для того чтобы отличить одно понятие от другого. Всюду дальше в моей статье я такое пояснение не буду делать в обязательном порядке. И надеюсь, что из контекста всегда будет ясно, в каком смысле я употребляю термин «по мотивам».

Так вот – когда говорят о переводах, скажем, Маршаком сонетов Шекспира или о каких-то других переводах, большинство людей принимают слово «перевод» за, так сказать, чистую монету. И если нет ссылки на то, что перевод делался по мотивам оригинала, то многие путают намерения автора с результатами его усилий. То есть считают (по крайней мере, в каких-то случаях), что автор не только пытался следовать букве и духу оригинала, но и добился поставленной цели и создал адекватный перевод.

Помните, я приводил слова Набокова об английском читателе, которого «не убедишь, что *“I remember a wonderful moment”* – совершенное начало совершеннейшего стихотворения»? Так вот, этот английский читатель, скорее всего, будет оставаться в совершеннейшем недоумении, почему русские так высоко ценят своего Пушкина, который создавал такие вот плоские и неинтересные творения. А почему он так думает? Потому что мало кто понимает, что перевод никогда не является адекватным оригиналу. И чаще всего является негодной его копией.

Приведенный пример с высказыванием Флобера о Пушкине – еще одно подтверждение этому. Флобер наивно полагал, что перевод, выполненный человеком, заслуживающим его доверия, дает хорошее представление об оригинале.

О второй группе переводчиков

Мы все – русскоговорящие, жившие в свое время в стране Советов, подпорчены своеобразным отношением к тому, что называется работой.

В те времена у музыкантов было такое понятие – «халтура». Скажем, вы играете в каком-то хорошем оркестре. Неважно – любительском или профессиональном. И вот к вам приходят какие-то люди с телевидения и просят прийти к 12 часам ночи на студию. С вашей скрипкой, конечно. Там вам прилепят на вашу физиономию большую белую бороду, и вы будете изображать, скажем, каких-то дедов-джазов-морозов. И за эту халтуру вам заплатят где-то около 20 процентов вашей месячной зарплаты. Отказываться, конечно, не стоит. А то вам такое в следующий раз не предложат. А 20 процентов от вашей зарплаты – это ведь очень неплохие деньги. Особенно, если учитывать, что зарабатываются они всего за полночи.

У научных работников «халтура» была немного другого плана. Вам надо было прочитать (скажем, в планетарии) лекцию на какую-то тему, отдаленно связанную с темой вашей основной работы. Но лекцию надо прочитать очень популярную. Никто особенно ничего не поймет. Да этого от вас никто и не требует. Народ поймет только, что вы где-то в чем-то хорошо разбираетесь. И общество «Знание» заплатит вам за это примерно столько же, сколько за дедов-джазов-морозов.

Еще научные работники могли составлять рефераты для реферативных журналов. Платили за это немного. Но зато и трудиться было не так уж и хлопотно. Кое-как перевести аннотацию к научной работе, даже не очень-то понимая, о чем там идет речь, не так уж трудно. Перевел, послал – вот, как говорится, и вся любовь до копейки.

У литераторов тоже была своя «халтура» – переводы. С грузинского, армянского, белорусского. За это тоже платили неплохие деньги. И для них, в отличие от музыкантов или ученых, такая «халтура» часто бывала почти единственным надежным способом заработка.

Как можно относиться к таким переводам, если они сделаны первоклассными поэтами, но только «для куска хлеба»? Казалось бы, примерно так же, как и к переводам первой группы. Однако такие переводы, как правило, оказываются гораздо менее удачными. И читательский спрос на них невелик. То же самое можно сказать и о национальных поэтах не самого высокого уровня.

Почему так получается? Наверное, когда поэт заранее настраивается на «халтуру», на то, чтобы заработать себе на пропитание, ему трудно поймать необходимое вдохновение. При этом сами поэты-переводчики вполне отдают себе отчет в том, что их переводы – продукция, так сказать, «второй категории свежести».

Эдуард Бабаев в своих «Воспоминаниях» пишет о переводах Ахматовой, за которые она бралась только «для куска хлеба»:

«За двадцать лет добрых отношений с Анной Андреевной Ахматовой мне довелось много раз слышать, как она читает свои старые и новые стихи. Но я никогда не слышал, чтобы она читала свои старые или новые переводы. <...> Помнится, однажды она вернулась из какого-то издательства и сказала с тоской и отвращением: “Я опять подписала договор на переводы... На нервной почве!”»

Бабаев говорит также о том, что у Ахматовой были помощники по переводам, которые тоже нуждались в заработках, но получить заказ им было намного труднее. С ними она делилась своими гонорарами. То же самое говорила и Н. Я. Мандельштам. Только она утверждала, что почти все переводы Ахматовой делались таким способом.

Как, скажем, можно относиться к переводам Иосифа Бродского с сербского? Сербского он не знал. И делал свой перевод по подстрочнику. Конечно, в этом случае все должны понимать, что такой перевод, вообще говоря, еще дальше от оригинала. Объясняется это просто: здесь примешивается трактовка того, кто делает подстрочник. Ну, если переводчик хочет создать свой текст *по мотивам оригинала*, то это его дело, что он будет использовать. Он вполне может использовать и подстрочник. Но если текст заявлен как *перевод оригинала*, который, по идее, должен сохранять смысл, стиль, дух, ритм, пластику, цвет и запах оригинала, то использование подстрочника без знания языка оригинала – это уже самое злостное грехопадение в жанре перевода. И оправданием переводчику может быть только то, что он рассматривал такую деятельность как «халтуру», как способ заработать какие-то деньги.

О третьей группе переводчиков

Мой хороший приятель время от времени пишет стихи. Которые, вообще говоря, никто не читает. Кроме, может быть, близких ему людей. И вот он решает переводить сонеты Шекспира. Имеет ли смысл такая его деятельность? Наверное, имеет. Но только в той же степени, что и вся остальная его поэтическая деятельность. Его переводы Шекспира будут читать только те, кто читает другие его стихи. И уровень переводов будет примерно такой же, как и уровень всего прочего, что он пишет. Примерно, конечно.

Мой приятель получает удовольствие от того, что переводит сонеты Шекспира. И, значит, хотя бы по этой причине его переводы имеют смысл. Но только для него самого и, может быть, для каких-то очень близких ему людей.

Переводы литераторов третьей группы, скорее всего, еще более далеки от оригинала (чем переводы литераторов второй группы), несмотря на то что делаются по мотивам оригинала. (Хотя, кто и как может измерить это различие?) А поскольку переводы всегда делаются в силу способностей переводящего, значит, и читать эти переводы будет примерно та же категория людей, которая читает и все остальные произведения переводчика. Значит, для них какой-то смысл эти переводы имеют. Однако, конечно же, нелепо ожидать, что такие переводы могут дать хорошее представление об оригинале.

Дальнейшие выводы

Я допускаю, что выводы, которые я делаю о поэтических переводах, могут восприниматься как посягательство на весь этот жанр, а также и на всю мировую переводную литературу. Хотя таких намерений у меня не было.

Я допускаю это потому, что, скажем, на заседании Миллбурнского клуба, где обсуждалась проблема переводов, его участники проявляли определенное беспокойство по этому поводу. Это было еще в тот момент, когда вопрос о том, дают ли переводы поэтических произведений адекватное представление об оригинале, только начал обсуждаться. Народ настаивал на том, что литература не может существовать без переводов. Что без переводов мировая литература выглядела бы совсем по-другому. И что мы все знакомимся с литературными произведениями во многом благодаря переводам. Ну и вроде бы неявно стало все определеннее озвучиваться мнение о том, что раз без переводной литературы жизнь литературная невозможна, значит, переводы все-таки дают осмысленное представление об оригинале.

Что можно сказать по этому поводу? Не по поводу логических оснований того, что было неявно озвучено. А про то, что мы знакомимся с литературными произведениями во многом благодаря переводам и что без этого литературная жизнь была бы совсем другой.

Да, миллионы читают переводную литературу. И среди такой литературы попадаются шедевры. Но попадается и то, что можно назвать емким словом «макулатура». Точно так же, как и среди непере译ной, оригинальной литературы. Каждый индивидуум волен читать то, что хочет. Но когда он читает перевод, то вполне может оказаться, что он читает макулатуру (с моей, скажем, и еще чьей-то точки зрения), даже если оригинал относится к шедеврам национальной литературы. А когда этот индивидуум читает шедевр переводной литературы, ему неплохо бы было понимать, что этот шедевр дает лишь частичное представление об оригинале.

Так может ли литература существовать без переводов? Я слышал мнение о том, что для любого литературного произведения отсутствие переводов на другие языки пагубно настолько, что оно не может без этого принадлежать к мировой литературе.

Вот с этим я бы определенно не согласился. Думаю, что такое суждение ошибочно. И, чтобы убедиться в этом, надо посмотреть на переводимое произведение с двух сторон – со стороны оригинала и со стороны его перевода. Давайте так и поступим.

Разве только переводы Маршака ставят оригинальные произведения Бёрнса в разряд мировых? Нет, конечно. Бёрнс вписал свои произведения в сокровищницу мировой литературы уже в тот момент, когда создал свои творения. Ведь мировая литература – это совокупность всех национальных литератур с древнейших времен до современности. И, следовательно, отсутствие переводов никак не может вычеркнуть произведения Бёрнса из списка произведений мировой литературы.

То же самое – для произведений Шекспира. Разве еще до того, как был сделан первый перевод Шекспира на другой язык, его произведения не

заслуживали даже самого скромного места в мировой литературе? И сколько надо было сделать переводов, чтобы творения Шекспира заслужили право быть частью мировой литературы? Какой по счету перевод передвинул туда произведения Шекспира? Может быть, это случилось только после того, как его сонеты были переведены Пастернаком?

Ответы на все эти вопросы очевидны. Любое произведение Шекспира попало в мировую литературу сразу после создания.

А «Евгений Онегин» сразу попал в мировую литературу после его создания? Или сначала надо было нескольким переводчикам перевести его корявыми словами на европейские языки?

Теперь посмотрим на все это со стороны перевода. Начнем опять с перевода Маршаком Бёрнса. Что можно сказать об этом творении Маршака? Мне кажется это очевидным. Само его творение становится частью русской литературы и только таким образом входит в сокровищницу мировой литературы. А творение Бёрнса оно передвинуть в мировую литературу не может, поскольку Бёрнс уже давно там обосновался, еще до того, как Маршак впервые услышал его имя.

Многие, в подтверждение того, что поэтические переводы – вещь нужная, представляют на обсуждение свои переводы. Скажем, с русского на английский. Они указывают на очевидные несуразицы в переводах, сделанных до них. И показывают, как гораздо лучше и «правильнее» надо было бы соответствующее место перевести.

Потом они начинают читать свои переводы. Но их, быть может, довольно неплохие поэтическое творения не находят достаточного отклика в англоязычной аудитории (напоминаю, я говорю сейчас о переводах с русского на английский). Хотя бы потому, что в такой аудитории несуразицы в предыдущих переводах не только не вызывают ожидаемой реакции, но не вызывают никакой реакции вообще. Поэтому чаще приходится читать переводы для аудитории, где родной язык русский. При этом тот, кто читает свой перевод, пытается интонационно повторять ритмику оригинала – в надежде, что в аудитории, для которой английский не является родным языком, это может вызвать положительные эмоции. Но, как сказал классик русского юмора, «такой перекося лица не убеждает». Вернее, поправимся мы, не должен убеждать.

О переводах в мировой литературе

Из чего состоит мировая переводная литература? Нам легче всего судить о переводной литературе на русском языке. Я уже говорил о стихах Бёрнса в переводе Маршака и о сонетах Шекспира в переводах Маршака и

Пастернака. Это всё примеры работ переводчиков из первой группы. Они, конечно, не дают адекватного представления об оригинале. Но, безусловно, являются шедеврами переводной литературы на русском языке. Сколько еще можно назвать русскоязычных переводчиков, которые одарили нас своими шедеврами? Наверное, их все-таки единицы.

А сколько переводчиков из второй и третьей групп? Имя им – легион. Вот они, по крайней мере по численности, и представляют переводную литературу на русском языке. В советской России выходили большими тиражами переводы чукотских, таджикских, ненецких, африканских поэтов, а также поэтов из так называемых «стран народной демократии». Лучшее из этого океана переводов – это переводы талантливых поэтов «для куска хлеба». И хотя порой они делали это «на нервной почве», но все-таки пытались, как говорил Чуковский, «воспроизводить в переводе улыбку – улыбкой, музыку – музыкой, душевную тональность – душевной тональностью».

А что можно сказать о переводах с русского на другие языки?

В Советском Союзе переводчиков, да и вообще литераторов, материально поддерживали вожди. (Послушных литераторов, конечно. Вожди очень хорошо знали, за что они платят.) Поэтому была какая-то ощутимая вероятность, что за перевод примется первоклассный поэт и результат может получиться неплохим. Однако оплачиваемый государством заказ на перевод в нетоталитарной стране, наверное, не такое частое явление. И поэтому ожидать, что в разных странах мира сейчас переведут хорошо Пушкина, Мандельштама или Пастернака, – нелепо.

Корней Чуковский посетовал как-то на то, что удачных переводов на русский язык больше, чем переводов с русского языка. Вот что он сказал о переводе «Великого Гэтсби» на русский язык:

«Читаешь, радуешься каждой строке и думаешь с тоской: почему же ни в США, ни в Англии, ни во Франции не нашлось переводчика, который с такой же пристальной любовью и с таким же искусством перевел бы нашего Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Крылова, Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Блока?»

Здесь интересно то, что в списке нет «нашего Пушкина». Видно, у Корнея Ивановича не поднялась рука написать о желании увидеть переведенной «душевную тональность» Пушкина.

И почему речь идет только о США, Англии и Франции? Если уж мы говорим о мировой литературе, то надо брать шире. Пусть воспроизведут душевную тональность нашего Маяковского в Китае, Японии, Индии, Южной Америке, Австралии, Новой Гвинее и Нигерии.

Сколько там языков насчитывают ученые? Две тысячи, шесть, шестнадцать? Ну вот для каждого из них трудно, что ли, найти хотя бы одного местного Блока, который переведет музыку нашего Блока на свой язык? Итого будет, скажем, шесть тысяч Блоков. Ну пусть шесть тысяч Пушкиных найти трудно. А шесть тысяч Мандельштамов можно будет сыскать по всему свету?

Ну, наверное, надо все-таки признать, что те, кто настаивают на глобальном расширении процесса перевода русской поэзии на языки мира, – они немного погорячились. Найти по всему миру шесть тысяч Мандельштамов вряд ли возможно. Наверное, все-таки те, кто погорячился, имели в виду не мировую литературу, а литературу стран (или языков), которые они по каким-то критериям считают «достойными представителями» других стран (языков). Наверное, они выбрали, скажем, основные европейские языки, а также наиболее «влиятельные» языки мира. И вот эти, скажем 20 или 30 языков, как они, наверное, считают, и представляют мировую литературу.

Давайте попробуем оценить какое-нибудь известное издание переводов с русского языка на один из таких «влиятельных» языков. Я выбрал издание переводов на французский язык, которое вышло стараниями Эльзы Триоле – антологию русской поэзии XVIII–XX вв. – *“La poésie russe”*.

Вот что пишет об этой книге Василий Катанян (чтобы было понятно, о чем он говорит, скажу, что он ссылается на свое посещение загородного дома Эльзы Триоле и Луи Арагона после их смерти):

«Здесь большей частью создавала она <Эльза Триоле> свою знаменитую “Антологию русской поэзии”, куда были отобраны лучшие стихи от Тредиаковского до Ахмадулиной.

Труд переводчика! Эльза Триоле в своей жизни переводила много, но перевод поэзии – при всей ее любви и приверженности к стихам – отнимает у нее много сил, она мучается, у нее опускаются руки, и все же она вновь садится к письменному столу, дабы “Антология” получилась достойной тех больших поэтов, которых она выбрала».

Насколько же удачным оказалось это издание? Выход этой книги был приурочен к встрече с советскими поэтами. Эта встреча, по свидетельству Гайто Газданова («Русская поэзия на французском языке»), происходила в огромном зале *“Mutualité”*, и имела в большой степени политический характер. Ведь Эльза Триоле и Луи Арагон исповедовали коммунистические убеждения и были настроены про-советски. Тем не менее вечер собрал около трех тысяч участников. Французы читали русские стихи в переводе, а русские поэты читали их по-русски.

Василий Катанян оценивает это издание довольно высоко. Он пишет:

«Тридцать лет прошло, но лучшие и полнее, чем “Антология” Эльзы

Триоле, во Франции не появилась. И не одно поколение французских читателей, открывая этот том, приближалось к вершинам русской поэзии».

Можно ли верить такой оценке? Конечно, можно. Ну, я имею в виду, правда, только первую часть свидетельства. Можно вполне поверить тому, что за тридцать лет никто стихи русских поэтов на французский язык лучше не перевел. А как относиться к остальному?

Те, кто никогда не задумывался, что такое перевод, могли бы, наверное, поверить и второй части свидетельства Катаняна. Но вот что должно было бы их насторожить. Катанян в том же своем эссе об Эльзе Триоле пишет:

«Как она костерит по телефону и в письмах тех переводчиков, что она пригласила в помощь! Впечатление такое, что все они сговорились лениться, обманывать, скрываться, путать, болеть, жениться, разводиться, прятаться от жен и заодно от Эльзы, нарушать сроки, не подходить к телефону, выкручиваться, терять рукописи...»

Так значит вот кто оказался достойным представлять вершины русской поэзии! Вот кто доносил лучшее из русской поэзии поколениям французских читателей! Значит, вот эти лентяи и путаники помогали Триоле в ее деле? Интересно, сколько среди этих обманщиков было поэтов с талантом Пушкина, Тютчева, Блока?

Нет, я склонен больше доверять свидетельству Гайто Газданова. Вот каковы его заключительные замечания об издании Эльзы Триоле:

«В книге помещена обстоятельная статья Эльзы Триоле о трудности переводов русских стихов на французский язык. Если бы вся антология была составлена для того, чтобы подтвердить неопровержимым образом эту истину, то тогда, надо сказать, издание это следовало бы считать блестящей удачей. Но если издательство Seghers ставило своей целью дать французскому читателю представление о русской поэзии, то тогда нужно констатировать, что эта попытка кончилась неудачей. Иначе это быть не могло. Конечно, то, что Сурков или Соснора переведены плохо, – это не беда. Но когда речь идет о Пушкине, о Тютчеве, о Блоке, то, если допустить, что это русское поэтическое волшебство можно передать по-французски, их стихи должен был бы переводить прекрасный французский поэт, знающий вдобавок в совершенстве русский язык. В числе переводчиков антологии под редакцией Эльзы Триоле такого поэта нет».

К этому я добавил бы то, о чем уже говорил. Но скажу это еще раз. При самой большой удаче «прекрасный французский поэт, знающий вдобавок в совершенстве русский язык», все-таки никаким образом не смог бы передать по-французски «русское поэтическое волшебство» Пушкина, Тютчева, Блока. Хотя он мог бы создать поэтическое произведение на французском языке (по мотивам русского оригинала), которое тоже было бы наполнено волшебством, но волшебством другого типа по сравнению с русским оригиналом.

О переводе прозаических произведений

Я знаю, что по вопросам переводов поэтических произведений многие придерживаются взглядов, схожих с моими. Гораздо меньше тех, кто думает таким же образом о прозе. И если вы спросите кого-то, читал ли он Гоголя или прозу Пушкина, то можете получить быстрый ответ «да, читал» даже в том случае, если ваш собеседник читал только перевод.

Конечно, многое из того, что мешает адекватному переводу стихотворного произведения, при переводе прозаического произведения либо вообще отсутствует, либо, если и присутствует, то в гораздо меньшей степени. Но главное, наверное, то, что канва прозаического произведения, хотя и не является для него основополагающей, все-таки имеет гораздо больший вес по сравнению со стихотворным произведением.

Тем не менее, и здесь составить четкое впечатление об оригинале на основании перевода невозможно. Однако неординарная проза, переведенная на другой язык, вполне может произвести большое впечатление на читателя. Что тут существенно – это то, что неординарный стихотворный перевод требует участия талантливого поэта, в то время как неординарный прозаический перевод может быть сделан не обязательно талантливым прозаиком. И, как правило, таковым и не делается. А делается он чаще всего талантливым профессиональным переводчиком.

Однако вспомним, что говорил по этому поводу Набоков. В конце концов, его утверждение о том, что всякая великая литература – это феномен языка, а не идей, сделано ведь им при обсуждении прозаических произведений Гоголя:

«Сначала выучите азбуку губных, заднеязычных, зубных, буквы, которые жужжат, гудят, как шмель и муха-цеце. После какой-нибудь гласной станете отплеиваться. В первый раз просклоняв личное местоимение, вы ощутите одеревенелость в голове. Но я не вижу другого подхода к Гоголю (да, впрочем, и к любому другому русскому писателю)».

Вот что еще говорил Набоков о Гоголе:

«Мои переводы отдельных мест – это лучшее, на что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же совершенны, какими их слышит мое внутреннее ухо, я, не имея возможности передать их интонацию, все равно не мог бы заменить Гоголя».

Помните, я говорил, что в книге Якова Клоца много рассуждений о переводах. Приведу еще одну цитату оттуда, принадлежащую Вере Павловой. Вот что она сказала о романе Сэлинджера «Над пропастью во ржи»:

«...это первая книжка, которую я прочитала по-английски. Но по-русски и по-английски – это две разные книжки».

И еще об одной старой проблеме перевода говорит Василь Махно (опять

из книги Якова Клоца) – как переводить различные акценты:

«В пьесе “Кони-Айленд” я попытался изобразить речь представителей третьей волны и четвертой. И те и другие говорят по-украински – но это разные языки. Еще в этой пьесе есть украинские болжи, которые живут на Кони-Айленд и говорят между собой уже на нью-йоркском сленге. Пьеса переведена на польский, но даже по-польски на уровне языка эта специфика не ощущается. В черновом варианте пьесу перевели на немецкий, но и там возникает проблема: на каком языке должны говорить эти персонажи – на баварском диалекте или, может быть, на языке ГДР? Это очень сложно воссоздать в переводе».

Как-то я проделал такое упражнение (в моей книге «Релятивистская концепция языка»). Сделал «обратный перевод» на русский с известного перевода «Капитанской дочки» Пушкина на английский. Результат получился довольно бледным. Но он показал мне, в каком виде весь мир читает прозу Пушкина. Каждый может проделать подобное упражнение самостоятельно.

И все-таки переводы прозаических произведений встречают не такую откровенно негативную реакцию, как переводы поэтических произведений. Я уже говорил, что одним из основных моментов здесь является то, что в прозаическом произведении нагрузка его канвы, общей идеи, несравненно больше. Я имел в виду художественные произведения. А что можно сказать о техническом тексте или даже о математическом? Здесь нагрузка идеи уже основополагающая. И тогда уже можно сказать, что перевод этого, скажем, математического (или математизированного) текста дает очень хорошее представление об оригинале. Практически адекватное.

К обсуждению проблем перевода прозаического произведения можно подойти с другой стороны. Попробуем рассмотреть два различных перевода на один и тот же язык какого-либо поэтического произведения. И то же самое попробуем сделать с художественным прозаическим произведением и с математическим текстом.

Для начала посмотрим, насколько различаются между собой два перевода поэтического произведения. Ну и, конечно, будем предполагать, что за переводы взялись маститые художники слова. Различия будут довольно сильными. (Об этом мы уже говорили, когда рассматривали переводы Маршака и Пастернака сонетов Шекспира.) И если кому-то покажется, что он может найти два очень похожих перевода, то это могут быть либо переводы текстов типа «Прасковьи дорогой», либо переводы с заимствованиями, которые могут быть даже не вполне осознанны самими переводчиками, но, скорее всего, неизбежны.

А как будут отличаться между собой переводы прозаического текста? И тоже будем предполагать, что за дело тут взялись квалифицированные индивидуумы. Отличия эти не будут такими уж значительными. Но они все-таки будут.

А в математическом тексте? Возможно, в предисловии и заключении и будут какие-то незначительные отличия. Но в основном тексте их практически не будет. А в формулах совпадение будет уже стопроцентным.

Хочу привести один пример. Как перевести с русского на английский вот такой текст: «Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся».

Вот как этот фрагмент переведен в книге издательства *Bantam Books* (в серии *Bantam Classics*):

"Shukhov went to sleep, and he was very happy. He'd had a lot of luck today. They hadn't put him in the cooler. The gang hadn't been chased out to work in the Socialist Community Development. He'd finagled an extra bowl of mush at noon. The boss had gotten them good rates for their work. He'd felt good making that wall. They hadn't found that piece of steel in the frisk. Caesar had paid him off in the evening. He'd bought some tobacco. And he'd gotten over that sickness."

Я это воспринимаю как насмешку над оригинальным текстом. А ведь подобные переводы как раз и являются составной частью мировой переводной литературы.

Однако же многие тысячи переводов прозаических произведений находят своих читателей. Значит, в них есть свой смысл. И все-таки забывать о том, что они далеко не адекватно представляют оригинал, не стоит.

Что говорят теоретики перевода

Существует большое число течений и школ по проблемам перевода. Образуются различного рода сообщества. Проводятся всевозможные семинары и конференции. Представители разных школ спорят друг с другом, ругаются потихоньку. Одни ругают буквальный перевод, другие – отклонения от него. А третьи претендуют на нахождение оптимального компромисса и, таким образом, на победу над теми и другими одновременно.

Написано невообразимое число работ, претендующих на то, чтобы называться теорией перевода. Дороги этих работ идут в основном в двух направлениях. Во-первых, их авторы приводят примеры плохих и, в

противовес им, хороших (то бишь художественных) переводов. А во-вторых, они выдвигают требования к переводам. Как эти требования могут быть реализованы, они не говорят. И, может быть, догадываются, что реализация этих требований, вообще говоря, невозможна. Их требования порой напоминают мне те, которые сходили со страниц советской газеты «Правда»: увеличить зарплату трудящимся, повысить производительность труда, удовлетворить растущие общественные и личные потребности и т.п. Возможно, для кого-то они выглядят привлекательно. Но я не вижу в них никакого смысла.

Корней Чуковский, рассуждая о переводах поэтических произведений и говоря о том, что в них должно быть поменьше автора перевода и возможно больше автора оригинала без потери поэтического очарования подлинника, добавил:

«Именно таких переводов требует наша эпоха, ставящая выше всего документальность, точность, достоверность, реальность».

И в другом месте:

«...от художественного перевода мы требуем, чтобы он воспроизвел перед нами не только образы и мысли переводимого автора, не только его сюжетные схемы, но и его литературную манеру, его творческую личность, его стиль».

При всем моем уважении к Корнею Ивановичу я не вижу, каким образом эти требования могут помочь переводчикам и, в конечном счете, читателю. Предположим, мы все решили, что да, конечно, надо сохранять в переводе литературную манеру, творческую личность и все такое прочее. Ну и, конечно, душевную тональность оригинала. И что с этими чувствами мы должны делать дальше? Что с этим должен делать переводчик?

Советские и постсоветские теоретики перевода отличаются особым упорством и непреклонностью в деле формализации процесса перевода. Они требуют установления единых принципов перевода, без всяких исключений. Шаг вправо и шаг влево считают недопустимыми. Так что любой перевод, не удовлетворяющий единым принципам, по их мнению, не может считаться полноценным. Я слышал от них, что перевод не может быть не только хуже оригинала, но даже не может быть лучше оригинала. Это, мол, будет противоречить принципам перевода. Если он лучше, то, якобы, он не годится – надо переводить снова.

Почему-то, несмотря на огромное число течений и школ в переводе, вроде бы нет самой естественной теории: переводчик может переводить так, как ему хочется. Во всяком случае, такой подход серьезно не рассматривается никаким сообществом переводчиков. А ведь главное –

чтобы перевод был эмоционально и художественно насыщенным. И еще читателю, может быть, интересно будет знать, старался ли автор перевода следовать оригиналу, или же его целью было создать переложение оригинального текста и он взял за основу только самую общую его канву. И здесь уже можно идти по накатанной дорожке. В первом случае этот автор обозначает свой текст как перевод и себя считает переводчиком. А во втором случае, как я уже говорил, может обозначить его как перевод по мотивам оригинала. А может сделать это и с помощью каких-то других слов. Например: «Распе Э.Р. Приключения барона Мюнхгаузена (пересказ Корнея Чуковского)».

Тем не менее, все те, кто занимаются теоретическими проблемами перевода, продолжают спорить о том, какими дорогами надо идти, чтобы достигнуть желаемой близости перевода к оригиналу. Обладают ли они определенными знаниями о том, чем можно измерить эту близость? Они думают, что обладают. Я, правда, в этом сильно сомневаюсь. Однако они готовы это обсуждать и спорить до бесконечности, плохо понимая, о чем они сами говорят.

Означает ли все сказанное мною в этом разделе, что я являюсь противником всякого рода теорий перевода, различных сообществ, а также симпозиумов и конференций по переводам? Конечно, нет. Мне только не нравилось бы, если бы эта деятельность оплачивалась в моей стране из тех денег, которые взимают с населения в виде налогов. А во всех остальных случаях – я за то, чтобы каждый занимался тем, чем он хочет. В добрый путь!

Корней Иванович Чуковский имел когда-то на перевод более свободный взгляд. Но потом почему-то от этого своего взгляда отошел. А мне как раз нравится эта его первоначальная позиция. Она была отражена в его дневниковой записи 1918 года:

«...была у меня жаркая схватка с Гумилевым. Этот даровитый ремесленник вздумал составлять Правила для переводчиков. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила – один переводчик сочиняет, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все, – а нет, не шевелит. Какие же правила?»

О присуждении премий по литературе

Как можно относиться к тому, что различные премии и почетные звания раздаются часто на основании переводов? Мне это представляется нелепым. Ведь если бы Флобер присуждал премии по литературе на основании переводов, то Пушкина он бы «прокатил».

Тем не менее, этот момент (присуждение премий по переводам) обычно не вызывает ни у кого никаких осуждений.

Когда речь заходит о присуждении международных премий по литературе, то неминуемо все всегда приводят примеры присуждений таких премий Нобелевским комитетом. Ведь Нобелевские премии по литературе, как считают многие, – самые престижные. Никто никогда не говорит, что эти премии самые денежные. Все говорят, что они самые престижные.

Мы, выходцы из советской России, жили все в нищете. Ну и советской пропаганде не оставалось ничего иного, как выдвинуть лозунг «не в деньгах счастье!» И весь советский народ поголовно этот тезис впитал. Сначала – с молоком матери. А потом и с другими напитками.

И вот эти бывшие советские, где бы они ни находились, все-таки говорят о Нобелевской премии как о самой престижной. Хотя пока никто еще из живущих на этой земле не сказал нам, в чем престижность Нобелевской премии, кроме ее большого денежного вознаграждения. (Большого, по сравнению, конечно, только с другими премиями по литературе.)

Так вот, почти все, с кем мне приходилось общаться по этому поводу, считали, что несмотря на то, что Нобелевский комитет с произведениями литературных кандидатов знакомится, чаще всего, в переводах, его решения по присуждению премий вполне правомочны. Почему? Потому что нобелевские лауреаты выбираются среди кандидатов, выдвинутых представителями национальных литератур. А им-то, мол, можно доверять. В каком смысле им можно доверять и как тогда надо выбирать среди всех кандидатов – эти вопросы обычно обходятся стороной.

Я пытаюсь оспорить такую точку зрения, приводя гипотетический пример жюри музыкального конкурса исполнителей, в котором нет ни одного человека со слухом. Тем не менее это жюри оценивает исполнительское мастерство, скажем, скрипачей, и присуждает премии на основании мнений представителей национальных музыкальных организаций. Как можно относиться к решениям такого жюри? Ведь оно может доверять представителям национальных музыкальных организаций в той же степени, в какой Нобелевский комитет доверяет представителям национальных литературных объединений.

Этот мой пример вроде бы не вызывает всеобщего одобрения. В том смысле, что все считают, что это просто смешно, если жюри без слуха будет присуждать премии музыкантам-исполнителям. И несмотря на то, что музыкальное жюри без слуха – это полный аналог Нобелевского комитета с переводами, эта аналогия вроде бы моими оппонентами обычно не принимается.

Об авторском переводе

Самый первый пример авторского перевода относится к тому случаю, когда известный автор, мэтр литературы, переводит сам себя и оба языка

являются для него родными. (В этом смысле Набоков дает нам очень редкий пример.) В таком случае переводы, безусловно, осмысленны. Но только потому, что они будут представлять «читаемое» произведение на языке перевода. Однако они не могут представлять оригинал в полной мере.

Думаю, что «Лолита» на русском языке и “*Lolita*” на английском – это разные произведения. Хотя бы потому, что английский Набокова был все-таки беднее русского. Сужу я об этом по высказыванию самого Набокова:

«Мой английский, конечно, гораздо беднее русского: разница между ними примерно такая же, как между домом на две семьи и родовой усадьбой, между отчетливо осознаваемым комфортом и безотчетной роскошью».

Или – в другом месте:

«Личная моя трагедия <...> – это то, что мне пришлось отказаться от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога ради второстепенного сорта английского языка...»

Можно слышать высказывания о том, что авторские переводы Набокова опровергают его же заключения о невозможности адекватных переводов. На заседании Миллбурнского клуба этот момент обсуждался также. В частности, высказывалось мнение о том, что перевод его собственного стихотворения «К моей юности» (“*To My Youth*”) – это доказательство того, что адекватный перевод возможен.

Каковы основания для такого утверждения? Трудно даже представить, какими они могут быть. А что если бы было известно, что автор того же самого перевода “*To My Youth*” не Набоков, а кто-то другой? Что-нибудь изменилось бы в логике этого утверждения? Нет, ничего не изменилось бы. И тогда получается, что на основании перевода другим автором тоже можно было бы сказать, что адекватный перевод возможен? И опять же, почему вдруг такое утверждение могло бы быть сделано? Короче – логика всего этого мне представляется несостоятельной.

Какой текст может получить лучшую оценку читающей публики при авторском переводе? Ответ на этот вопрос более-менее очевиден. Если один из этих текстов принадлежит к шедеврам литературы, то почти наверняка это будет текст на наиболее богатом для автора языке. Если же ни один из этих текстов не будет близок к шедевр, то в таком случае возможны оба варианта.

Если оригинальный вариант не просто хорош, а супер-хорош, то вероятность того, что у самого автора получится супер-хороший перевод, значительно уменьшается.

Вот пример почти такой же оценки самоперевода, сделанной Ириной

Машинской (из уже цитированной книги Якова Клоца):

«В моей жизни был забавный эпизод, когда с 2006 по 2008 год я училась в New England College по программе Master of Fine Arts по поэтике. <...> Тогда я много писала по-английски. Но, будучи катастрофическим procrastinator, а по-русски говоря – волынщиком, когда подпирал срок и надо было что-то сдавать, я быстренько переводила на английский какое-нибудь свое старое русское стихотворение, которого было не жалко. То есть я его переписывала. Довольно грустное это было занятие, но в каком-то смысле увлекательное. Оно и убедило меня в том, что самоперевод возможен лишь как пересочинение. Потому что если стихотворение приличное, то его невозможно перевести. А если стихотворение перевести можно, то оно, как правило, не очень хорошее. Я брала свои самые нелюбимые стихи и переводила.»

И еще одна цитата из той же книги Якова Клоца. Полина Барскова на вопрос «Что ты чувствуешь, когда читаешь или слушаешь переводы своих стихов на английский?» ответила, в частности:

«Конечно, это не я, но какие-то аналоги меня. Вообще сам процесс работы с переводчиком гораздо полезнее, чем ознакомление с результатом.»

Мой личный опыт перевода моего текста с русского на английский говорит о следующем. Конечно же, мой русский язык намного богаче моего английского. Поэтому перевод будет, безусловно, хуже оригинала. В том смысле, что, по всей видимости, его воздействие на англоязычного читателя будет слабым. Это если даже не учитывать различие в эстетическом мировоззрении русскоязычного и англоязычного читателей.

Однако же этот перевод делается мной. И это означает, что он вполне может оказаться лучше, чем перевод ординарного (пусть даже профессионального) переводчика.

А что окажется в том случае, если я буду работать с таким переводчиком? Это, наверное, будет наилучшим вариантом авторского перевода. Но когда я читаю такой перевод, то могу сказать примерно то же самое, что и процитированная мной Полина Барскова: это не я, но что-то очень похожее на меня.

О таланте переводчика

Должен ли переводчик иметь талант единой природы с талантом выбранного им автора? Набоков считает, что должен. И такое мнение кажется естественным. Так думают практически все. Во всяком случае, многие. И я с этим, конечно, согласен. В том смысле, что я согласен, что все (или многие) так думают.

Но я все-таки думаю иначе. Но сначала хочу процитировать Набокова. Вот что он пишет:

«Теперь уже можно судить, какими качествами должен быть наделен переводчик, чтобы воссоздать идеальный текст шедевра иностранной литературы. Прежде всего он должен быть столь же талантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны быть одной природы. Во-вторых, переводчик должен прекрасно знать оба народа, оба языка, все детали авторского стиля и метода, происхождение слов и словообразование, исторические аллюзии. Здесь мы подходим к третьему важному свойству: наряду с одаренностью и образованностью он должен обладать способностью к мимикрии, действовать так, словно он и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и поведения, нравы и мышление с максимальным правдоподобием».

Мне представляется, что эти положения находятся в некотором противоречии с другими высказываниями Набокова. С одной стороны, он считает, что не только поэтический, но даже и прозаический перевод не может быть сделан идеально. А с другой стороны, дает рекомендации по идеальному переводу.

Остается только понимать Набокова таким образом: идеальный перевод великих произведений литературы невозможен; но если переводчик взялся за перевод, то тогда его подход должен соответствовать набоковским идеям.

И тогда, конечно, хочется уже с Набоковым согласиться во всем остальном. Во всем, кроме, быть может, таланта переводчика.

Пусть, скажем, речь идет о переводе поэтического произведения. Почему переводчик должен иметь талант единой природы с талантом выбранного автора? А талантливее он может быть? Может, конечно. И ничего плохого в этом нет.

А может он быть менее талантливым? Может, например, лучший поэт какой-то, скажем, европейской страны, оказаться менее талантливым, чем Пушкин? Наверное, может. Может он взяться за перевод Пушкина? Почему нет? Он создаст нечто в силу своего таланта по мотивам произведения Пушкина. И если его творения нравились многим в его стране, то, наверное, будет нравиться и его последний опус по мотивам произведения Пушкина.

Пусть теперь речь идет о переводах прозаических произведений. Такой простой пример. Мы, русские читатели, знаем целую плеяду замечательных переводчиков Хемингуэя. Кто-нибудь из них обладал талантом самого Хемингуэя? Думаю, вряд ли о ком-то из них такое можно было бы сказать. Хотя талантами они, безусловно обладали. Каждый – своим. Но все-таки их таланты и талант Хемингуэя были совсем разными.

Так что таланты автора и переводчика, конечно, не обязательно должны быть одной природы.

Ну, а в остальном можно теперь согласиться с Владимиром Владимировичем?

Конечно, можно.

Но это было бы не совсем правильно. Потому что как-то не очень хочется соглашаться с ним по поводу «способности к мимикрии». Хочется немного возразить. Особенно применительно к переводам поэтических произведений.

Если уж мы пришли к выводу, что идеальный стихотворный перевод невозможен, то зачем же надо настаивать на мимикрии? Почему бы не развязать «переводчику» руки? Пусть уж он тогда идет своей дорогой. И если «вместо того чтобы облечься в одежды автора, он наряжает его в собственные одежды» (это то, против чего предостерегал Набоков), то не надо ему пенять на это. Тем более если он объявил свое творение как произведение по мотивам оригинала.

Заключение

Теперь я хочу коротко суммировать сказанное и представить свои заключительные положения. Они будут следовать примерно в том же порядке, в каком обсуждались в моей статье. Итак, основные выводы.

Адекватный перевод поэтических произведений принципиально невозможен.

Так называемые «удачные переводы» стихотворных произведений представляют собой по существу творения неординарных авторов, выполненные по мотивам (на основе) оригинала. Так что два перевода одного и того же поэтического произведения, выполненные независимо друг от друга, будут сильно различаться.

Перевод всегда делается в силу таланта переводчика. Все переводы шедевров национальной поэзии (включая онтологию поэзии), выполненные не первоклассными литераторами, в большой степени бессмысленны.

Шедевры мировой литературы состоят только из шедевров национальных образцов – сюда включаются, в частности, шедевры переводной литературы.

Авторский перевод в такой же мере, как и любой другой, не может дать адекватного представления об оригинале.

Перевод прозаического произведения имеет, вообще говоря, больший смысл, чем перевод поэтического произведения. Однако прозаический шедевр литературы, будучи переведен на другой язык, не может составить адекватного представления об оригинале.

Тот, кто «выучил язык» для того, чтобы читать оригинал вместо перевода, как правило, не достигнет своей цели и не воспримет в полной мере текст оригинала.

Международные премии по литературе не могут присуждаться иначе как на основании переводов, зависят от настойчивости и энергии национальных представителей и потому бессмысленны.

И, наконец, последнее положение моего труда, которое для многих будет иметь позитивную окраску и тем самым как-то сгладит возможное неприятное ощущение от остального моего текста.

Формулы в математическом (или математизированном) тексте переводятся на другой язык, как правило, адекватно.



Борис Гулько - по профессии психолог, шахматный гроссмейстер. Чемпион СССР 1977 года, чемпион США 1994 и 1999 годов. В 1979-м вместе с женой Анной (тоже чемпионкой СССР и США по шахматам) решил покинуть Советский Союз. После этого семь лет числился в «отказниках». Возможность эмигрировать из СССР завоевал после трех голодовок и месяца ежедневных демонстраций с ежедневными арестами. Его рассказ об этих событиях входит в сборник «КГБ играет в шахматы», опубликованный в России, а также (в переводах) в Германии, США, Эстонии. Гулько - автор многочисленных эссе на темы современной

политики, культуры, религии, истории, еврейской философии.

Друзей моих таинственный уход...

В 1966 году, после первого курса мехмата МГУ, в ту пору факультета гениев, на который меня приняли по ошибке - как шахматного мастера (таких из закончивших в 1965 году советскую школу больше не было), я убежал на факультет психологии в том же МГУ. Психология была для меня большим облегчением - предмет ее соотносился с реальным миром.

На этом факультете тоже были свои гении, и не обязательно в науке. Таким был мой сокурсник Женя Арье. Ко времени, когда я присмотрелся к своим соученикам, он уже руководил студенческим театром.

Мы были литературным поколением. Это значит, что книги большей частью заменяли нам жизнь. Можно прочесть у Хемингуэя: «Париж - это праздник, который всегда с тобой», а можно вместо этого поехать в Париж, погулять по Большим бульварам, постоять на мосту над Сеной, посидеть на стуле в Люксембургском саду. Мы выбирали почитать. То есть, не выбирали.

Женя делал литературу, которую мы читали, немного жизнью, разыгрывал ее. Это и есть место театра - между литературой и жизнью.

В МГУ в те времена раз в год проводился конкурс факультетских театров, и подготовка представления психологов, которой руководил Женя, определяла жизнь факультета. Для репетиций выделялась самая большая аудитория, а всех участников представления освобождали от занятий.

Когда подошло время генеральной репетиции в помещении Дома Культуры МГУ (сейчас, как и до 1918 года, это обиталище церкви Мученицы Татьяны), вспомнили, что труппе нужен осветитель. В осветители взяли меня - как-никак я был электромонтером первого разряда. Последние три года в школе - спасибо реформе Хрущева, добавившей год моей школьной жизни, - один день в неделю я торчал в электроцехе местного завода. Это называлось производственным обучением. Звание «электромонтер первого разряда» не должно обманывать. Это совсем не то же, что «перворазрядный монтер». Совсем наоборот, - это самая низкая квалификация. Впрочем, для работы осветителем ее хватало.

На представлениях Жениного театра первый ряд традиционно занимали наши профессора во главе с деканом – остатки славного века российской культуры, как-то уцелевшие после закрытия психологии в СССР решением ЦК ВКП(б) от 1936 года. Многие были учениками крупнейшей личности в советской психологии – Льва Выготского, начинавшего свой яркий путь оригинальным и глубоким литературным и театральным критиком. Да и психоанализ Фрейда находится где-то между медициной и театром. Масштаб таланта Арье был очевиден. После четвертого курса, за год до окончания учебы, ему проставили отметки по оставшимся дисциплинам, вручили диплом, и Женя отправился в Ленинград учиться режиссуре у Товстоногова.

Новичком Женя, впрочем, уже не был. Он поучаствовал – в той самой бывшей и будущей церкви, в которой протекла моя короткая деятельность осветителя, – в работе Студенческого театра МГУ под руководством двух замечательных Марков – Розовского и Захарова. Помню, как он в роли адвоката обличал нацизм в пьесе Брехта «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть», поставленной этими мэтрами.

В какой-то момент Женя, кажется, был близок с Эфросом. Во всяком случае, он ставил спектакли вместе с сыном Эфроса Димой Крымовым, тогда театральным художником. Понимание, интуиция и фантазия Арье-режиссера были основаны на богатой российской театральной традиции, которой он вполне проникся.

Женя обычно утверждал, что он атеист. Но судьбой его определенно руководил какой-то заботливый ангел. В 1980 году Женя со своей женой Мариной, тоже нашей соученицей, подали заявление на выезд в Израиль. К счастью, им отказали. Это был уникальный случай, когда отказ оказался благом.

Женю не лишили возможности продолжать делать спектакли, и уже в перестройку он поставил в Театре имени Маяковского пьесу Тома Стоппарда в переводе Иосифа Бродского «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», ставшую значительным событием в московской театральной жизни. А потом, в 1990 году, вместе с этой постановкой и с актерами, занятыми в ней, то есть с готовым театром, Арье репатрировался в Израиль. Вскоре театр Арье, названный «Гешер» (Мост) – сначала русскоязычный, потом постепенно двуязычный и далее в основном ивритоязычный (эдакий мост между культурами), – стал лучшим драматическим театром Израиля.

Удалось бы Жене создать театр в Израиле, если бы его отпустили в 1980 году? Я в этом сомневаюсь. Так, выдающийся кинорежиссер Моисей Калик, снявший немногие, но значительные фильмы в СССР, после репатриации в Израиль в 1971 году особо там не проявился. Что поделать – другие традиции, другая культура, другой язык.

Вскоре после перемещения в Израиль Женя привез тогда еще

единственный спектакль своего театра в Нью-Йорк. Представления проходили в Бруклинской Академии Музыки (БАМ).

Пьеса Стоппарда предлагает свой взгляд на события, изображенные Шекспиром в «Гамлете». Наше внимание смещается от полуненормального принца, его сумасшедшей девушки, шпиона Полония, неверной королевы Гертруды, братоубийцы Клавдия на посторонних парней, случайно попавших в королевские разборки. Все, чего хотят эти парни, – выбраться из этих разборок живыми. Но шансов на это у них нет.

Женя сместил акцент Стоппарда далее. Парни, невольно приблизившиеся к власти, у него еще и евреи. Как приблизившиеся к власти многочисленные еврейские жертвы 1937 года...

Арье любил приезжать в Америку. Через несколько лет он привез в Вашингтон спектакль «Пять рассказов Бабеля». Выход сборника рассказов великого писателя через четверть века после его убийства был большим литературным потрясением для моего поколения. Еще в ДК МГУ я освещал (из каморки осветителя) поставленную Женей инсценировку сентиментального рассказа Бабеля «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» с нашими сокурсниками в ролях одесского еврея и орловской проститутки. На этот раз подбор рассказов был удачнее, а работа осветителя куда профессиональней.

На спектакле в Вашингтоне присутствовала прозрачная от возраста старушка – вдова Бабеля Антонина Пирожкова, в 30-е годы – главный конструктор станций Московского метрополитена. Она оставила интересные воспоминания о Бабеле и умерла в Америке в возрасте 102 лет.

После спектакля я усомнился в трактовке одной сцены. «Ты думаешь, это не должно быть смешным?» – перебил мои рассуждения Женя. «Да», – подтвердил я. «Понятно», – задумался Женя. Я понял, что он воспринимает действие по-своему. Он действием владеет – может смешное превращать в трагичное, а может и наоборот. Этим руководит его специальное, шестое чувство...

Женино режиссерское чувство, в обратной перспективе, я наблюдал в Нью-Йорке в 2009 году на представлении пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Несколько зим, в районе Нового года, Женя ставил спектакли в знаменитой Нью-Йоркской *Juilliard School*.

Пьесу для этой его постановки наверняка выбрала школа. Спектакль был красив и выразителен, но непонятен. Старые персонажи почему-то были изображены молодыми, а молодые – старыми. Как-то все в действии было перевернуто.

Вернувшись домой, я прочел пьесу. Она была ужасна. Примитивный, тупой феминизм был разбавлен столь же примитивным, наглым антиклерикализмом. В конце XIX века такое, наверное, могло писаться, а в начале XXI века, в пору бурного наступления феминизма, в Нью-Йорке

ставиться.

Женя нашел, как сделать из дурацкой пьесы более чем вековой давности яркое абсурдистское шоу.

В 1993 году я наблюдал в Иерусалиме (я приехал в Израиль на шахматный турнир), на генеральной репетиции Жениного спектакля «Адам – сын собаки», как происходило постепенное перерождение театра «Гешер» из русскоязычного в ивритоязычный. Игрался этот знаменитый спектакль в шатре цирка шапито. Это был один из первых Жениных спектаклей, поставленных на иврите. Может быть, первый.

Женя часто поправлял актеров, их произношение. И каждый раз справлялся у сидящего рядом с ним переводчика: «Верно?» Не было случая, чтобы переводчик не согласился с Женей.

«Ты уже понимаешь иврит?» – спросил я Женю после репетиции. «Нет, но я чувствую, как правильно», – удовлетворенно ответил Женя.

В театре «Гешер» Арье работал много. Это специфика маленькой страны. В Нью-Йорке репертуарный театр может годами показывать один спектакль – «Кошки» или «Призрак оперы», – и население огромной Америки будет годами заполнять зал. Публика в Израиле невелика, даже на лучших спектаклях быстро иссякает.

Работал Арье и за границей; охотнее всего, понятно, в Москве. В Большом театре он поставил две оперы, а в «Современнике» повторил инсценировку по роману Башевиса-Зингера, поставленную им в «Гешере», – «Враги. История любви». О замечательном спектакле «Гешера», который Женя привозил в Нью-Йорк, я написал тогда рецензию: «История любви. Катарсис».

Летом 2019 года мы с женой Аней посетили Женю и Марину в Жениной последней израильской квартире, на границе Тель-Авива и Яффо. Женя взял годичный отпуск, и они собирались лететь в Америку. Женя грустил: надолго расставался с театром. Подступили болезни.

Я задал Жене вопросы, естественные для его стареющего сверстника: увяла ли творческая энергия? стало ли меньше идей? стало ли труднее работать? «Скорее наоборот, – оживился Женя, – с опытом пришло мастерство, а с ним – навывк».

Перед самым Новым 2022 годом мне приснились Женя и его театр. Это почему-то был Студенческий театр МГУ. Здание его было монументально, похоже на новый МХАТ на Тверском бульваре. Эта махина как-то уместилась внутри высотки МГУ на Воробьевых горах. Репертуар театра был вырублен в камне.

Меня это встревожило – репертуар ведь должен обновляться. Почему он окаменел? Женя объяснял что-то непонятное.

Наутро я послал Жене и Марине поздравление с Новым годом, чего никогда ранее не делал, так как поздравлять «с утеканием жизни» нелепо. Марина ответила, что Женя в больнице, в тяжелом состоянии. Она решила, что поэтому он мне и приснился.

А 19 января, во время операции, Женя покинул наш мир.

Поколения приходят и поколения уходят. С уходом Жени Арье мое поколение бэби-бумеров лишилось одного из своих самых талантливых...

24 января 2022 г.



Наталья Зарембская – родилась в Ленинграде. Работала в Искусствоведческой секции Государственного экскурсионного бюро. Интерес к искусству и литературе определил ее жизнь в Новом Свете – сначала в Бостоне, где она работала в Музее Изабеллы Гарднер, затем – в Нью-Йорке, где ее деятельность связана с MoMA. В сборниках Миллбурнского клуба был опубликован ряд ее литературоведческих статей.

Этот текст основан на выступлении, посвященном 100-летию создания литературной группы «Серapiоновы братья», на заседании Миллбурнского клуба в сентябре 2021 года. Первый сбор «братства» состоялся 1 февраля 1921 года. Текст не претендует на титул литературоведческой статьи. Это размышление о судьбах группы литераторов, творческая жизнь которых пришлось на очень непростые годы. Факты подобраны из хорошо известных источников, особо я хотела бы отметить статью «Судьбы Серapiонов» Бориса Яковлевича Фрезинского.

Серapiоновы братья. Люди, годы и жизни

В названии этого текста я использовала – с некоторым изменением – титул известных мемуаров Ильи Эренбурга. Кстати, сам Эренбург не принадлежал к «Серapiонам». Правда, в 1909 году в Париже у него был быстротечный роман с единственной «Серapiоновой сестрой» – Елизаветой Полонской. Вспоминая другие заметные фигуры той эпохи, отметим, что «Серapiонами» не были ни Тынянов, ни Шкловский, ни Катаев, ни Шварц, хотя они много писали о «Серapiонах»; не был «Серapiоном» и Пильняк, хотя и «втирался» к ним весьма активно.

Кто же были и откуда появились «Серapiоны»? Начнем с полного списка:

Лев Натанович Лунц
Владимир Соломонович Познер
Николай Николаевич Никитин
Михаил Леонидович Слонимский
Илья Александрович Груздев
Всеволод Вячеславович Иванов
Вениамин Александрович Зильбер-Каверин
Михаил Михайлович Зоценко
Елизавета Григорьевна Мовшенсон-Полонская
Николай Семенович Тихонов
Константин Александрович Федин
Николай Чуковский (Радищев)

Расскажу об истории этого сообщества в целом, а затем подробнее остановлюсь на тех из «Серационов», чьи имена менее известны.

Общими для «братьев» были любовь к литературе и ужасный опыт первых послереволюционных лет. Общим был и довольно высокий уровень литературной одаренности, который притягивал их друг к другу. Общим был и покровитель, ментор и раздатчик пайков – Максим Горький.

В остальном они очень различались.

По социальному происхождению – из крестьян, мещан, купечества, мелкой буржуазии, из дворян, из рядовой интеллигенции и из сливок гуманитарной интеллигенции. Не было, правда, среди них откровенных пролетариев и потомственных военных, хотя в армии служили почти все. В царской – кто из патриотизма, кто – по повинности. В красной – большей частью за пайки. В белой – похоже, никто. Может, только Всеволод Иванов, но он был большой выдумщик.

По уровню образования – от самоучек с четырьмя классами церковно-приходской школы (Всеволод Иванов) до дипломированных филологов (Лев Лунц, Михаил Слонимский, Вениамин Каверин).

По возрасту – от 15 лет до 31 года. 15 лет – огромный разрыв в молодом возрасте. Пока старшие воевали на фронтах Первой мировой войны, младшие ходили в школу.

По этносу – половина были евреи разной степени ассимиляции, а половина – русские, смешанные с казахами, латышами, поляками, украинцами.

Наконец, по литературным вкусам – от ярого западника Лунца, умеренного западника Федина до поклонников Ремизова, почвенников – Вс. Иванова и Никитина.

Общими, конечно, были место и время описываемых событий – Петроград 20-х годов. Половина «Серационов» родилась в нем, остальные – в местах, менее знатных. Заметим, что никто не родился в Москве, но те, кто был поудачливее, там умерли; остальные (кроме двух эмигрантов) умерли в Ленинграде.

Вот как описывал Петроград тех лет Владислав Ходасевич:

«В смысле административном Петербург стал провинцией. <...> Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен, и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд <...> стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме».

К этой почти идиллической картине можно добавить, что в ноябре 19-го Троцкий чудом спас Петроград от Юденича, в марте 21-го был подавлен

Кронштадтский мятеж, а в августе того же года умер Блок и был расстрелян Гумилев.

Вся история «Серapiонов» выглядит как некий эксперимент, где взята представительная выборка литературной молодежи, чтобы увидеть, какими путями они пойдут и к чему придут в определенных социальных условиях.

Многие из них печатались еще до войны, но никто не имел литературного имени. Под эгидой «Серapiонов» они стартовали все вместе в 1921 году. Кто выработался в прозаика, кто в поэта, кто в критика, кто в историографа, кто в большого начальника.

В остальном эксперимент протекал, как и следовало ожидать. Их жизнь была жизнью советских писателей. Она прошла по ним тяжелым катком. Придушила тех, кто был талантливее. Убила задатки своеобразия у менее способных. Тех, чей статус был повыше, заставила поносить товарищей и призывать к расправам.

В годы хрущевской «оттепели» они подвели итоги и благополучно завершили свой жизненный путь. Все умерли в своей постели. Была ли принадлежность к «Серapiонам» охранный грамотой? Вроде бы нет. Много раз им припоминали этот юношеский грех. Однако как-то обошлось без арестов, ссылок и смертей. А вот Сергей Колбасев, моряк, писатель и апологет джаза, единственный, кого они не приняли в свой клуб в 1921-м, сгинул в 1937 году. Даже место гибели неизвестно.

Однако все по порядку.

История Петроградских «Серapiонов» началась всерьез с их занятий в Литературной студии Дома Искусств. Дом этот находился по адресу Мойка, 59; это угловой дом – там, где Мойка пересекалась с Проспектом 25-го Октября (Невским проспектом). В этом доме до революции жил Григорий Григорьевич Елисеев, владелец Елисеевского магазина, получивший в 1910 году титул потомственного дворянина за свои коммерческие успехи. Однако в 19-м, когда Горький подыскивал место для своего Дома Искусств, Елисеев уже отбыл через Крым в Париж. Вся домовая прислуга Елисеева осталась на своих местах и держала дом в порядке, надеясь на возвращение хозяина. Это напомнило мне рассказ Булгакова 22-го года «№13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна», где описан известный дом Ильи Пигита, табачного фабриканта. У Булгакова, впрочем, дом, заселенный пролетариями, сгорает дотла. Дому Искусств повезло больше. Хотя Ольга Форш и назвала свой роман об обитателях этого дома «Сумасшедший корабль».

Все-таки он был заселен, так сказать, литературным пролетариатом. Таким был и Михаил Слонимский. Единственное окно его комнаты, где часто собирались будущие «Серapiоны», выходило на Невский. Так что первоначально они хотели назвать свое объединение «Невский проспект». Может, и лучше было бы. Их покровителем стал бы наш, отечественный,

Гоголь.

Большинство группировок 20-х годов своими названиями выражало определенную идейную или формальную платформу – как, например, «скифы», или «имажинисты», или русские дадаисты – «ничевоки», или, наконец, РАПП. Название «Серapiоновы братья» не столь говорящее и требует некоторых объяснений.

Удивительно – а может, и не удивительно, – но никто из «братьев» не торопился присвоить себе авторство названия группы. Какое-то время автором считали Лунца – якобы он увидел на столике в комнате Слонимского книгу Гофмана «Серapiоновы братья» и воскликнул: «Эврика!» Чья это была книга – неизвестно. Может, Каверина-Зильбера? Он был большой любитель и знаток Гофмана. Слонимский какое-то время утверждал, что идея принадлежит ему, но когда «Серapiоновы братья» стали ругательным словом – а это случилось почти сразу, – перестал на этом настаивать.

Стоит сказать, что большинство из них, не считая упомянутой троицы, никогда не читало Гофмановских «Серapiоновых братьев». Зато идея братства была понятна и понравилась всем и сразу. Они пронесли ее через всю свою жизнь. Кроме того, на первом же сборе все согласилось, что «каждый может бить в свой барабан» – слова Николая Никитина. Что же касается общей идеи, то, как сформулировал ее Лев Лунц, «мы – братство, требуем одного: чтобы голос не был фальшив».

Так или иначе, источник названия «Серapiоновы братья» безусловен. И не случаен. В 1921 году оживился интерес к Гофману в связи с приближением столетия его смерти (Гофман умер в 1822). В ноябре 1920 года, за несколько месяцев до первого собрания группы, в Москве в театре Таирова состоялась премьера пьесы «Принцесса Брамбилла» по одноименной книге Э.Т.А.Гофмана – философская сказка об отношении искусства к действительности и наоборот. Капрично в духе Калло, как написал сам Гофман. Представление произвело сильное впечатление на публику и бурно обсуждалось.

Стоит сказать, что во времена Гофмана все началось с литературного клуба и что около двух лет этот клуб назывался «Серафиновы братья». Этот клуб распался, когда один из его основных участников, Шамиссо, отправился в путешествие вокруг света на русском корабле «Рюрик». Наконец Шамиссо вернулся, и друзья собрались вновь 14 ноября 1818 года. Святой на этот день пришелся другой – Серапион. Так что клуб был переименован в «Серapiоновых братьев».

Устав Гофмановских «братьев» гласил: «Свобода вдохновения и фантазии и право каждого быть самим собой», что удивительно точно отражало настроения русских «Серapiонов» в тот год.

Повлияло на петроградских «Серapiонов» и то, что клуб Гофмана был строг в отборе членов. Всего «Серapiоновых братьев», помимо Гофмана,

было восемь.

Производной реального клуба была и его литературная версия – сборник рассказов Гофмана «Серapiионовы братья». Самый первый рассказ первого тома, «Отшельник Серapiион», достаточно ясно представил творческое кредо клуба. Историю рассказывает один из братьев, Киприан, – он же Адельберт фон Шамиссо, писатель-путешественник. Это история о его встрече с сумасшедшим графом П***, который вообразил себя скитальцем Серapiионом, бежавшим в пустыню от гонений римского императора Деция. Граф отказывался верить в окружающую действительность, считая, что реальный мир является лишь иллюзией, плодом человеческого воображения, творимым по воле творческого индивида. Короче, граф П*** – классический берклианец, субъективный идеалист.

Петроградские «Серapiионы» были скорее объективными идеалистами, по крайней мере в тот ранний, короткий, период. Они не подвергали сомнению реальность происходящего в России. Но слова отшельника Серapiиона о равноценности реальности и мира, созданного воображением, они приняли близко к сердцу.

Динамика создания общества, согласно некоему, усредненному по многим воспоминаниям, канону, такова:

- Инициаторы: Михаил Слонимский, Лев Лунц, Николай Николаевич Никитин (Ник-Ник-Ник) и Владимир Познер.

- Ко времени первого собрания (не позже 1 февраля 1921 года) добавились Илья Груздев, Елизавета Полонская, Николай Чуковский – Радищев.

- Затем появился Михаил Зощенко. Может быть, его пригласила Полонская (она занималась с ним вместе в Студии у Чуковского).

- Следом появился Константин Федин (его привел либо Евгений Замятин, либо Михаил Слонимский).

Потом Виктор Шкловский привел Вениамина Зильбера. Только в следующем году Зильбер взял себе псевдоним Каверин.

Федин и Каверин не имели отношения к Литературной студии Дома Искусств. Зато вместе с членами студии они участвовали в конкурсе на лучший рассказ, объявленном конкурирующей и в общем-то враждебной организацией Дом Литераторов при Наркомпросе. Он размещался на Бассейной улице, д. 11 (ныне улица Некрасова), напротив Кукольного театра. Это одна из улиц, перпендикулярных Литейному.

Конкурс объявили осенью 1920 года. Итоги подвели в июле 21-го. В жюри были Евгений Замятин и критики Борис Эйхенбаум и Александр Редько. Премии получили шесть рассказов. Пять премий достались «Серapiионам»: первую получил «Сад» Федина, вторую – «Подвал» Никитина, третью – «Врата райские» Лунца, четвертую – «Одиннадцатая

аксиома» Зильбера, шестая была вручена за рассказ «Сила» будущему «Серапиону» Николаю Тихонову.

Федин и Зильбер были приняты в группу без обсуждения. Затем по рекомендации Горького был принят Вс. Иванов. Он был уникален, его орнаментальная проза приводила «Серапионов» в восторг. Сохранилась пародия Зощенко на Иванова: «Савоська вскинул берданку на плечо и выстрелил. – Это я в Бога, – сказал он и матерно улыбнулся».

Это «матерно улыбнулся» вошло у «Серапионов» в поговорку, как и выражение «В Сибири пальмы не растут» из рассказа, прочитанного Ивановым на первой встрече с «Серапионами». Так они все запомнили эту фразу. И так Шкловский и Слонимский поместили ее в своих воспоминаниях. На самом же деле с этой фразы начинается рассказ Иванова «Глиняная шуба», но звучит она иначе: «Пальма в Сибири не водится» (пример искажения факта в воспоминаниях свидетелей).

Наконец было решено принимать в группу только путем голосования при закрытых дверях. Так принимали Николая Тихонова и его приятеля Колбасьева. Оба были членами группы «Островитяне», потому что жили на Васильевском острове. Тихонова приняли, а Колбасьева, как сказано выше, отвергли. После этого список был закрыт.

В 1922 году, к первой годовщине создания «Серапионов», Полонская написала Оду. В ней еще отсутствует Николай Тихонов. По поводу всех остальных даны краткие характеристики:

Серапионовская ода

Угасни солнце, а луна
Затмись и перестань являться.
Воспой, о муза, имена
Серапионовского братства!

Пусть землю осветят лучи
Светила восходящей славы,
А ты, злословие, – молчи
И вырви свой язык лукавый.

Пусть слава десяти имен
Пройдет от Мойки до Бассейной,
И каждый имя Серапион
Произнесет благоговейно.

Душевной робости полна,
Смирненно начинаю: «Ода...»
Скажи, о муза, имена
И назови начало рода.

Была ли женщиной их мать?
Вопрос и темен, и невнятен.
Но можно двух отцов назвать:
То Виктор Шкловский и Замятин.

И как известных близнецов
 Волчица выкормила где-то,
 Так на утеху двух отцов
 Их выкормил формальный метод.

Они выросли и, в Дом Искусств
 Явившись, основали братство,
 И вот уж целый год живут
 Одной славой без богатства.

И первый – Лунц, брат-скоморох,
 От популярности страдает,
 Лишился головы и ног,
 Но в стиле вовсе не хромает.

Второй – Никитин, полный чувств,
 Красноречивый, светский, модный.
 Танцует он как златоуст
 И пишет прозою народной.

И третий – Зоценко младой,
 Скромнее лилий, мягче пуха,
 Но предназначено судьбой,
 Чтоб в нем таился Синебрюхов.

Вот Груздев – книжник и Зоил –
 Одной литературой дышит.
 Он тайну мудрости открыл
 Печатной, хотя и не пишет.

Да, настоящий Серапъон
 И в камне мудрецов уверен.
 Металлы превращает он, –
 Кто Зильбер был, тот стал Каверин.

Слонимский, – кто еще так мил
 И добродушнее кто боле?
 Своих героев всех сгубил
 И гибнет сам от алкоголя!

Иванов Всеволод ходил
 Тайгой на белого медведя.
 От Пролеткульских темных сил
 У Серапъонов спасся Федин.

А кто презрел РСФСР,
 В Европу наостряет лыжи?
 Володя Познер, например,
 Живет посланником в Париже.

И средь прозаиков одна
 Отстаиваю честь поэта.
 И вот, – опаздывать должна. –
 Полонская Елизавета.

1 февраля 1922

Что же касается Тихонова, то на него была написана несколько корявая (и не вполне справедливая) эпиграмма. Ее приписывают Василию Князеву:

Гвозди бы делать из этих строк:
Был бы из строк хоть какой-нибудь прок.

Кроме упомянутых в оде, среди учителей были и Гумилев, и Лозинский, и Корней Чуковский. А Виктору Шкловскому было в 21-м 28 лет. Он был моложе некоторых «братьев». Он был весьма вовлечен в дела «Серapiонов», но официально «братом» так и не стал – предпочел сохранить свой статус ментора молодых дарований.

Согласно Николаю Радищеву-Чуковскому, была еще одна категория: «Серapiоновы дамы». Сами они стихов не писали, но присутствовали на каждом собрании. Вот их имена: Дуся Каплан (Ида Исааковна Каплан, будущая Слонимская), Муся Алонкина (всеми любимая и рано умершая), Зоя Гацкевич (будущая Никитина), Людмила Сазонова, Лида Харитон (сестра физика-ядерщика академика Юлия Борисовича Харитона).

Полонская упоминает в Оде прозвище Лунца – брат-скоморох. Большинство «братьев» имели прозвища: Познер был младший брат; Никитин – брат-канонарх или брат-ритор; Слонимский – брат-виночерпий; Груздев – брат-настоятель; Иванов – брат-алеут, или наш сибирский мамонт, как называл его Зоценко; Зильбер-Каверин – брат-алхимик.

Алексей Михайлович Ремизов интересовался «Серapiонами». Для него этот клуб был чем-то вроде масонской ложи, вариант его собственного Обезвела-вол-пала (Обезьянней Великой и Вольной Палаты). В своих заметках о «Серapiонах» он снабдил прозвищами тех «братьев», кто остался без прозвища. По Ремизову, Зоценко был брат-мечник, Федин – брат-ключарь или брат-привратник, Шкловский – брат-броневик (или брат-скандалист, по Познеру); Тихонов был брат-последний. У Полонской братского прозвища не было. Правда, Зоценко называл ее «Елисавет Воробей».

Кстати, почти все «Серapiоны» были кавалерами Ордена Обезьянней Палаты. Особенно был увлечен этим Федин, который более трех лет после отъезда Ремизова собирал в России тайные сходки кавалеров Ордена (ментор «Серapiонов» Замятин занимал очень высокую позицию в иерархии Обезвела-вол-пала).

Первый год «Серapiоновых братьев» был звездным. Они виделись почти каждую субботу, яростно спорили, безжалостно критиковали друг друга, но центробежные силы начали действовать почти сразу. Их неорганизованность, возведенная в принцип, способствовала свободе дискуссии. Но практически не позволила им, например, основать свой журнал. Они сумели напечатать всего один альманах «Серapiоновы братья» в издательстве «Алконост» в Петербурге в 1922 году. В том же году в Берлине, в издательстве «Русское творчество», был напечатан еще один, так называемый «Заграничный альманах», с использованием старой орфографии, как часто тогда бывало. В 2009 году в Хельсинки был найден

еще один вариант первого Альманаха. Он был собран в 1921 году и предполагался быть напечатанным в издательстве «Библион», но этого так и не случилось. Сборник, так называемый финский, был наконец напечатан в 2013 году издательством «Лимбус Пресс» в Петербурге.

Это очень интересная книга. Классическая подборка ранней послереволюционной прозы. Показывает патологическое озверение, возведенное в статус новой нормы.

Предисловие к сборнику написано Горьким. Он приводит популярный афоризм: «Чем ночь темней – тем звезды ярче» и далее пишет: «Это <...> особенно неоспоримо для России: наши русские, наиболее яркие звезды разгорались в темные ночи, все наши лучшие люди воспитывались в эпохи тягчайшего мракобесия». К причинам, уродливо осложняющим ход революции, по мнению Горького, «необходимо добавить русские национально-психологические особенности – глупость и жестокость русского народа, а также его отвращение к труду и склонность к зоологическому анархизму». Неудивительно, что Владимир Ильич посоветовал Горькому поехать подлечиться за границу. Что Горький и сделал, выехав в Германию осенью 1921 года.

Второй сборник «Серрапионов» так и не состоялся. Помимо внутренних причин и отъезда Горького были и другие. Уже в 1922 году в Доме Искусств было запрещено проводить собрания. В следующем году он был закрыт по указанию товарища Зиновьева. Многих манила Москва. Манило материальное благополучие и за него надо было поступаться все большим и большим. Жизнь заставляла пересмотреть «поспешные обеты» молодых лет.

В январе 1924 года «Петроградская правда» напечатала статью «Пролетарские писатели памяти тов. Ленина». В конце списка писателей стояла подпись Груздева, который вдруг стал пролетарским (а был он из купечества), затем было добавлено, что присоединяются также непролетарские писатели, и среди них Вс. Иванов и группа «Серрапионовых братьев»: Н. Никитин, К. Федин, М. Зошенко, Н. Тихонов, Е. Полонская, М. Слонимский и В. Каверин. То есть все, кроме Лунца. Когда Лунц узнал об этом, он писал Федину: «Дело не в воззвании и не в отдельных подписях – каждый имеет право подписывать что ему угодно, – а в том, что там стоит наша марка, Серрапионовых братьев, а этого мы всегда избегали. Выходит, что всякий брат должен принять это воззвание. Это насилие и неправда. Поэтому я искренно обрадовался, получив от Лидочки (Лидии Борисовны Харитон) известие, что это дело Никитина». Никитина Лунц откровенно недолголюбил. В свете этих его слов как объяснить, что Груздев с Вс. Ивановым поставили свои подписи отдельно? Не хотели подписывать под эгидой «Серрапионов» по тем же благородным соображениям, что и Лунц? Или просто быстрее других сориентировались в обстановке и постарались сделать свои имена заметнее? Можно только гадать.

Смерть Лунца в мае 1924 года как бы окончательно отпускала всех на волю.

Восьмая годовщина «Серапионов» в 1929 году, накануне «большого перелома», сделала очевидным для всех участников, что «Серапионы» – это уже история, что место братства теперь в разряде дорогих воспоминаний юности.

История Дома Искусств шире и глубже истории «Серапионовых братьев». В Доме Искусств жил, например, Александр Грин. Там же собиралась и Гумилевская поэтическая группа «Звучащая Раковина». Там жил Мандельштам. Там он покупал пирожные в обмен на все содержимое своего пайка, кроме сахара. Тем не менее многие, казалось бы независимые, судьбы оказались связанными с «Серапионами». Вот один пример. Я не случайно привела описание Петрограда, данное Ходасевичем. Владислав Ходасевич с 1920 года жил в Доме Искусств (который он, кстати, называл Диск), в двух комнатах с женой Анной. На одном из заседаний «Серапионов» он познакомился с двадцатилетней поэтессой Ниной Берберовой, которая незадолго до этого поместила свое первое стихотворение в сборнике «Серапионов». С ней он, оставив жену, уехал в Берлин в 1922 году.

* * *

Расскажу подробнее о семи братьях. Начну с тех, кому так и не пришлось стать советскими писателями, – это Лунц и Познер.

Лев Натанович Лунц

Льву Натановичу Лунцу в 1921 году было 20 лет, и жить ему оставалось всего три года. Лунцы были из Шауляя, из Литвы. Отец Лунца окончил университет в Тарту и приехал в Петроград. Держал аптеку около Пяти Углов.

Лунц окончил гимназию в 1918-м с правом на золотую медаль, хотя медалей тогда уже не давали. Поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. В первый же год сдал экзамены за три курса. По окончании университета был оставлен для научной работы на кафедре романо-германской филологии. Дополнительно учился в Педагогическом институте при университете. Занимался в студии «Всемирной литературы» в семинарах Замятина и Чуковского, позже – Шкловского.

Вот запись о Лунце в дневнике Корнея Чуковского: «Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Он уже доктор филологии, читает по-испански, по-французски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего дома, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в “Студии”, отличался тем, что всегда говорил о своей маме или папе». В студии часто Лунца за это дразнили. Владимир Познер написал:

А у Лунца мама есть,
Как ей в студию пролезть?

Лунц писал и даже печатался с 1919 года. В 20-м написал очень зрелую пьесу «Вне закона», которую потом многократно ставили за рубежом. Пьеса эта о революции, о механизме ее перерождения, о том, как справедливое негодование народа, задавленного властью, превращается в зверство толпы, ощутившей неограниченную свободу. О том, как настает момент, когда любимый народом вождь отбрасывает прочь благородные лозунги и горячие свои обещания и накидывает на разбушевавшуюся стихию удавку, куда более жесткую, чем та, с которой призывал покончить. Действие пьесы происходит в старой Испании, вождь революции – разбойник Алонзо. Но, конечно, содержание ее было очевидно всякой уважающей себя цензуре, и напечатать ее в России Лунцу не удалось.

Пьесу готовили к постановке в Александринском театре, но она была запрещена, а вскоре пьесу, как контрреволюционную, запретили уже на всей территории Советской России. В питерском альманахе «Город» напечатали следующую пьесу Лунца – трагедию «Бертран де Борн». Это был отчасти коллективный труд. Елизавета Полонская перевела песни Бертрана и альбы (жанр средневековой лирики) Гиро де Борнеля – трубадура XII века. Песни для первого и пятого действий написаны Николаем Тихоновым. В пьесе Бертран призывает интеллигентного и слабого короля Генриха противостоять супермену – Ричарду Львиное Сердце. Пьеса тоже была принята Александринским театром и тоже была запрещена.

Была напечатана и фантазмагория «Обезьяны идут», но о ее постановке и речи не заходило.

Евгений Шварц был нелицеприятным и злым мемуаристом. В «Телефонной книжке» он оценивал Лунца так: «Рассказы его были суховаты, программно-сюжетны. Но в пьесах был настоящий жар, и сделаны они были из драгоценного материала. Это был прирожденный драматург милостью божьей».

Все же пьеса «Вне закона» была напечатана в Берлине, в альманахе Горького «Беседа». Горький очень тепло относился к Лунцу. Именно Горькому Лунц пишет в 1922 году по поводу мучившего его вопроса. На самом деле – нескольких вопросов сразу:

«Мне нужно посоветоваться с твердым человеком, которому я верю и которого уважаю. Таких людей в Петербурге сейчас нет. Простите еще раз, что я решаюсь обратиться к Вам. Первое сомнение (и самое жестокое): правильно ли поступил я, ударившись в литературу? Не то, чтобы я не верил в свои силы: верю я в себя, может быть, слишком смело. Но я – еврей. Убежденный, верный и радуюсь этому. И я – русский писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия – моя родина, и Россию я люблю больше всех стран. Как примирить это? Я для себя примирил все, для меня это ясно и чисто, но

другие говорят: “Не может еврей быть русским писателем”. Говорят – вот по какому поводу. Я не хочу писать так, как пишут 9/10 русских беллетристов и как пишут, в конце концов, и Пильняк и большинство Серапионов. Я не хочу густого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, увлекательный сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, к роману, непременно сюжетному. А Ремизова и Белого не терплю. Западную литературу люблю больше русской... Я могу молчать и хочу молчать (если б только не деньги!) еще 10 лет, потому что верю в себя. Но кругом говорят, что я не русский. Что я люблю сюжет, потому что я не русский. И что ничего у меня не выйдет...»

Свое пристрастие к фабуле и занимательности Лунц изложил в яростной речи на собрании «Серапионовых братьев» в декабре 1922 года. Озаглавил он ее «На Запад!» – с восклицательным знаком:

«Поэтому я кричу – на Запад!

На Западе могучая фабульная традиция, и там мы будем вне паразитической близости Ремизова и Белого.

И вот я зову вас, Серапионовы Братья, народники: пока не поздно – в фабулу, в интригу, в настоящую народную литературу.

Тяжелый путь ждет нас; впереди – почетная гибель или настоящая победа!

На Запад! На Запад!»

Лунц написал всего с десяток рассказов. Почти все сейчас можно найти на интернете. Кто не читал, советую прочитать, – например, «Исходящая № 37».

В мае 1921 года родители Лунца, его брат и сестра уехали из России, а он остался и поселился в комнатке в Доме Искусств. Это было не лучшее место для жизни зимой 21–22 гг. Там было холодно и сыро. У Лунца был ревматизм, сказавшийся на сердце. К тому же его уронили, поздравляя с окончанием Университета. Уронили так, что несколько дней он пролежал в постели, а когда встал, то первое время ходил с палкой.

Лунц был одним из инициаторов создания группы, ее идеологом. Вокруг «Серапионовых братьев» почти сразу возник большой шум, так что в 1922 году петроградский журнал «Литературные записки» предложил каждому из них рассказать о себе. Вот ответ Лунца:

«Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений. <...> И не лучше ли будет, если я, вместо того чтобы говорить о себе, напишу о братстве?»

Далее следовала статья «Почему мы Серапионовы братья?», которую Михаилу Зощенко припомнили в 1946 году, а самого Лунца заклеямили и заморозили аж до 1994 года. Даже «хрущевская оттепель» его не коснулась.

Ниже – фрагмент статьи:

«Мы собрались в дни революционные, в дни мощного политического напряжения – “Кто не с нами, тот против нас!” – говорят нам справа и слева: – “С кем же вы, Серрапионовы Братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?” С кем же мы, Серрапионовы Братья?

Мы с пустынным Серрапионом.

У каждого из нас есть идеология, есть политические убеждения, каждый хату свою в свой цвет красит. Так в жизни. И так в рассказах, повестях, драмах. Мы же вместе, мы – братство, требуем одного: чтобы голос не был фальшив. Чтоб мы верили в реальность произведения, какого бы цвета оно ни было <...> Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать»

Далее Лунц призывает «братьев» к верности этим идеалам со страстью, которая звучит почти как «кто не с нами, тот против нас». Федин писал, что от Лунца-полемиста исходил жар, от которого можно было задохнуться. Так что не удивительно, что кое-кто из «Серрапионов» вздохнул с облегчением, когда год спустя, весной 1923-го, Лунц уезжал на лечение в Германию, к родителям.

По воспоминаниям Шварца, это было веселое прощание. Только Лунц был не весел. Обострившийся ревматизм поразил челюсть, и он с трудом говорил. С корабля в Гамбурге его вынесли на руках.

В мае 1924 года Лунц умер в Гамбурге. Федин впоследствии вспоминал:

«Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть».

О том, насколько еще не затвердел цемент советской цензуры, говорит количество некрологов, напечатанных в российской прессе. Некрологи написали Федин в газете «Жизнь искусства», Слонимский в «Огоньке», Никитин в «Красной Газете». Тогда же «Серрапионы» приняли решение издать все, им написанное. Но времена быстро менялись, и ничего из этого не вышло.

Горький в альманахе «Беседа», который он вместе с Ходасевичем издавал в Берлине, напечатал статью «Памяти Л. Лунца». Он писал:

«В кружке “Серрапионовых братьев” Лев Лунц был общим любимцем. Остроумный, дерзкий на словах, он являлся чудесным товарищем, он умел любить <...> Лев Лунц был одним из тех, кто думает о друге больше, чем о себе».

«Беседа» печатала Лунца, но в России распространение «Беседы» было строжайше запрещено решением Главлита.

Владимир Соломонович Познер

Владимир Соломонович Познер, самый молодой из «Серапионов», родился в 1905 году в Париже и по-русски в раннем детстве не говорил. Семья вернулась в Россию в начале 1910-х годов и поселились в Петербурге. Владимир учился в Тенишевском училище на Моховой улице, его одноклассником был Николай Чуковский, а дружил Познер со старшим сыном Керенского – Олегом.

Познер писал стихи с младых ногтей. По утверждению Николая Чуковского, он был поэтическим хамелеоном. Легко писал совершенные по форме стихи под Брюсова или под Маяковского. В Доме Искусств он посещал семинар Гумилева и довольно скоро начал писать что-то свое, а именно – баллады. Еще до того, как с балладами выступил Тихонов. Одной из немногих напечатанных в Альманахе «Цеха поэтов» была баллада «Дезертир». Хоть и под Киплинга, но очень неплохо:

Бои не страшны, переходы легки и винтовка тоже легка
Рядовому тринадцатого пехотного полка.
Но вчера война, и сегодня война, и завтра будет война,
А дома дети, а дома отец, а дома мать и жена.
И завтра война, и всегда война, никогда не наступит мир,
И из тринадцатого полка бежит домой дезертир...

Тинейджер оказался инициатором и одним из отцов-основателей эксклюзивного клуба. Полноправным его членом, по кличке «младший брат».

Однако это престижное членство продолжалось для него недолго, всего три месяца. В мае того же года его родители покинули Россию – тем же поездом, что и родители Лунца. И он, будучи несовершеннолетним, вынужден был уехать с ними. Поскольку они были родом из Литвы, для них путь в эмиграцию лежал через восстановление литовского гражданства. В итоге они очутились в Париже.

«Серапионы» на удивление быстро забыли Познера. Он уехал в мае, а Ремизов – в августе того же года. Так что был период, когда Познер был уже в Париже, а Ремизов – еще в России. Именно в это время Познер пишет Ремизову:

«Где Корней Иванович и семейство? Я так давно не имел ни от кого писем!.. Я ничего, ничего, ничего не знаю».

Познер писал часто, однако его письма оставались без ответа. Причина холодности его бывших товарищей заключалась в том, что в тот год отъезд рассматривался как побег и предательство. При всех их декларациях о свободе творчества они были уже советскими, еще не зная, что это в точности значит. Например, практически к разрыву отношений привел и отъезд Ремизова, под влиянием которого многие из них находились. Зощенко в дневнике по поводу отъезда записывает: «Убежал Ремизов.

Дико». Позднее, в 30-х, те из «Серapiонов», кто оказывался на Западе, относились к Познеру более прагматично и не чурались полезного знакомства.

В одном из писем Ремизову Познер перечислил свои варианты кличек «братьев»:

«Груздев – брат-настоятель, Никитин – брат-канонарх, Луиц – брат-скоморох, Шкловский – брат-скандалист, я – молодой брат. Без прозвища – Вы (Ремизов), Ахматова, Анненков, Замятин, Зоценко, Одовецова, Коля Чуковский. Остальные – гостишки».

В Париже Познер учился в Сорбонне, оттуда ездил в Берлин. О нем хорошо отзывался Андрей Белый, который, по ядовитому замечанию Эренбурга, возвел его в Пушкины. Его печатали. В Берлине Познер увиделся с Горьким и тогда же, после этой встречи, Горький написал в статье о «Серapiоновых братьях»:

«Мне очень нравятся баллады В. Познера, юноши, живущего ныне в Париже, где он учится в Сорбонне и откуда весной, кончив курс, намерен вернуться в Россию в круг “Серapiоновых братьев”. Он пишет свободным стихом, обладает юмором, в его поэмах странно сочетаются ирония и пафос».

Познер закончил Сорбонну в 1924 году и получил диплом филолога. Он по-прежнему писал по-русски и в 1928-м издал свою единственную поэтическую книгу «Стихи на случай. 1925–28 гг.». Кроме того, начал переводить с французского на русский и с русского на французский. В Россию Познер так и не вернулся. Вместо этого в 1929 году он перешел на французский, забросил поэзию и стал прозаиком и литературоведом Владом Познером.

Первая его книга на французском языке была о русской литературе: «Панорамы современной литературы. Русская литература». Во Франции ее переиздавали не менее четырех раз. Книга охватывала период от 1885-го до 1929 года.

Из «Серapiонов» в ней говорилось о Тихонове, Луице, Вс. Иванове, Каверине, Федине, Зоценко. Из не Серapiонов странным образом не говорилось о Булгакове, Платонове и Набокове. В том же 1929 году он выпустил и «Антологию русской литературы» в собственных переводах. Книги эти он послал в Россию, в частности Пастернаку. Пастернак в ответном послании писал:

«Насколько могу судить – переводы превосходные. <...> Надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью».

Достаточно ли Пастернак владел французским, чтобы оценить переводы? Не уверена. Из всех языков, которым его учили в детстве, по-настоящему освоить он мог только немецкий – в Марбурге. Что же касается «широкой, благородной положительности», то этот сентимент для

живущего в России Пастернака в 1929 году был очень искренним.

Познер в 1932 вступил во Французскую компартию. В 1934 году поехал в Москву, на Первый съезд советских писателей, вместе с Андре Мальро, Луи Арагоном и Жаном-Ришаром Блоком. Познер всегда был лоялен к советской власти.

В 1965 году в Москве вышел его роман на русском языке «До свиданья, Париж», написанный еще в 1942 году, когда Познер спасался от оккупации в США. В 1991 году 86-летний Познер приехал в Россию последний раз. Никого из «Серапионов» уже не было в живых.

И вот вопрос: какое же отношение Влад Познер имеет к советскому Владимиру Познеру, который поражал телезрителей хорошим знанием иностранных языков еще до Горбачева?

Дело в том, что отец советского Владимира Познера, Владимир Александрович Познер (который, кстати, шпионил в США для России под кличкой «Платон»), – двоюродный брат Познера-Серапиона. Так что «советский» Познер – двоюродный Серапионов племянник.

Елизавета Григорьевна Мовшенсон

Единственной «Серапионовой сестре», Елизавете Григорьевне Мовшенсон, в феврале 1921 года было 30 лет – вдвое больше, чем Познеру. С некоторой натяжкой она могла бы быть его матерью. Она и была матерью, успела побывать замужем, что дало ей фамилию Полонская, и родить сына Михаила. Жизненный опыт у нее был немалый. Еще в 1908 году она уехала к дальним родственникам во Францию. В Париже в 1909-м она сблизилась с Ильей Эренбургом. Жили они недалеко от Ботанического сада, рядом с Сорбонной. Их роман длился недолго, но оставил в ее памяти глубокий след. Вот несколько стрóf из стихотворения 1921 года «Ботанический сад»:

Когда ты будешь умирать
Во сне, в бреду, в томленьи страшном,
Приду я, чтобы рассказать
Тебе о милом, о тогдашнем.

И кедр распустится в саду,
Мы на балкон откроем двери
И будем слушать, как в аду
Кричат прикованные звери.
...
Как лава, охладает кровь,
Душа застынет тонкой коркой,
Но вот останется любовь
Во мне миндалиною горькой.

В Ботаническом саду рядом с Сорбонной находился – и по-прежнему находится – маленький зоопарк, куда выходили окна ее комнаты, – отсюда «крики прикованных зверей».

Медицинскую школу Сорбонны она окончила в 1914 году, так что

знания пришлось применять немедленно. Она служила врачом в военном госпитале Нанси, с 1915 года – уже в России, на Юго-Западном фронте.

В апреле 1917 года Полонская приехала в Петроград. Работала врачом в фабричных амбулаториях. В 1919 году она поступила в студию «Всемирной литературы», которая тогда еще помещалась на Литейном, дом 24. Ее студенческий билет был под номером три.

Летом 1920 года в Петрограде был создан «Союз поэтов». Желающие вступить в него представили свои стихи, а приемная комиссия состояла из А.Блока, М.Лозинского, М.Кузмина и Н.Гумилева. Ниже – запись обсуждения кандидатуры Полонской.

Мнение Блока: «Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней мере современные, но, кажется, голос ее очень слаб и поэта из нее не будет».

Лозинский: «По-моему, Полонскую принять в Союз следует, хотя бы в члены-соревнователи».

Гумилев: «В члены-соревнователи, я думаю, можно».

Кузмин: «По-моему, можно».

Таким образом, Елизавета Полонская была принята в члены-соревнователи «Союза поэтов» – что-то вроде кандидата с испытательным сроком. В 1921 году она уже в Доме Искусств, и тоже одна из первых (билет номер 12). Здесь она занималась в семинарах Н.Гумилева, М.Лозинского и В.Шкловского. К этому времени Полонская уже несколько лет писала стихи, они пользовались известностью. Николай Чуковский вспоминал о ней:

«В серапионовском братстве были только братья, сестер не было. Даже Елизавета Полонская считалась братом, и приняли ее именно за мужественность ее стихов. Зоценко прозвал ее “Елисавет Воробей”».

Полонская присутствовала на самом первом заседании «Серапионов», и именно она привела на последующие собрания Зоценко, с которым занималась вместе в семинаре Чуковского.

Мужества ей было не занимать. Вот строфы из ее стихотворения 1921 года на смерть Гумилева:

Пусть целует и пьет, кто захочет,
Не хочу ни любви, ни вина.
Я бессонною светлою ночью
И певучей строкою пьяна.

И встает над страницей бумажной
Пенье лютни и яростный вой,
Низкий голос сухой и протяжный,
Анапестов магический строй.

Да, поэмы такой безрассудной
И печальней не встретилось мне.
Лебеденок уродливо чудный,
Народившийся в волчьей стране.

И мне видится берег разрытый,
Низкий берег холодной земли,
Где тебя с головой непокрытой
Торопливо на казнь повели.

Чтоб и в смерти, надменный и гордый,
Увидал, перед тем как упасть,
Злой оскал окровавленной морды
И звериную жадную пасть.

В двадцатых годах вышли все наиболее значительные книги Полонской. Первая книга называлась «Знаменья» (1921), она послала ее Троцкому. Результатом было то, что он отметил Полонскую в своей статье «Литература и Революция». Две другие книги – «Под каменным дождем» (1923) и «Упрямый календарь» (1929).

Стихи Полонской этого времени произвели очень сильное впечатление. Критики отмечали ограниченность ее диапазона, но говорили, что никому не удалось представить переживания этой поры с такой глубиной и силой.

Когда в 1922 году журнал «Литературные записки» предложил каждому из «Серационов» написать автобиографию, Полонская отвечает, что всю жизнь надеялась, что где-то есть школа взрослой жизни, которая научит поступать по-взрослому.

«Я заявляю, что пока такой школы в Европе нет, я вовсе не обязана уметь все это делать. Писание автобиографий относится к той же серии. Писать автобиографии я не умею.

*Я пишу стихи.
Ел. Полонская».*

Ее поэтический запас иссяк к концу 20-х годов. Об Октябре и революции она не писала. Писать так, как в 20-е годы, в 30-е было невозможно. Зато в 30-е годы она много переводила. Она руководила секцией переводчиков в Ленинградском отделении «Союза писателей». Именно Полонская, переводя Кишлинга, стала автором знаменитых строк:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.

Она переводила Мицкевича, Тувима, Брехта, Лорку, пьесы Шекспира, Марло, Мольера, Гюго.

Оригинальное ее творчество обмелело. Некоторые ее стихи этой поры иногда напоминают непрофессиональные стихи «на случай».

В литературных разборках и шельмованиях она не участвовала и ничем себя не запятнала. В силу незначительности своего литературного статуса она была избавлена от подобной необходимости, а собственной инициативы не проявляла. Что и отличало достойное поведение в те годы от недостойного. На Первом съезде советских писателей Полонскую в последний момент лишили даже совещательного голоса. У нее был гостевой билет. В зал ее не пустили – только на хоры. Она расплакалась. Мимо нее

проходили в зал «Серапионы». И только Вячеслав Иванов остановился, взял ее под локоть, провел в зал, а потом раздобыл ей «настоящий» билет.

После войны она каждое лето проводила в Эстонии, дружила с Ю.М.Лотманом, который напечатал в Тарту ее воспоминания о Зоценко.

Мемуары она начала писать еще в середине 1940-х гг., потом продолжила в конце 1950–1960-х. Издать полный текст ее воспоминаний удалось лишь в 2008 году, стараниями Бориса Яковлевича Фрезинского и наследников Полонской (ее сын Михаил к этому времени уже умер). Книга под названием «Города и встречи» была напечатана тиражом 1500 экземпляров.

Михаил Леонидович Слонимский

Еще одним инициатором создания «братства» был Миша (Михаил Леонидович) Слонимский. Он принадлежал к сливкам гуманитарной интеллигенции. Его дед – публицист, идеолог еврейской ассимиляции, отец – редактор «Вестника Европы», дядя – Семен Афанасьевич Венгеров, двоюродный брат, Антоний Слонимский – знаменитый польский поэт. Список можно продолжать вглубь и вширь бесконечно. Второго такого клана трех поколений в России просто не было.

Еще у него был прадед Абрам Штерн, изобретатель вычислительной машины. Его заводной компьютер извлекал квадратный корень. Он, кстати, был ректором варшавской школы раввинов.

Но к XX веку ассимиляция Слонимских была уже потомственной. Сам Слонимский лишь в двенадцать лет узнал от провинциальной родственницы, что он еврей. Для него, по его собственным словам, это был шок на всю жизнь. Слонимские были католиками, Венгерovy – православными.

Николай Чуковский приводит рассказ, как однажды мать Слонимского принялась при сыне объяснять своим гостям, что Слонимские – из польских князей, что город Слоним находился у них в феодальном владении, а вассалы часто восставали. Тогда, не выдержав, Миша заметил: «Эти восстания назывались еврейскими погромами».

В 1914 году Слонимский ушел добровольцем на фронт. Был санитаром, потом сапером. Был ранен, контужен. Получил Георгиевскую медаль (не путать с крестом). Чуть не умер в госпитале. Из палаты умирающих его выгнали дядя, Венгеров. В 1918 году комиссовался. В том же году умер его отец, а мать уехала в Германию.

Жить Слонимскому было негде, и он поселился в Доме Искусств. Его маленькая комнатка с единственным окном, выходившим на Невский проспект, стала центром притяжения для будущих «Серапионовых братьев». Именно в ней 1 февраля 1921 года состоялось первое собрание «братства».

Отучившись два года в Петербургском университете, Миша получил диплом филолога. Стал служить секретарем Дома Искусств, а затем какое-то время – секретарем Горького. Начал собирать материалы о Горьком. Однако Слонимскому это скоро наскучило, и он отдал Горького брату-серапиону Илье Груздеву. И тот посвятил Горькому всю свою последующую жизнь.

Николай Чуковский, очень ценивший Мишино дружеское отношение к себе (Николай был на семь лет моложе), записал:

«К тому времени и Миша Слонимский успел отказаться от своей веры в Учредительное собрание. Когда он жил в Доме искусств и, длинный, тощий, вялый, добрый, лежал у себя в комнате на кровати, с утра до ночи окруженный литературной молодежью, он был уже человеком советских взглядов, как – в большинстве – и та молодежь, которая окружала его. Лакей из бывших Елисеевских к нему особенно привязался за эти его барские замашки, по собственному почину охранял Слонимского, не допуская будить его на заседания, когда бы они ни начинались...»

А вот история от Шварца:

«Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Луниц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им представляется бесплатно для случки черный козел. Являться только с 7 до 8 утра – и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен объявления. Но он не обижался...»

Горький, которого привлекала роль покровителя «Серапионов», обращался к Слонимскому:

«Я знаю, что среди Серапионов вам выпал жребий старшего брата, “хранителя интересов и души” братии. Это трудная и неблагодарная роль, но ваше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, уважения. Скажу прямо: вы, Каверин, Луниц, Зоценко – это самое ценное ядро Серапионовых братьев и самое талантливое. Держитесь ближе, крепче, и вы явитесь магнитом, который привлечет к себе все наиболее значительное.»

Слонимский долго искал себя как писатель. Его ранние рассказы – «Дикий», «Варшава» – были хороши. Хорош был и первый роман, «Шестой стрелковый» (1922) – о войне, фронте и о 1917 году. Название ему дал одноименный рассказ. Об этом романе Слонимский писал Горькому:

«Я через месяц начинаю ненавидеть то, что написал. Но вот уже два месяца, как написал “Шестой стрелковый”, и все его люблю, хотя пишу новое.»

В 1923 году он послал две свои новые вещи А. К. Воронскому и написал о них:

«Рассказы, о которых я говорю, – не под Пильняка, не под Замятина, не под кого, – они мои целиком. Именно потому, что подражательность отсутствует в них начисто, – именно поэтому я и отношусь к их судьбе с волнением... Словом: я нуждаюсь в моральной поддержке, чтобы уверенно идти дальше. Без нее я свихнусь».

Но поддержки он не нашел. Воронский напечатал Вс. Иванова и Никитина, а Слонимского не напечатал.

Шварц, который его любил, оценивал его так:

«Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных... <...> И фамилии он любил странные, и форму чувствовал только тогда, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал – прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто... И чувство формы начальное потерял, а нового не приобрел».

Отзыв критика Иннокентия Басалаева еще более резок:

«Рассказы его все хорошо выдуманы. Ловко скроены. Ладно сшиты. Но не живые. Герои его марионеточные... Страсти у Слонимского нет. Как будто его герои живут сами по себе, а он встречается с ними только за письменным столом. Он не ест с ними, не пьет, не ругается и не спит с главной героиней. Но пугать он любит. Пугать судьбой, нелепостью, игрой случая».

Я думаю, что Слонимскому не хватило веры в себя, когда начали закручивать гайки. Корней Чуковский в 1922 году записал слова Слонимского:

«Мы – советские писатели – и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. – все это случайно, временно, не типично для советской власти».

А в 1928 году он сказал уже так:

«Я сейчас пишу одну вещь нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую – для печати – преплохую».

Но к такой двойственности он оказался не способен и в стол не писал до самых последних лет. Все же до 30-х еще было время, и Слонимский написал удачный автобиографический роман «Лавровы» (о своем детстве и юности), а затем роман о НЭПе «Средний проспект».

Уже второе издание «Лавровых» запретили, не вышел и «Средний проспект». Тем не менее в 1927 году его с женой, одной из бывших «Серапионовых дам», Идой Каплан, выпустили в Париж, где он повидался с матерью.

Следующий его роман, «Фома Клешнев» – о большевике – уже отвечал всем требованиям цензуры. Поиски себя для Слонимского закончились.

Помимо литературных были у него и общественные амбиции. Он стал

влиятельным редактором в ленинградских журналах «Забой», «Ленинград», «Звезда», «Прибой». Его недоброжелатель, желчный Басалаев, описывал его так:

«Высохий. Длинный. Глаза черные, круглые. Бегают. Готовая улыбка на лице. Весь как мышь. Зарылся в "Прибое", спрятался за горы рукописей, книг, шкафов в полутемной комнате издательства. Говорит осторожно, мягко, стараясь никого не обидеть. Голоса его не запомнишь. Скорее уступит, чем поспорит».

В 1930-е годы Слонимский решил попробовать что-нибудь масштабное, чтобы повысить свой писательский статус. Он решил писать роман об оппозиции, о Зиновьеве в Петрограде. Именно Зиновьев закрыл Дом Искусств после отъезда Горького за границу. Кроме того, Зиновьев уже был в опале. Все же это была крупная игра, которую Слонимский проиграл. Помимо официальной цензуры его очень резко раскритиковали писатели, мнением которых он дорожил. Всеволод Иванов назвал роман дрянью, Олеша сказал, что роман «бездарен до гроба». Роман так и не был напечатан.

Слонимский в это время уже вполне освоил писательство по заказу. Можно ли винить его, если это открывало интересные возможности? Он пишет «Повесть о Левине». В течение одной недели весной 1919 года Левинэ был председателем совнаркома Баварской Советской республики. После ее поражения расстрелян по приговору суда.

Для сбора материалов Слонимский летом 1932 года едет в Берлин и Мюнхен. Видит медовые месяцы фашизма. Штурмовикам уже разрешено ношение формы. Антиеврейские настроения разлиты в воздухе. До прихода Гитлера к власти оставалось в те дни немногим более полугода.

В поздних воспоминаниях Слонимского есть выразительная глава об этой поездке. В Баварии Слонимский повидал брата-серапиона Федина, который отдыхал на курорте около Баденского озера. Жизнь ведущих советских писателей входила в приятное русло. А Слонимский, как и Федин, уже тогда, в 1932 году, были причислены к ведущим. Оба через два года сидели в Президиуме Первого съезда Советских писателей.

Этот краткий период благополучия быстро сменился нарастающим беспокойством. Вот как вспоминал Каверин:

«Уже тогда, в конце тридцатых годов, он маниакально много говорил, говорил, не замечая, что слушатели не хотят слушать его самооправдания, хотя никто не обвинял его в преступлениях против Советской власти. Но он заранее оправдывался! Не обвиняли, но могли обвинить!.. Не арестовали, но могли арестовать!.. Надо было что-то заранее придумать, доказать, объяснить. Сама возможность ареста заставляла его трепетать».

Эта чаша его миновала. Во время войны он был в эвакуации в Перми и проходил по списку «ведущих писателей». Потом он вышел из фавора. В

декабре 1943 года в секретном постановлении Президиума ССП о журнале «Октябрь» Слонимского упомянули среди авторов «надуманных, нежизненных произведений».

В 1946 году готовили текст постановления ЦК ВКП(б) о Зощенко и Ахматовой. В список «ошибочных произведений» включили и рассказ Слонимского «На заставе», напечатанный в «Звезде». Припомнили, что в «Серапионовых братьях» Зощенко был близок, в частности, со Слонимским.

Слонимский был очень напуган и подавлен, но с публичным шельмованием Зощенко не выступил, хотя по положению ему это полагалось.

Именно к Слонимскому домой пришел Зощенко в 1946 году. На заседание Зощенко не пригласили, так что у него были вопросы к Слонимскому: «К чему меня приговорили? Какое самое худое слово из всех худых слов было обо мне сказано?»

Слонимский ответил:

– Тебе бы, по-моему, следовало прежде всего заявить, что ты советский человек и советский писатель.

– А кто же я такой? – искренне удивился Зощенко. – Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другим я и не был за все годы!

Слонимский вспоминал:

«Как-то в те дни я шел с Зощенкой по набережной канала Грибоедова, и он сказал мне:

– А ведь со мной опасно показываться на людях.

– Да ну тебя! Не до шуток.

– Вот именно, что тут не до юмора. Появились какие-то критики, которые соединяют имена. Ты заметил? Я уже сложил чемоданчик».

По совету друзей Слонимский перебрался в Москву и прожил там до лета 1953 года. Его сын, композитор Сергей Михайлович Слонимский, вспоминал:

«Отец долго не печатался, дома не было денег, и выручали моя рабочая карточка и стипендия специальной музыкальной школы при Московской консерватории».

В этот финальный период Слонимский, следуя совету Федина, работал над трилогией о технической интеллигенции и ее пути в советскую жизнь: «Инженеры. Друзья. Ровесники века». Она вышла в 1961 году.

В 1966 году вышла книга литературных воспоминаний Слонимского. И в ней он очень тепло вспоминает о «братьях», о Лунце, о своем друге и тезке Зощенко, о Никитине и Всеволоде Иванове.

А в 1970 году он умер.

Всеволод Вячеславович Иванов

Всеволод Иванов был фигурой одиозной. Большой выдумщик и оригинал. Одних псевдонимов у него насчитывается более дюжины: Всеволод Пролетарий, Тараканов, Одри Анриус и тому подобное. Он был родом из деревни в Семипалатинской губернии на западе Казахстана, сын сельского учителя и польской политкаторжанки. Этнически, со стороны отца, был частью казах, что сказалось на его внешности. Образование имел всего-то – начальная школа да недолгая учеба в сельскохозяйственном училище. Типичный самородок. С четырнадцати лет – на разного рода работах, потом вообще пустился во все тяжкие. Бродяжничал, работал в цирке – глотал шпаги. Мечтал стать факиром, для этого отправился в Индию.

В 1916 году Иванов послал Горькому свои первые рассказы. Горький ответил ему, поругал и велел учиться. Иванов писал в автобиографии:

«Учиться я не умел, но начал и не писал два года. В эти два года я прочел столь много книг, сколь я не прочту, наверное, во всю дальнейшую жизнь... Когда началась революция 1917 года, я не понимал разницы между эсерами и социал-демократами. Я сразу записался в обе партии».

По его словам, он сражался с белочехами, дважды его водили на расстрел. В Омске Иванов впервые соприкоснулся с культурной средой: в городе жил поэт Антон Сорокин, получивший от Давида Бурлюка «Удостоверение в гениальности». Он был центральной фигурой в омском Доме Писателя, где у него начинали Леонид Мартынов, Лидия Сейфуллина и Всеволод Иванов.

Первым псевдонимом Иванова был Всеволод Тараканов. Под этим именем он набрал и отпечатал тиражом 30 экземпляров свой первый сборник рассказов «Рогульки».

В 1920 году Иванов отправился в Петербург с книжками «Рогулек» и письмами Горького четырехлетней давности. Пригрели его в Петербурге вначале приятели из Пролеткульта. Шкловский так описал свою первую встречу с ним:

«Ходил отдельно в вытертом полушубке, с подошвами, подвязанными веревочками. <...> Сам Всеволод человек росту небольшого, с бородой за скулами и за подбородком, косоглазый, как киргиз, но в пенсне».

Старая нянька Елисеевых, увидев Вс. Иванова, кричала в ухо полуглухой Мариэтте Шагинян:

«Этот новый у вас чисто разбойник! Чисто сибирский уголовник, упаси Господи! Ефим-швейцар говорит, что узнает их сразу, этих каинов!»

К «Серрапионам» Иванова направил Горький. Обратился к Слонимскому:

«Здесь Всеволод Иванов, из Сибири. Вы его позовите к себе. Сильно пишет. Отлично знает деревню».

Рекомендации Горького было достаточно, чтобы Иванова приняли в «братья» сразу. Дали ему кличку «брат-алеут».

Слонимский вспоминал:

«Вечер нашего знакомства с молодым писателем Всеволодом Ивановым был вечером большой радости. Все мы были возбуждены и осыпали вопросами нового товарища, сразу, конечно, перейдя с ним на “ты”. Всеволод благостно улыбался, отвечал коротко и поглядывал на нас дружелюбно. Широкий, круглоголовый, в желтой выцветшей гимнастерке и военных штанах с заплатой на правом колене, он, отвалившись к спинке стула, жмурился в лучах похвал и похож был немножко на азиатского божка, может быть даже на самого Будду. Кто-то назвал его “брат-алеут”, но это не очень привилось. “Наш сибирский мамонт”, – обмолвился как-то о Всеволоде Иванове Михаил Зоценко, и это больше пришлось по вкусу. По силе Всеволод был, бесспорно, мамонт в только что рождавшейся тогда советской литературе».

Чувствуете лексику советской прозы? Культурнейший Слонимский вспоминает «брата Серапиона», но все это как бы завернуто в целлофан обкатанных формулировок.

Иванову было 26, когда он встретился с «Серапионами», и «университеты», используя выражение Горького, которые он к тому времени прошел, были основательные. Он прежде всего сам считал себя более бывальым и относился к «Серапионам» немного как к детям. У них же он вызывал повышенный энтузиазм и чрезмерные похвалы. В их условном разделении он был почвенником, вроде Ремизова.

В конце 1921 года Горький был уже в Германии, и Шкловский писал ему:

«Всеволод Иванов пишет все лучше и лучше. Последний его рассказ “Дите” привел бы Вас в восторг, такой “индейский” или киплингковский сюжет и такая глубокая ирония».

Годом позже Слонимский пишет Горькому:

«[Всеволод Иванов] купил сибирскую шубу и похож теперь на белого медведя в пенсне. Он медленно, но верно становится знаменитостью, а с Серапионами сросся до чрезвычайности. Нельзя себе представить Серапионов без Всеволода».

В 1921 году по мандату Ленина из Москвы в Ленинград приехал Александр Воронский. Его задачей было разобраться на месте с литературной молодежью, отобрать «своих» и напечатать в московском журнале «Красная Новь». Воронский вернулся в Москву с рукописями и сообщил Ленину:

«Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова – это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у меня...

Н. Никитин, Федин и др. Все это молодежь... Имейте в виду, что Всеволод Иванов – это первая бомба, разорвавшаяся среди Зайцевых и Замятиных».

Иванов был опубликован одним из первых.

Лев Троцкий в статье «Литература и Революция» писал об Иванове:

«Он пишет революцию, и только революцию, но исключительно мужицкую и окраинную, чалдонскую. Односторонность темы и сравнительная узость художественного охвата накладывают на свежие и яркие краски Иванова оттенки однообразия. Он очень стихийен в своих настроениях и в стихийности недостаточно разборчив и строг к себе».

Хорошо написал об Иванове Замятин:

«Чтобы Вс. Иванов много думал – пока не похоже: он больше нюхает. Никто из писателей русских до сих пор не писал столько ноздрями, как Вс. Иванов... Нюх у Вс. Иванова – великолепный, звериный. Но когда он вспоминает, что ведь не из одной же ноздри, подобно лешему, состоит человек, и пробует философствовать, то частенько получают анекдоты...»

Горький критиковал его за чрезмерную цветистость речи, идущую от неправильного увлечения Ремизовым. Это, в частности, делало Иванова непереводимым на западные языки. А Горький считал, что переводить Иванова надо. Сам Иванов, отвечая письмом на критику Горького в январе 1923 года, был предельно откровенен:

«Дело в том, Алексей Максимович, что я, при всех моих хороших изобразительных способностях, неглубок по уму».

После того как у Воронского в «Красной Нови» была опубликована повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69», он взлетел высоко. Его сын Вячеслав вспоминал:

«После чтения “Дите” Сталин подарил отцу две бутылки грузинского вина и пригласил пожить на даче у него; они ходили вместе купаться, отец говорил, что он – один из немногих видевших будущего повелителя в костюме Адама, – Сталин купался голым; Сталин просил отца рассказывать ему все новые истории об ужасах гражданской войны, и чем кошмарнее были подробности, тем больше Сталин смеялся».

Сталин даже предлагал написать предисловие к сборнику Иванова, но тот отказался, сказав, что не любит предисловий, а особенно когда их пишут политические деятели.

В 1924 году Иванов уже в Москве, первый из «Серапионов», но продолжает ездить в Ленинград на годовщины. Впрочем, западники среди «Серапионов» его недолюбливали, и больше всех Лунц. В рассказе-пародии «Хождение по мукам» Лунц описал свою воображаемую встречу с Вс. Ивановым в далеком 1932-м:

«Из подъезда вышел окруженный свитой человек в собольей шубе и направился к автомобилю. Должно быть, я уставился на него уж слишком

рьяно, так что некий черный человек из свиты зашептал что-то на ухо Всеволоду. Тот обернулся ко мне, нахмурился брови. Узнал, подлец! И, обратившись к "адъютанту", буркнул: "Тони в шею!"».

Жизнь Иванова в Москве была масштабной. Как и полагалось в писательской среде, друзьями дома были чекисты: Агранов, Погребинский.

«Бронепоезд» поставили во МХАТе в 1927 году. В нем играл Качалов. Это был триумф. Спектакль шел более 400 раз.

Осенью 1928 года Зощенко писал Слонимскому об Иванове:

«Разбогател сказочно. Квартира оклеена тисненными золотыми обоями. На столе четыре старинные лампы»

В своих воспоминаниях о Есенине Иванов описывает эту квартиру совсем по-другому:

«Пьесу "Бронепоезд" я написал в своей собственной трехкомнатной квартире в полуподвале дома на Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил ее очень дорогими моющимися обоями, потратив на это все деньги, спал на полу, а рукописи писал на фанерке, которую держал на коленях. Когда Есенин впервые пришел ко мне в эту квартиру и увидел меня на полу перед печкой, он сказал:

– Когда узнал, что ты переехал на собственную квартиру, я испугался. Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты спишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель.

Поэт должен жить необыкновенно».

Иванов писал, но издания его вещей начали буксовать. Его роман «Кремль» был о провинциальном кремле. Но напечатать его не удалось. Роман «У», чрезвычайно сложный по форме, также не был напечатан. Шкловский говорил, что «У» – это смесь «Сатирикона» Петрония и романа Честертона. После отказа Сталину он был в постоянной полуопале. К этой ситуации Иванов относился с необычайным спокойствием. Все-таки характер у него был независимый и сильный. Он писал в стол и старался не пропустить важных событий, оставаясь как бы сторонним наблюдателем, бесстрастным летописцем.

Его сын перечисляет знаменитых людей, с которыми встречался его отец.

Антон Сорокин представил Вс. Иванова Верховному Правителю России Колчаку как автора, открытого Горьким. На это Колчак ответил, что после взятия им Петрограда он повесит Горького и Блока, хотя они и талантливы.

К Троцкому Иванов был зван на пиршество по случаю удачной охоты и получил от него книгу с автографом.

Бухарин, Фрунзе... Блюхер перед арестом передал Иванову свой архив, который так и хранился у него в запортом шкафу до конца его жизни.

Радек рассказал Иванову и Пильняку об убийстве Фрунзе, и Пильняк

ухватился за тему. Чем это для него кончилось – известно. Иванов пытался отговорить его, но тщетно.

Валериан Куйбышев искал у Иванова сочувствия в своей нелюбви к евреям, управлявшим – по его мнению – страной. Во время правительственного приема Куйбышев сказал, указывая на сидевших за столом:

«Всеволод, мы же русские люди, смотри, кто нами правит».

С Жуковым Иванов встречался на фронте, а последний раз – в почетном карауле у гроба Фадеева. По поводу самоубийства Фадеева Жуков сказал: «Потери неизбежны».

В 1928 году Иванов женился на бывшей гражданской жене Бабеля, актрисе театра Мейерхольда Тамаре Кашириной, и усыновил его сына Мишу (Эммануила). Когда сын подрос, он оказался копией отца. Правда, не Бабеля, а Мейерхольда.

Годом раньше его «первооткрывателя» Александра Воронского арестовали в первый раз и сослали в Липецк. После этого Иванова ввели в редколлегию «Красной Нови», и навещать Воронского он не стал. Лидия Сейфуллина публично даже не подала ему за это руки.

Иванова в основном кормил «Бронепоезд», но в середине 30-х годов ему удалось напечатать автобиографический роман «Похождения Факира». Про роман Горький говорил:

«Конечно, это мне не нравится, но это лучше Гоголя».

Алексей Максимович раздавал такие характеристики слишком щедро. Ему самому уже было заявлено, что он сильнее Гете.

Всеволод Иванов, как и Зощенко, и Шкловский, по просьбе Горького участвовал в поездке писателей на Беломорканал. Шкловский побил все рекорды, будучи соавтором в девяти из пятнадцати главок сборника, вышедшего по результатам этой поездки, в 1934 году. Иванов был соавтором в двух главах, Зощенко – в одной, притом без соавторов («История одной перековки»).

Уже в самом конце 1930-х годов Иванов пишет вполне конъюнктурный роман о гражданской войне «Пархоменко», который понравился наверху и был опубликован.

В августе 1935 года семья Всеволода Иванова была самой первой, поселившейся в Переделкино. Кстати, это место было выбрано Горьким по инициативе Сталина. Дом не был достроен, но надо было торопиться, потому что плохо чувствовал себя сын Иванова, Вячеслав. Он страдал костным туберкулезом.

Тамара Каширина, оставив театр, стала Председателем Совета писательских жен в Переделкино. А сын самоучки Всеволода Вячеславовича Иванова, Вячеслав Всеволодович, стал академиком, филологом,

специалистом по машинному переводу и прожил долгую жизнь. Последние 28 лет он преподавал в различных университетах Америки и умер в Лос-Анджелесе в 2017 году. Похоронен, однако, на Новодевичьем.

В январе 1937 года Всеволод Иванов поставил свою подпись под Резолюцией Президиума Союза писателей СССР «Если враг не сдается – его уничтожают», которая от лица всех советских писателей требовала «поголовного расстрела» участников «параллельного центра».

Во время войны Вс. Иванов был корреспондентом «Красной Звезды», был свидетелем взятия Берлина, сидел на Нюрнбергском процессе вместе с Вс. Вишневским и Эренбургом.

Всю жизнь он много читал. Выше всех ставил Достоевского, Хлебникова, Джойса и Пруста. Пытался разобраться в теории относительности, психоанализе, психиатрии. У него был гостеприимный и вольнодумный дом. В ответ на постановление 1946 года Иванов написал новый роман «Эдесская святыня» – на вечную тему «Поэт и царь». Опубликован он был только в 1966 году.

Узнав об окончательном запрещении «Доктора Живаго», Вс. Иванов писал Пастернаку в больницу:

«Желаю тебе быстрейшего выздоровления, а также, чтобы ты, обдумавши новый роман, вернулся и с первого дня возвращения сел писать его: в конце концов, самое вернейшее и длительнейшее наслаждение, которое когда-либо имел человек, – это писать!».

Каверин написал о нем в своем «Эпilogе»:

«Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, – не легкое чтение. Не для того он отдал долгие годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву».

Всеволод Иванов умер в 1963 году. Интерес к нему в читающей России пока не возродился, и он остается «достоянием доцентов», по выражению Блока.

Илья Александрович Груздев

Илья Александрович Груздев, критик и литературовед, родился в Петербурге, умер в Ленинграде. Всю жизнь прожил в этом городе. Это еще один из инициаторов создания «братства Серапионов».

В феврале 1921 года ему было 29 лет. Писать и печататься он начал перед самой войной, в 1914 году. Это были рецензии, фельетоны. К 14-му году он уже закончил три курса в Петербургском Университете. Ушел на войну добровольцем в санитарном отряде. Участвовал в Брусиловском прорыве, был награжден двумя Георгиевскими медалями «За храбрость».

Все у него складывалось как-то ладно. В декабре 1917-го он сумел

освободиться от армии, вернулся в университет, доучился, получил диплом филолога. Поступил на службу в театральный отдел Наркомпроса. Дом Искусств имел большую притягательную силу, и дипломированный Груздев снова пошел учиться. Посещал семинары Замятина, Чуковского и Шкловского. Нашел друзей среди будущих «Серрапионов». Груздев – из первого комплекта «Серрапионов», собравшихся 1 февраля 1921 года у Михаила Слонимского в Доме Искусств, когда слово «Серрапионы» еще не было сказано. Кличка его впоследствии была Брат-Настоятель. Из «стихов по случаю» Полонской:

Вот Груздев – критик и зоил.
Одной литературой дышит.
Он тайну мудрости открыл
Печатной, хоть он и не пишет

При всем том он был интровертом. По словам Шварца, Груздев рассказывал ему о тяжелом детстве. Этим он объяснял свой замкнутый характер и гипертонию. Шварц описывал его, используя выражения типа «рыхлое существо», но это «рыхлое существо» имело две Георгиевские медали. Шварц в своих дневниках «Живу беспокойно» писал:

«Мы были некоторое время в ссоре – выяснилось, что поддразнивание мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжело, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа».

Возможно, молчаливость Груздева была связана с осознанием, что он уступает в одаренности своим друзьям. Помогало то, что ему было под тридцать и все знали, что он дипломированный филолог, но все же... Корней Чуковский так писал о нем в дневнике 1922 года:

«Вчера, в воскресенье, были у меня вполне прелестные люди: “Серрапионы”. Сначала Лунц. <...> Потом пришли два Миши: Миша Зоценко и Миша Слонимский... Потом пришел Илья Груздев – очень краснеющий, критик. ...Молодой, студентообразный, кажется, не очень талантливый. Статейки, которые он писал в студии, были посредственны. Теперь все его участие в Серрапионовом Братстве заключается в том, что он пишет о них похвальные статьи».

«Застенчивый, розовый, обидчивый Груздев» – в других записях того же дневника. А вот что пишет Лидия Чуковская:

«Самыми способными людьми в семинаре моего отца, выделившимися с первых же занятий, оказались два студента Петроградского университета: Лев Лунц и Илья Груздев».

Кому верить? Одно ясно: Груздев не представлялся феерически гениальным, как Лунц.

Шварц называет Груздева «критиком средним». Мариэтта Чудакова была одной из немногих, кто внимательно читал ранние статьи Груздева в

наши дни. Она называла его «одним из самых внимательных критиков прозы Серапионов» и приводила в качестве примера его статьи о Зощенко, поражающие тонкостью и точностью.

Осенью 1923 года Груздев со Слонимским и Шварцем поехал в Бахмут. Но там почти все статьи Груздева отвергались как слишком академические для газет типа «Всероссийская кочегарка» или для журнала «Забой». Зато когда Груздев возвращается в Петроград, для него начинается короткий звездный период. Одну за другой он печатает критические статьи, уровень которых изумляет «Серапионов»-скептиков.

Вениамин Каверин в письмах Льву Лунцу в 1923 году дважды высказывался о статьях Груздева, привлечших его своей остротой:

«Илья написал прекрасную статью, вдруг выпустил когти из толстой ж... и обругал целую кучу писателей. Называется "Утилитарность и самоцель" (статья была напечатана в альманахе "Петроград"). Очень остро и умно написано».

Еще в более позднем письме:

«Илья разошелся – пишет, и хорошо пишет. В его статьях появилось настоящее фельетонное искусство. Знаешь, такой фельетон, не слишком быстрый на ноги, но все же живой и, главное, умный».

Шварц недолюбливал Груздева, но таланта его не отрицал. Видел его талант в другом – в умении осветить и интересно подать историческую эпоху. Он поразил Шварца рассказом о самозванце, а Каверина – исторической главкой своей статьи «Утилитарность и самоцель», которая называлась «Затруднения Диогена». Однако обстановка быстро менялась, и новая власть в первую очередь прибирала к рукам критику. В 1925 году был закрыт замечательный питерский журнал «Русский современник». Груздев по этому поводу пишет Горькому:

«В возобновление "Русского современника" я всерьез не верил. Это было единственное место, где можно было сказать о литературе то, что считаешь нужным сказать. И потому бесконечно жаль, что его уже нет. Противно смотреть, как мухи-критики мешают хорошим писателям работать. Это было всегда, но никогда не было такого положения, чтобы мушиное мнение было окончательным».

В общем, у Груздева был шанс встать в один ряд с Эйхенбаумом и Тыняновым. Но Груздева привлекала современная литература. Изворотливостью Груздев не обладал и третьего пути не нашел. Спасением для него – и гибелью в нем талантливому критику – было то, что в начале 1925 года Михаил Слонимский передал ему свои материалы о Горьком. Слонимский их собирал, когда короткое время работал секретарем Горького. Себя Слонимский хотел сохранить для более славных дел.

Груздев ухватился за эту возможность, как утопающий за соломинку.

Писательского таланта он в себе не видел, а критика явно загонялась в угол, и принимать в этом участие он не хотел. Не хотел писать статьи, в которых самым важным вопросом должен был быть – «Дорог ли автору Октябрь?». Получив от Слонимского материалы о Горьком, он нашел свою нишу и посвятил этому всю жизнь.

Первую книгу Груздев выпустил в том же 1925 году. Он писал Горькому:

«Это не что иное, как работа Слонимского, переделанная мною в популярную книжку с соответственными добавлениями. Признаюсь, меня немало смущало мое на 3/4 фиктивное авторство, но жалко было не использовать материал, а на другие комбинации Слонимский не соглашался.»

Горький не был в восторге:

«...читая о себе, я уже плохо соображаю: что верно и что не верно? Не редко испытываешь такое впечатление от воспоминаний о Пешкове, как будто оный Пешков – шестипалый человек, и “вспоминают” не о нем в целом его виде, а лишь о шестом его пальце. Вас это, конечно, не касается...»

Большой удачей была книга Груздева для детей «Жизнь и приключения Максима Горького», выпущенная в 1926 году. К 1947 году она выдержала 13 изданий на русском и переводилась на множество других языков. Перед самым выпуском Груздев заробел и послал Горькому письмо:

«Весной прошлого года я по заказу детского отдела Ленгиза сделал переработку Ваших автобиографических рассказов для детей. Вы спросите, почему сам я не запросил Вашего согласия? Черт его знает, я сам теперь с трудом разбираюсь в этом. Поддался уверениям, что все будет хорошо, нужно, сам увлекся мыслью приблизить Ваши сочинения к детям, словом, совершил непростительную ошибку: заключил договор и дал рукопись. Если Вы в корне не согласны с такого рода изданием, прошу Вас известить меня, если можно, телеграфом.»

Горький разрешил и прибавил:

«Книжка эта – нечто, похожее на канонизацию героя при жизни... Во святые я не пригоден, к тому же одержим стремлением ко всяческим грехам и склонен ко многим ересям супротив главенствующей и воинствующей церкви. Но если уж сделано, так уж сделано – и печатайте на здоровье Ваше.»

Отныне Груздев регулярно встречался с Горьким. Когда возникла идея издать книгу о Горьком на немецком, Алексей Максимович рекомендовал Груздева немецкому издательству «Малик-Ферлаг».

За десять лет, с 1925-го по 1936 год, они написали друг другу более 200 писем, многие из них весьма развернутые. Груздев был педант и спрашивал Горького о мельчайших подробностях. Например, в письме 1927 года: «Сотрудничать в Самарской газете вы стали с октября 1894 года. А переехали когда?» – это о событиях тридцатилетней давности. Горький в ответ писал:

«Господи, господи, сколько в мире твоём нерешенных вопросов! Дорогой мой Груздев, я начинаю бояться вас, как уже окончательно утрачен доктором Галантом, который до того забил меня вопросами, что я больше не отвечаю на его психопатологические письма. Недавно во сне видел его дикобразом; ощетинился свирепо и прыгает на меня и визжит: "А, как вы с женщинами?" Я же голый, распростерт на горячем песке в полном изнеможении и беззащитности – ужас! <...> Вот они вопросы-то до чего доводят!»

Психиатр Иван Галант настаивал на том, что Горький в молодости пережил душевное заболевание. Готовил книгу «Патология Горького».

Работа Груздева состояла теперь из двух частей – редакционно-издательская деятельность и написание биографии Горького. Иннокентий Басалаев, внимательно наблюдавший Груздева в Ленгизе, записал в 1926 году:

«Он вежливо принимает посетителей – писателей, поэтов, критиков – и отпускает – кому обещанья, кому улыбку, а то и просто молчаливый кивок или один взгляд небеснодушных глаз. Присутствуя на издательских собраниях, он выступает редко. Частое молчание наложило особый отпечаток на его лицо и сделало его маскообразным. Никто не видел, как он сердится или смеется. Никто не знает, о чем он думает. Известно только, что между делом он собирает биографию Горького... Иногда он раскрывает толстую тетрадь, пишет заголовок критической статьи, задумывается; потом листает двадцать чистых страниц, пишет другой заголовок, опять задумывается... А писать некогда».

В 20-е годы жизнь беспартийного литератора была не сахар. Груздев рассказывал в письме Горькому:

«Не отвечал Вам очень долго потому, что занят был кучей самых невероятнейших дел, вплоть до защиты от выселения из квартиры. Присудили с меня 400 рублей за то, что я нештатный работник Ленгиза, и таким образом не был чистой воды трудящимся... Всякий немудреннейший гражданин, придя после службы домой, может пообедать и спокойно храпеть до 10 часов следующего утра. Если же научный работник или литератор, придя со службы, сядет за письменный стол и просидит за ним вечер и ночь, то это называется "совмещение службы со свободной профессией" – квартплата увеличивается в 3 раза, а по пятам следуют подходящий и прогрессивный налоги...»

Вот пример меняющегося вместе с временем настроения Груздева. В 1926-м он писал Горькому:

«За то, что серапионы так чутки ко всякой фальши, ко всякой лавренищине и лидищине, я их бесконечно люблю».

А вот письмо три года спустя, в 1929-м:

«Первого февраля Серапионы праздновали восьмую годовщину. Было очень

весело внешне и довольно невесело по существу. Есть что-то застывшие-солидное в их литературных репутациях. Ярым врагом этого был покойный Луцк. Не знаю, как Вам, а мне отменно гладкий роман Федина "Братья" кажется очень скучным. Замятин прочел на празднестве каждому Серпиону эпитафию, было в них много злого...»

Каверин в своей шутиливой речи на той же годовщине обвинял Груздева:

«Тебя, отец настоятель, обвиняю в том, что ты не устранил своевременно причин, повлекших за собой гибель Ордена, не мирил ссорившихся, не обуздывал горделивых, не наказывал преступивших устав».

Функция мирового судьи была Груздеву не по характеру. Хорошо знавший его Роман Гуль писал:

«...в нем не было никакой "литераторской" позы, никакой фальши. Он был душевно чистый человек. Искренен, прост, с некоторым юмором. И Серпионов он искренне любил».

Груздев выпустил бесконечное число вариаций книг о Горьком. С Ольгой Форш написал пьесу «Алеша Пешков». Ему все время приходится быть настороже, особенно когда Горького не стало. В канонический портрет Горького входило то, что Горький все время делал ошибки, которые партия исправляла. Об этом надо было писать с большим тактом.

Все-таки он не замыкался на Горьком целиком и полностью. Он много работал в ленинградских издательствах, делал попытки протащить через цензуру достойные книги. Еще при жизни Горького и по его инициативе Груздев создал первую редакцию «Библиотеки поэта» и вошел в нее наряду с Пастернаком, Тихоновым и Тыняновым.

Всю блокаду Груздев оставался в Ленинграде. Писал статьи. В соавторстве с Дмитрием Четвериковым сочинил пьесу «Вороний грай».

Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь» писал:

«Я вспомнил историю двух ленинградских пуделей – Урса и Куса: они принадлежали И.А. Груздеву, биографу Горького, одному из "серпионов". В начале блокады жена Груздева принесла хлеб – паек на два дня. В передней зазвонил телефон; она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну; у них оказалось больше выдержки, чем у многих людей... Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. <...> Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься».

Когда наступил 1946 год, Груздев был членом редколлегии ленинградского журнала «Звезда». Из редакции его, как бывшего «Серпиона», вывели. Несмотря на это, он стал приглашать Зошенко в гости, демонстрируя тем самым веру в его невиновность и резкое несогласие

с обвинением.

Для Груздева потерей места в редакции все и ограничилось. Более того, в 1948 году он чуть не получил Сталинскую премию второй степени за пьесу «Вороний грай». К сожалению, его соавтор Дмитрий Четвериков в 1945 году уже получил свои «червонец и пять по рогам», как говорили в Гулаге. Так что премия не материализовалась.

После войны Груздев тяжело болел. Продолжал работу над вторым томом книги «Горький и его время»; готовил к печати свою переписку с Горьким и воспоминания о нем. Архив Горького выпустил солидный том этой переписки (с купюрами, понятно) в 1966 году, когда Груздева уже не было в живых.

12 декабря 1960 года Константин Федин записал в дневнике:

«Как странно... И уже не впервые! Вчера вечером вдруг начал думать об Илье Груздеве – надо написать, узнать, что с ним, болеет ли по-прежнему или поправился, почему молчит... А сейчас сообщили из города, что в ночь на сегодня Илья умер... Это третий серапион».

Николай Николаевич Никитин

Ник-Ник-Ник – Николай Николаевич Никитин, еще один инициатор создания группы. В шутовском стихотворении Полонской он идет сразу за Лунцем:

Второй – Никитин, полный чувств,
Красноречивый, светский, модный.
Танцует он как златоуст,
И пишет прозою народной.

Этот светский жуир по происхождению был из крестьянской бедноты, поселившейся в Петрограде. О себе в 1924 году он писал так:

«Родился в 1897 г. на Севере. Детство и юность провел тоже на Севере. Олонка была мне нянькой, учила меня, малыша, своим сказкам, пела духовные стихи. Звали ее Дарьей. В детстве приятелями были Илюшка и Петя – ребята нашего дворника – архангельские ребята. <...> Бабка со стороны матери, Настасья – стариннейшая питерская старожилка, знала все питерские купеческие сплетни, учила меня рисовать волков. Другая бабка – по отцу – Ирина – любила говорить о барине и о “крепости”, сама была крепостной, выкуплена была дедом только перед замужеством.

Учился я в 3-м реальном училище. С 5-го класса стал плохо заниматься, “хулиганил”. Но ни в одном классе не оставался. Потом поступил в университет. Потом война. Потом революция. Об этом долго писать. Тут всему научился. В литературу вступил в 1922 году. “Кол” – написал и тут впервые познакомился с Горьким. Его слов никогда не забуду. Необыкновенный человек. Мастерству-ремеслу учил меня Замятин. Все начало пришло с

Серапионами».

В этом тексте две неправды. Никитин родился в Петербурге, и не в 1897 году, а в 1895-м. Зачем он скостил себе два года, неизвестно.

Таким образом, в момент исторической сходки «Серапионов» Никитину было 26 лет. Кличку ему дали «брат-ритор» – за склонность к длинным и замысловатым рассуждениям.

Как всегда недобрый Шварц писал о нем так («Живу беспокойно»):

«Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения, орудуя своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда через очки водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: “Какая там погода?” И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: “Снега в Москве великие”».

Образование у него было сомнительное. Сам учил латынь. Какое-то время учился вольнослушателем на историко-филологическом факультете Петроградского университета, посещал лекции на юридическом. Бросил университет в 1917 году. В 1918-м пристроился культпросветчиком в Политуправлении Петроградского укрепрайона. От более серьезных армейских дел, как и в 1915-м, когда его призывали, его избавила близорукость. Надо понимать, что многие шли тогда в Красную армию, чтобы не умереть с голоду. Демобилизовался в 1922 году.

О студии Дома Искусства Никитин узнал случайно из афиши. Тут же записался и стал посещать семинары еще в армейской форме.

Прозе обучался в Студии у Замятина. Учился – самостоятельно – у оказавшегося ему близким Ремизова. Замятиным его укоряли долго. Шкловский писал в «Сентиментальном путешествии»:

«Никитин – маленького роста, белокурый, мы звали его “человеком адвокатского пафоса”. Это про домашние дела. Находится под влиянием Замятина. Возлежит на его правом плече. Но пишет не под него, а сложнее».

Сам Никитин писал Воронскому:

«Мы разные люди во всем. Соседство мое с ним сейчас присваивается мне, как политическая накладка... Эта кличка “замятинца” – не только вредна..., но в корне груба. Среда мое... – с большевиками!»

Имя Никитину сделал длинный рассказ «Кол», который он прочитал на семинаре Замятина. «Кол» был напечатан всего один раз в Берлине в 1922 году. Попытки напечатать его в России оказались безуспешными. Его выкинули из первого и единственного альманаха «Серапионовы братья». Его готов был напечатать Воронский в издательстве «Круг», но опять ничего

не вышло.

В сущности, ничего особо крамольного в рассказе не было. В северной деревне группа приезжих коммунистов созывает крестьян и рыбаков на митинг, посвященный борьбе с религией. Измученные поборами собравшиеся выражают возмущение. Следует энергичный ответ – шесть расстрельных приговоров для тех, кто говорил громче других. Закапывают убитых в общей яме. Крестьяне, боясь быть обвиненными в пристрастии к религии, устанавливают на могиле кол вместо креста. Ну что здесь, в сущности, антисоветского? Обычная практика того и последующего времени. Тем не менее «Кол» так и не был опубликован.

Объясняя свой замысел, Никитин писал Воронскому:

«Моя первая вещь, написанная фольклором, “Кол” – разве это сатира или ирония, или подсиживание, смешок... Простите, это – трагедия. Россия пережила эту трагедию. А трагедия была – напрасно вы спорите, Александр Константинович, – была по нашей глупости, по нашей взаимной темноте».

Мариэтта Шагинян писала в 21-м году:

«О Н. Никитине – разговор особый. Никитин написал “Кол”. Мне думается, если б ничего не было написано за текущий ряд лет, а только один этот “Кол” одиноко стоял бы в русской литературе, – мы все же имели бы художественный образ эпохи».

Горький следил за Никитиным, благожелательно критиковал; говорил о Никитине и о Вс. Иванове:

«Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом. Мешает им и щегольство провинциализмами языка. Они слишком увлекаются местными словарями пестрой России, где почти каждая губерния говорит своими словами».

При всем одобрении и признании талантности Никитина критика его стиля была нелицеприятной. Вот отзыв Тынянова:

«Писатель Никитин – несобранный, переимчивый. Кое-что есть у него от Пильняка, кое-что от Иванова. У Никитина хорошее наполнение, некоторые вещи интересны, но его лирическая проза с мягкой путанной фразой как-то удивительно не энергична».

Никитин, похоже, первым из «Серрапионов» стал выходить в известные писатели. «Серрапионы» для него были трамплином. Он подружился с Пильняком и Воронским, начал широко печататься в Москве, собирался туда перебраться. Его ранние вещи – «Рвотный форт» (кстати, подготовленный для публикации в финском варианте первого альманаха «Серрапионовых братьев»), «Камни» и «Бунт» – вызывали большой интерес и жестокую критику (Борис Волин):

«Взяв кусок революционного быта, осколок гражданской войны, Никитин представляет события в таком рвотном виде, он их пропитывает тяжелым запахом порнографии и ничем не прикрытой контрреволюции, что нет конца возмущению теми, кто позволил себе выпустить эту злую пародию, этот пасквиль».

В этот счастливый короткий период Полонская писала:

«Слово официальной критики еще не было безапелляционным приговором и следующий за этим новый рассказ или поэму провинившегося автора все же печатали, за него шел гонорар, автор не умирал с голоду. Да и много ли нам было нужно? Хлеб, масло и сахар мы получали по карточкам, их у нас не отбирали за плохой рассказ, сапоги и платья нам присылали по ходатайству Горького, молодость у нас была собственная. Все мы были веселы и жизнерадостны, а Коля Никитин, пожалуй, больше всех отдавался радостям жизни».

Троцкий отдавал ему должное:

«Из числа Серрапионов выдвинулся за последний год Никитин. Написанное им в 22-м году знаменует большой скачок вперед по сравнению с прошлым годом. Но в этом быстром созревании есть что-то тревожащее, как в рано возмужавшем подростке. Тревогу возбуждает прежде всего явственная нота цинизма, которая свойственна в большей или меньшей степени всем молодым, но которая у Никитина принимает моментами особенно злокачественный характер... Под словесными непристойностями и натуралистическими дебошами скрывается, не у одного Никитина, безверие или потухание веры».

Насчет цинизма Троцкий попал в точку. В октябре 1923 года Корней Чуковский записал в дневнике:

«Был у меня вчера поэт Колбасьев. Он рассказывал, что Никитин в рассказе "Барка" изобразил, как красные мучили белых. Нечего было и думать, чтобы цензура пропустила. Тогда он переделал рассказ: изобразил, как белые мучили красных, – и заслужил похвалу от Воронского и прочих».

Никитин разбогател, женился на одной из «Серрапионовых дам», Зое Гацкевич, и в 23-м году поехал с Пильняком на Запад. Почему-то Никитин, Груздев, Слонимский, да и многие другие, ездили в Европу без проблем, а вот Булгакову это так и не удалось. Никитин писал Воронскому:

«Остаться бы в Англии. Здесь так тихо и хорошо жить и писать».

И это в письме коммунисту Воронскому, предполагая вернуться в Россию. Все-таки это были особые годы – 20-е.

«Серрапионы» восприняли его путевые заметки «Сейчас на Западе. Берлин-Рур-Лондон» резко отрицательно. Ругали его. Прямо-таки топтали ногами. Каверин писал Лунцу:

«О Никитине нечего писать. Он испаскудился, заложив себя, как дурак, за

пустой успех и ужины в ресторанах. А выкупа никакого пока нет – пишет все хуже. Рассказы об Англии – бездарь. Отношение к нему ребят – холодное и презрительное. Он редко бывает у нас и в последний раз на интимном серапионовом собрании о нем говорили, как о чужом и чуждом человеке».

Присоединился к этому хору и Горький:

«Никитин – в опасном положении и, боюсь, из него ничего не будет».

Так что «и было падение его великое» в глазах его «братьев». Общее мнение было, что все свои хорошие вещи он уже написал.

А впереди была еще целая жизнь. И «прожить ее надо было так, чтобы не было мучительно больно»... Это искусство Никитин вполне освоил.

В 1928 году Никитин с Фединым и Груздевым опять на Западе, в Берлине. Роман Гуль, редактировавший, после отъезда Ал. Толстого на Родину, литературное приложение к «Накануне» (или к «Сочельнику», как называл это издание Булгаков), так описывал Никитина:

«Никитин был эдакий “бонвиван”, любил модную одежду, любил весело, хорошо пожить, вообще был за философию “легкой и изящной” жизни... С Никитиным никакого серьезного разговора не помню. Все – анекдотцы, всяческое литературное остроумие, пустячки... – Колька Никитин в компании всегда был превосходен: весел, разговорчив, шутлив, находчив, остроумен».

Груздев раскрывал секреты художественного приема Никитина:

«Он сочиняет обычный рассказ, а затем берет четыре тома словаря Даля и начинает “шпиговать” текст непонятными словечками...»

Приспосабливаясь к быстро мутнеющей клоаке советской литературы, Никитин в 1930-е годы написал роман «Шпион». Но первая попытка удалась не вполне. Вот мнение критика Бориса Гроссмана:

«Свойственный Никитину гуманизм затруднил для автора возможность правильно развить тему о политическом вредительстве. Роман получился идейно и художественно бледным и спорным. Стремясь разоблачить шпиона, руководителя диверсионных актов белого полковника Маклецова, Никитин отходит от разоблачения, подчеркивая одержимость Маклецова мучительными общечеловеческими страданиями».

В общем, первый блин – комом. С гуманизмом пора было кончать. Никитин начал писать пьесы. В «Линии огня», по его словам, он стремился поднять большую тему индустриализации по великому плану партии, на материале строительства гидроэлектростанций на Днестре и Волге. Пьеса «Апшеронская ночь» описывала борьбу с интервентами за освобождение Азербайджана. Пьесы эти шли широко в театрах, но большого успеха не было. Он умудрился успокоить критику, которая отмечала у него «стремление выйти на дорогу актуального революционного творчества».

На Первом съезде Советских писателей он был делегатом и даже выступал на нем от секции драматургов. Но в Правление Союза Никитина не включили.

В конце 30-х годов у тех, кто остался на свободе, проблема была с выбором тем. Список был узок: образ великого вождя или борьба с врагами народа. О Сталине «Серапионы» в прозе не писали. В поэзии Тихонов выдал чеканные строки:

Вновь над Кремлем заря горит,
В огне просторы снеговые,
И Сталин миру говорит
О гордом жребии России.

Дополнительным занятием были подписи под расстрельными резолюциями писательских организаций в связи с Московскими процессами. Всегда заранее, до вынесения приговоров. Так, по поводу Первого Московского процесса (Каменев, Зиновьев и др.), 20 августа 1936 года, под призывом в «Правде» «Стереть с лица земли!», в длинном списке «подписантов» мы находим и нашего «брата Серапиона» Константина Федина. Впрочем, подписал его и Пастернак.

Во время Второго Московского процесса в сентябре того же года (Пятаков, Сокольников, Радек и др.) под резолюцией Союза писателей СССР «Если враг не сдается, его уничтожают», принятой опять-таки за несколько дней до приговора, подписались среди остальных уже два «брата»: Федин и Вс. Иванов. Кроме того, Федин, Тихонов и Шкловский напечатали еще и персональные статьи в Литературной газете.

Однако подписей столь раскритикованного «Серапионами» Никитина под этими документами нет. А ведь были среди «подписантов» и Олеша, и Бабель, и Пильняк, и Маршак, и Андрей Платонов, и Луговской. В общем, люди его, Никитина, уровня в писательской иерархии. Может, Маршак был повыше.

Никитину «неподписанство» сошло, и в 1939 году он выпускает еще один роман, написанный по правилам, «Это началось в Коканде» – о Талибанах того времени, о басмачах.

В войну Никитин был в Вятке, работал для Совинформбюро. В конце войны на фронте погиб его сын Владимир.

Об этом времени Вс. Иванов записал в дневнике:

«Вечером пришел Н. Никитин, – смирный, потерявший все свое нахальство былое и уверенность».

В 1944 году Никитин вернулся в Ленинград и возобновил работу в редакции журнала «Ленинград», а затем и в «Звезде». В самый срок – к 1946 году.

Он был вызван в Москву и 9 августа 1946 года присутствовал на

историческом заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) по поводу Зошенко и Ахматовой и безобразий в журналах «Звезда» и «Ленинград». Тихонову по должности пришлось выступать. Никитин не выступал. По крайней мере, в стенограмме его нет.

Через неделю Жданов приехал в Ленинград и собрал писателей в Смольном. Здесь уже Никитину некуда было деваться. Интересно, что рассказ Зошенко «Приключения обезьянки», из-за которого формально разгорелся весь сыр-бор в «Звезде», был напечатан по инициативе Виссариона Саянова, который, не спросив автора, перепечатал эту вещь из «Мурзилки», мотивируя это тем, что после войны людям нужно что-нибудь легкое, развлекательное.

О выступлении Никитина Сильва Гитович (жена поэта Александра Гитовича) вспоминала:

«Серый костюм на нем слегка тесноват и подчеркивает полноту. Сквозь стекла очков он беспомощно оглядывает зал, потом поворачивается, переводит глаза на Жданова и говорит, обращаясь уже не к сидящим в зале, а только к одному Жданову. От волнения он путает его имя и отчество и дважды называет его Александром Андреевичем. Он говорит, захлебываясь, путаясь. И вдруг, обрывая себя на полуслове, говорит, что ему трудно выступить с этой эстрады, и тяжело спускается в зал».

Никитина вывели из редколлегии «Звезды» и оставили в покое. Более того, за роман «Северная Аврора», написанный после войны, он таки получил Сталинскую премию. В эти годы он, видимо, воспринимался как рядовой и вполне безвредный советский писатель. Так что в 1951 году он получил премию второй степени, 50 тысяч рублей. В романе недавний союзник Черчилль был показан как злобный враг Советов, жрец капитализма и инициатор экспедиции английских войск в Архангельске и Мурманске. К этому времени Черчилль уже проиграл выборы, и его можно было не шадить. Подлыми врагами Советской власти показаны и все остальные англичане. Начинаясь холодная война.

По мотивам романа Никитин написал еще и пьесу «Северные зори». В 1959 году вышел полагавшийся ему по чину двухтомник. В предисловии к нему он так вспоминал об ошибках молодости:

«Наши студийные занятия были далеки от тех новых идейных позиций, которые принесла революция. Идей у нас в студии “избегали”. Шла речь лишь о литературной технике. Этим многое объясняется в наших литературных уклонах... Это была игра с огнем. Опасные годы. Тот, кто сумел выскочить из этой страшной игры, чуть не сгубившей, приобрел опыт...»

Однако до конца жизни Никитин не забывал «братьев» и был рад редким встречам. Он много болел, подолгу жил на даче в Комарово, занимался огородом. В 1961 году писал Ольге Форш:

«Все мои друзья и “современники” в Москве. А здесь я даже не знаю, с кем встречаться?.. Кстати, в прошедшем декабре я посетил Москву и рад был необычайно нескольким встречам: с Костей Фединым, с Колей Тихоновым, с Алисой Коонен...»

В Москву он хотел перебраться очень давно, еще в 1922-м. Вместо этого в 1927 году поселился на Моховой, дом 26, и прожил по этому адресу всю свою жизнь. Здесь он и умер. На доме установлена мемориальная доска, но «Серапионы» на ней не упоминаются.

Август, 2022



Рудольф Иоффе – родился в Москве. Окончил Московский институт химического машиностроения. Работал сначала на заводе, потом в науке в области гидродинамики, акустики и вибраций машин. Пережил перестройку и в 1999 году пенсионером иммигрировал в США к сыну в Нью-Йорк. Свои первые рассказы и стихи написал для внука и внучки в конце 2009 года. Один из рассказов был опубликован в первом номере сборника «Страницы Миллбурнского клуба» в 2011 году. Позднее были опубликованы книги «А напоследок я скажу» и «В столбик и в строчку». Специалист по баням и любитель бриджа – вице-чемпион СССР, “Life Time Master” по квалификации American Contract Bridge League.

Писал я всегда в основном о себе, о том, что было у меня на душе и что мне было близко и дорого. Но кому-то из моих совсем немногочисленных читателей это не нравилось. Они говорили о «старческой графомании» и упрекали меня в пессимизме, сумрачном настроении и безрадостных мыслях. Все это правда, но так получилось, и ничего с этим поделать уже нельзя.

В строчку и в столбик

Вчера

В тревожной тишине, когда еще не наступило утро, из никому не нужных и почти забытых слов, всплывающих из глубины сознания, обрывков снов, тяжелого отчаяния и странных, рвущихся на части мыслей я сам себе пишу стихи.

В моих стихах нет ничего. Нет шуток, смеха, аллегорий. Нет ничего про смысл и тайну жизни, про недостатки или совершенство бытия. Нет ничего про вечное, про то, что движет миром. Ни слова о любви, о нежности, ни слова о жене, о сыне, внуках, отце и маме. Нет ничего о дружбе, вере и безверье. Нет про цветы, про мир огромный красок, про наше прошлое и нашу будущую жизнь. Есть только собственное «Я».

В них я уже давно на разный лад переливаю из порожнего в пустое: придуманные мной самим обиды, и страхи без угроз, мои переживания и волнения, и постоянно скверное без повода и без причины настроение. Тоска, отсутствие надежд, несуществующее завтра, прошедшее вчера и мысль о скором расставании.

Все это уже было у тех, кто не нашел в любви ответа, кто написал рассказ или стихи, отвергнутые всеми. Кто сделал никому не нужную работу. Кто поражен недугом или болью. Кто сам не знает, чего он хочет. Кого тревожит ускользающее время. Кто не умеет просто жить и наслаждаться «малым»: светом солнца, мерцаньем звезд, струящейся водой, хрустящим под ногами снегом, тенью в жаркий зной и выпитую с другом рюмкой водки с соленым огурцом и бородинским свежим хлебом.

Сегодня

Я все еще пишу стихи. О чем? Обычно – ни о чем, но иногда, мне кажется, о главном. О том, что вдруг могло бы показаться интересным не только мне, но и кому-нибудь еще. И лучше наяву, а не во сне.

Я убежден: стихи – плохие. И как и прежде, в них нет ни мыслей интересных, ни необычных рифм и слов. Я даже их слегка стесняюсь. Но не очень. Потому что знаю, что их читать никто не будет, никто их не запомнит, не похвалит, не осудит.

Я долго счастлив был и часто радовался полной жизни. Сейчас – другое. Забыто многое. Все полупусто, больно, грустно. Подкралась быстро старость. Пора бы поумнеть. Пора бы вспомнить то, что еще в детстве мне сказала мама: «Язык мой – враг мой». Но нет. Я ничего не помню и продолжаю сам себе писать стихи. Выбрасываю и опять пишу. Пишу отдельные слова. Пишу без смысла предложенья. Зачем пишу, кому пишу – не знаю, но пишу, пишу, пишу. Пишу, чтоб чем-нибудь заняться, чтоб как-нибудь убить пустое время. Пишу без вдохновения, пишу без радости, но и без сожаления.

Я не Есенин и не Бродский, не Пастернак и не Высоцкий. Я знаю, кто я. И даже не мечтаю быть поэтом. Я просто так по-прежнему себе пишу слова. И почему-то называю их стихами. Пора бы перестать, но что-то манит, что-то снится и не дает остановиться.

1.

Как капли дождя на песке без следа
 В жаркий день высыхают,
 Так и забытые мной на бумаге слова
 Через день навсегда исчезают.
 Я стихов не пишу, не умею.
 Я слова рифмовать не могу.
 Но старею, болею и снова старею.
 И не в строчку, а в столбик пишу.
 Где слова нахожу?
 В голове у себя, на задворках,
 Когда ночью по дому брожу
 И как легавая в стойке,
 Вдруг замираю
 И долго стою, слова вспоминаю.
 Нахожу и легко забываю.
 Нахожу и словами играю, теряю.
 И когда, наконец, нахожу,
 Не жалея бумаги,
 Свои грустные саги
 Не в строчку, а в столбик пишу.

2.

Мы все рождаемся, живем и умираем.
 И все живем похожей жизнью.
 Но каждый день она у каждого своя.
 Своя по запаху и цвету,
 Своя по вкусу.
 Своя по радости,
 Своя по огорчению.
 Своя по времени восхода солнца,
 Своя минутой окончанья дня.
 Она меняет цвет и запах.
 Весной она в цветах,
 А поздней осенью горчит
 И пахнет тленом отсыревших листьев.
 И светло-розовый,
 Похожий на миндаль,
 Конец недели
 Обычно переходит
 В темный, пахнущий полынью
 Понедельник.

3.

Я живу в перевернутом мире,
 Под яркой погасшей звездой,
 В густом и прозрачном эфире,
 Здоровый и неживой.
 Здесь все, как летний лед.
 Как зимнее цветенье.
 Как обескрыленный полет.
 Как безнадежное везенье.
 Здесь синие листья.
 Зеленый песок.
 И прямой, как стрела,
 У спирали виток.
 Здесь не льется вода,
 Не ломаются старые ветки.
 Здесь богатство – нужда,
 А свобода – железные клетки.
 Здесь холодный огонь
 И горячая стужа.
 Здесь смеющийся стон
 И все тайны снаружи.
 Здесь забор из стекла
 И мой дом без окна.
 Здесь минуты – века.
 И все ямы без дна.
 Здесь вино без бокала.
 Здесь и мир без творца.
 Здесь и смерть без начала.
 Здесь и жизнь без конца.
 Здесь дважды два,
 Конечно, не четыре.
 И это судьба –
 И мне жить в этом мире.

И я здесь живу,
 Задыхаясь, дышу.
 Но здесь я не янь и не инь,
 И это моя зазеркальная жизнь.

4.

В углу за домом, на песке,
 Из двух коротких
 И двух длинных досок
 Собрал каркас.
 Насыпал землю, бросил семена.
 Полил водой и долго ждал
 Широких листьев с желтыми цветками,
 Пупырчатых, зеленых огурцов,
 Остроконечных стрелок чеснока и лука,
 Пучков укропа и моркови
 И выросших стеблей
 С висящими на тонких ветках
 Тяжелыми зелено-желто-
 Красными плодами.
 Ждал месяц, поливая через день,
 Ждал два. Но не дождался.
 И в августе
 Перед осенним листопадом
 Я понял: все напрасно.
 Была земля неплодородной,
 И были старыми, отжившими свое
 И не дающими потомства семена.

5.

Всегда любимым внуку и внучке

*...не нужна вам наша маета,
 И сам я вам
 Ни капельки не нужен.*

Сергей Есенин, 1924 год

Ну вот и кончается путь.
 Осталось дойти.
 Осталось чуть-чуть.
 Мне трудно идти,
 Я один не дойду,
 И мне помощь нужна.
 Я думал всегда,
 Что будешь ты рядом,
 Поможешь, поддержишь в пути.
 И скажешь в конце –
 Прощай и прости.
 Но ты вдруг собрался,
 Ушел далеко.
 Я не слышу, не вижу тебя.
 И я встал, обессилев.
 И долго стою
 Близко к краю пути.
 Я один и мне трудно идти.

Не сумею идти, упаду.
 В тощую землю вцеплюсь.
 И последние силы собрав,
 Я до края пути ползком доберусь.
 Доберусь, доползу.
 И, вспомнив тебя,
 В слезах улыбнусь.
 И, улыбнувшись, уйду.
 Уйду и умру.
 Не оставив следа,
 Я уйду в никуда.
 Стану прахом без урны,
 Стану пылью дорожной,
 Стану золой от костра.
 И ты, даже если захочешь,
 Не увидишь меня никогда.

6.

Мне трудно в памяти стереть
 Все то, что в прошлом было.
 Мне больно на тебя смотреть.
 И жизнь моя почти остыла.
 Ну отчего, ну почему
 В твоих глазах не вижу света,
 Известно Богу одному,
 А я ищу и не могу найти ответа.
 Куда-то в сторону повернуто лицо.
 Кривятся раздраженьем губы.
 И мысли бродят где-то далеко,
 И взгляд такой чужой и хмурый.
 К тебе пришла другая жизнь.
 Друзья, другие радости, заботы.
 Другие сны, виденья, миражи,
 Другие воскресенья и субботы.
 Я знаю, что ты рядом,
 Ты там, где были мы когда-то.
 Но я тебя не вижу
 И я тебя не слышу.
 Я не могу от снов очнуться
 И не могу тебя коснуться.
 Я не могу тебя обнять.
 Сейчас мне очень нелегко.
 Ты рядом, но ты очень далеко.
 Ты там, куда мне не попасть.
 Но, может быть, еще не вечер?
 И может быть, возможна встреча?
 Я подожду, я буду сколько надо ждать,
 Страдать и мучиться, надеяться, искать.
 Я твердо верю,
 Что найду свою потерю,
 Найду тебя
 И снова обрету себя.

7.

И в дождь, и в ветер,
 Зимой и летом, осенью, весной,
 Пока еще последняя звезда жива,
 В памяти,
 Уставшей от бессонницы ночной,
 Плывут давно зажженные слова:
 «Вы помните. Вы все, конечно, помните».
 Письмо любимой женщине,
 Оставившей его.
 Рассказ о конченной любви
 И искалеченной судьбе Поэта.
 И нежное прощанье – пожеланье,
 Без ожидания свиданья
 Или короткого ответа.
 «Живите так, как Вас ведет звезда.
 Под куцей обновленной сени.
 С приветствием,
 Вас помнящий всегда,
 Знакомый ваш,
 Сергей Есенин».
 Проходит ночь и, уплывая,
 Следы в моем сознание оставляет.
 В вечерней дымке гаснут дни,
 А где-то там, вдали,
 В рассветах зажигаются лучи.
 И быстро мчится время, его я не виню.
 Былое умирает.
 Исчезает, пропадает.
 И уступает место в памяти
 Сегодняшнему дню.
 А я, цепляясь за слова
 «Смешная жизнь, смешной разлад.
 Так было и так будет после.
 Как кладбище, усеян сад
 В берез изглоданные кости»
 Без горечи и злости,
 Стал старше своего отца.
 И доживаю крохами былого,
 Еще не до конца засохшего родства.
 Мой путь – унылая дорога,
 Тропинка осенью в пустом
 И умирающем лесу.
 Среди деревьев, сбросивших листву.
 А вы? Где вы? И где ваш путь?
 Я знаю, что судьбу не обмануть.
 Мне нелегко.
 Ведь вы не рядом.
 Вы где-то очень далеко.
 И жизнь у вас уже не наша, а своя.
 Совсем своя, и вовсе не моя.
 Я вижу, как в разорванном тумане
 Вы где-то ходите, вы бродите
 И с кем-то спорите
 Чужими, незнакомыми словами.
 Но ничего вчерашнего уже не помните.

Забыли всё:
 Госпиталя, больницы, огорченья,
 Обиды, радости и дни рождения,
 Качели, сказки, Новые года,
 Уроки первые, другие города,
 Озера, горы, океан,
 Дожди и солнце, и туман.
 Погасли и исчезли навсегда
 Зажженные на Песах свечи,
 И расставания, и встречи,
 И наши утра, дни и вечера.
 Забыто все.
 Но, видно, так должно и быть.
 Мы, видно, так должны и жить.
 Ведь это просто – «се ля ви».
 Родись, живи, потом умри.
 Жаль, не осталось ничего –
 Ни общей крови, ни родства.
 Все растворилось, умерло.
 Ну что ж. Пока.
 «Коль нет цветов среди зимы,
 Так и грустить о них не надо».
 Живите сами, без меня.
 А я уйду, обиды не храня.
 Я знаю, жизнь у всех одна.
 Живите так, как сложится судьба.
 И будьте счастливы под новой кровлей.
 Забытый, но вас любящий всегда,
 Рудольф Иоффе.
 И десять строчек в заключение.
 Возможно, я несправедлив,
 Болезненно честолюбив, ревнив.
 Возможно, я вам надоел,
 И это просто мой удел.
 Возможно, вы все помните, и я не прав.
 И виноват во всем мой нрав,
 И я достоин только сожаленья.
 Поэтому прошу прощенья.
 Вы на меня обиды не держите,
 А лучше улыбнитесь и простите.

8.

Пустая квартира
 И письменный стол.
 Бумага и ручка.
 Ни капли корысти.
 Ненужные мысли,
 Слова, запятые и точки.
 Бессвязные строчки:
 Мерцанье берез,
 Подрамник и холст,
 Палитра и кисти,
 Размытые линии,
 Красные, синие,
 Смутные пятна,
 Полутона
 И глухая стена.

9.

Вечером, после работы,
 Без ужина, натошак,
 Стараясь забыть заботы,
 Ты музыку пьешь,
 Как хороший коньяк.
 В каком-то крутом ресторане,
 Пристроившись в темном углу,
 В синем табачном дыму и гаме
 Ты пьянству поешь хвалу.
 До боли разбитые пальцы
 Стучат в деревяшки клавиш.
 Но скоро под плач саксофона
 Ты точку над "і" поставишь.
 Ты чертовски устал,
 Спина у тебя болит
 И насморк глаза щекочет.
 Но зал веселиться хочет.
 Ему опять подавай вокала.
 Снова к роялю певица встала,
 К тебе наклонилась,
 Что-то сказала,
 И ты заиграл начало.
 Заныл саксофон,
 Прозвучали тарелок удары,
 Задрожали струны гитары,
 Под сурдинку труба запела
 И музыка в зал полетела.
 Но вот и последний аккорд.
 Отзвучала печаль,
 Захлебнулся мотив.
 Небольшой перерыв.
 Тебе все надоело.
 Надоел твой разбитый рояль,
 Надоела певица,
 Надоели знакомые лица,
 Надоело «гостей» развлекать.
 Надоело играть.
 Ты устал и забылся.
 Ты не видишь других.
 Все стало безлико.
 Звон бокалов затих.
 Не слышны больше пьяные крики.
 На эстраду спустился туман,
 Уплыл потолок,
 Раздвинулись стены.
 И пропал ресторан,
 Стал невидимой тенью.
 И вместо синего дыма
 И танцующих пар
 Ты увидел концертный зал.
 Увидел, как медленно гаснет свет,
 Как идет органист к мануалам,
 Как приосанился хор
 И как рукою взмахнул дирижер.

Ты услышал, как после взмаха
 Встрепенулся кларнет,
 Флейты запели, смычки задрожали.
 И в тишине зазвучали
 Первые звуки
 Хоральной прелюдии Баха.

10.

Конец асфальта, крут, тупик.
 За ним крутой обрыв.
 Внизу полоска крупной гальки
 С границей грязно-серого
 Нежелтого песка,
 Залитого водой
 И черного в часы прилива.
 Сейчас здесь утро и отлив,
 И никого не видно.
 Лишь чайки плачут над водой,
 Купаясь в пятнах рваного тумана.
 И против двух камней,
 Упавших много лет назад
 В пролив с высокого обрыва,
 Похожая на призрак-тень
 Фигура женщины,
 Вдоль берега бредущей по воде.
 И где-то там, вдали за ней,
 Восходит солнце.
 И скоро снова будет пляжный день.
 И сменит его вечер.
 И в ясную погоду
 За темной гладью океанского пролива
 Засветятся огни другого штата.
 На берегу не будет зонтиков от солнца,
 Разбитых стульев, полотенец.
 Пляж опустеет
 И под вечер по деревянной
 Длинной лестнице
 Все медленно потянутся наверх.
 В домах, стоящих на краю обрыва,
 Зажгутся окна,
 И засверкают лампочек гирлянды,
 И тихо где-то музыка польется.
 Растопят на верандах барбекю
 И будут жарить шашлыки,
 Пить пиво, водку или красное вино.
 А кто-то включит телевизор
 И съест творог,
 Запив его зеленым чаем.
 Потом наступит тишина,
 Огни погаснут,
 И прошедший день уйдет.
 Взойдет луна
 И все в ночи замрет, заснет.
 И в пустоту души
 Тоскливый, рваный сон придет
 И высветит в ночи фигуру,
 Плывущую вдали от берега
 К другому штату.

11.

Пока светло, не исчезайте.
 Оставьте что-то в памяти своей,
 Живите и не забывайте
 Весенних запахов полей,
 Счастливых дней
 И грустных сумрачных ночей.
 Пока светло, не забывайте
 Уже случившихся смертей,
 Оставшихся от прошлого теней
 Ушедших в мир иной друзей.
 Пока светло, не забывайте
 Сиянья брызг разбросанных огней,
 Дрожанья гаснущих свечей,
 Своих и не своих детей.
 Пока светло, не забывайте
 Осиротевших матерей,
 Побитых жизнью сыновей,
 В слезах живущих дочерей.
 Пока светло, не забывайте
 Коротких солнечных дождей,
 В мечтах увиденных морей,
 Открытых в новый мир дверей.
 Пока светло, не забывайте
 Заросших ковылем степей,
 Покрытых снегом январей,
 Зимой зеленеющих ветвей.
 Пока светло, не забывайте
 Надгробий – памяти камней,
 Летящих «по-над пропастью» коней,
 Давно забытый юбилей.
 Пока еще светло, про жизнь не забывайте.
 Но иногда о прошлом вспоминайте.
 И, вспоминая, не прощайтесь,
 А плачьте про себя иль улыбайтесь.

12.

Вся жизнь – ожиданье:
 Сначала – свиданья,
 Улыбки, признанья,
 Потом, в наказанье,
 Конец и прощанье.
 Ведь было свиданье –
 Судьбы испытанье.
 Я ждал подаянья.
 Но вместо желанья
 Пришло состраданье,
 А в душу – страданье.
 Прервалось дыханье,
 Спустилось молчанье.
 Осталось гаданье.
 Потом, с опозданьем,
 Пришло пониманье,
 Года расставанья
 И горечь изгнанья.

Ожидание света,
 Хвалы, порицанья.
 Ожиданье расцвета,
 Потом увяданья.
 Ожидание ночи, утра,
 Ожидание горя, добра.
 Ожиданье ответа,
 Ожиданье письма,
 Ожиданье отлета,
 Ожиданье прилета.
 Ожиданье привета,
 Ожиданье звонка.
 А когда все устало,
 Замолчало, пропало,
 Пришло замирание сердца
 И ожиданье конца.

13.

Осталось лето позади.
 Пошли осенние дожди.
 Покрылось каплями окно
 И стало в комнате темно.
 После знойного лета
 Ночами не спится.
 Умирают уставшие клетки.
 И от легкого ветра
 Осыпаются листья,
 Обнажаются ветки.
 В эти мокрые тусклые дни
 Мы совсем остаемся одни.
 Дни проходят без встреч.
 Мы живем, как и прежде,
 С безнадежной надеждой
 Из прошлого что-то сберечь.
 Мы живем без объятий,
 Без ссор, разногласий.
 Мы плачем искренне,
 Когда уходят близкие,
 Когда редеет постаревшая семья
 И исчезают бывшие друзья.
 Мы живем, обо всем забывая,
 Каждый день мы живем, доживая,
 По ночам умирая,
 По утрам воскресая.
 И мы уже не ждем рассвета
 И не берем обратного билета:
 Туда еще нам можно улететь
 И можно даже долететь.
 А вот обратно – не всегда.
 А может быть, и никогда.
 Нельзя отсрочки рейса попросить.
 Но можно заболеть, сломаться,
 До дня отлета не дожить
 И на чужой земле навек остаться.

14.

Ушла зима.
 Сменился год.
 Декабрь и январь
 Канули в Лету.
 Пришел февраль,
 И ты ждешь лета.
 Зима прошла
 Почти без солнца,
 Без инея на стеклах,
 Без снега, без метелей.
 А ты по-прежнему одна.
 С тобой холодная постель,
 Ночник и высохшая роза.
 Уйдет февраль
 И унесет твою печаль.
 За ним придут весна,
 Дожди и первая гроза.
 Ты окна распахнешь
 И дверь откроешь –
 Гостя встретишь.
 Обнимешь, поцелуешь
 И рядом с прошлогодней розой
 В хрусталь поставишь
 Весенний ландыш
 И ветку желтую мимозы.

15.

Назад не вернуться.
 Оборвана тонкая нить.
 Настала минута
 Прощенья просить.
 Просить прощения за все:
 За неудавшийся полет,
 За незажженную свечу,
 За поседевшую мечту,
 За суету пустую, за заботы,
 За одинокие субботы,
 За горькие ненужные волнения,
 За грустные до боли воскресенья,
 За дом холодный, без тепла,
 За резкие, напрасные слова,
 За горькие обиды,
 За редкие цветы,
 За неумелую любовь,
 За слезы вновь и вновь,
 За неродившихся детей,
 За потерявшихся друзей,
 За жизнь без дочки,
 За не дающие покоя ночи,
 За раннюю усталость
 И за безрадостную старость.

Прости, что жизнь уже прошла.
 Прости за горе без добра.
 Прости. За все меня прости.
 И в мир без жизни проводи.
 Не плачь. Прощай.
 Живи. Не забывай.

16.

*Last session.
 Impressions.
 Expressions.
 No more any questions.*

Смешалось все:
 Чужое и свое,
 Начало и итог,
 Пророк и сионизм,
 Христос и атеизм.
 Остался Бог
 И импрессионизм,
 Виденья прошлых лет,
 Ненужный никому завет
 Без мыслей,
 Без ума,
 Без смысла,
 Но до дна.
 Пустая темная дыра.
 Глухая тишина.

17.

Все скрылось в тень.
 И все невмочь –
 И день не день,
 И ночь не ночь.
 Одно и то же,
 Уже все было,
 Все похоже,
 Похоже поперек
 И вдоль.
 Осталась
 Угнетающая боль.
 Остались
 Обгоревшая свеча
 И дверь на выход
 Без ключа.
 И сегодня опять
 Не хочется спать.
 Не хочется
 Утром вставать.
 Не хочется
 День начинать.

18.

Почти слепой, почти глухой.
С трудом хожу. Едва живой.
Я не дурак и не невежда.
Я в меру честен, не подлец.
И есть в душе еще надежда
На безболезненный конец.

19.

Еле теплится жизнь
В опустевшей квартире.
Догорает свеча.
Все ушли и забыли.
Успокоились стрелки часов.
Тишина, пустота.
До конца. Навсегда.
Нет ни света, ни слов.
Горько льется слеза
И бесшумно болит голова.

20.

В полудреме обмана,
В серых клочьях тумана
Зазвонил телефон.
Полустон, полушлач,
Полужизнь, полусон,
Полудень, полуночь.
Я живу в тишине.
Я живу в пустоте.
Я - глухой и слепой.
И каждое слово
Мне кажется точкой,
Полусимволом
Иль запятой.

21.

Устроен просто сложный мир.
Такими Бог нас сотворил:
В нас есть и низ,
Но есть и высь.
Не можем мы огромное объять,
Не можем и ничтожное понять.
Не всем дано стихи писать
И в небе в облаках летать.
Мне это тоже не дано.
Не всем дано увидеть страсть,
Услышать музыку, понять.
Мне это тоже не дано.
Не всем дано
Дождаться сбывшейся мечты,
Уйти от надоевшей суеты.
Мне это тоже не дано.
Не всем дано

Меж строк читать,
 А часто – ясное понять.
 Мне это тоже не дано.
 Не всем дано
 Последнее отдать
 И не дано чужое взять.
 Мне это тоже не дано.
 Не всем дано давать добро.
 Мне это тоже не дано.
 А что дано,
 Давно забыто и ушло.
 Но слишком быстро.
 Почему?
 За что же?
 Где провинился я?
 В чем грех мой, Боже?

22.

On a wing and a prayer

Я живу,
 Доживая во тьме.
 Я живу
 На краю и в беде.
 На таблетках
 И каплях.
 Без несчастья
 И счастья.
 И так – много лет.
 Я живу?
 Или нет?

23.

Ханна: «Я завтра позвоню»

Звони, когда наступит завтра.
 Я жду. У нас всегда есть завтра.
 Оно сегодня есть
 И будет завтра.
 И послезавтра
 Будет завтра.
 Оно и в понедельник будет,
 Во вторник, в среду и в четверг.
 И в пятницу, в субботу будет.
 И в ясный день, и в мокрый снег,
 В плохую и в хорошую погоду.
 И нет сомненья,
 Что в воскресенье
 Будет завтра.
 Но если в эти завтра
 Ты позвонить забудешь
 И мне звонка не будет,
 Я буду ждать и в понедельник
 В начале следующей недели.
 Ведь мне не привыкать,
 И я умею ждать,

Не спать, надеяться, мечтать.
И я дождусь.
Дождусь и улыбнусь,
Услышав голос твой,
Такой любимый и родной.
Я долго ждал.
Ждал ежедневно, ежечасно
И, оказалось, не напрасно.
Мой день настал.
Звонок раздался.
Я все-таки дождался.
И пусть не завтра,
А послезавтра.
И пусть не в среду
И не в снег,
А после дождичка
В четверг.



Зиновий Кане - инженер-кораблестроитель, кандидат технических наук в области сверхкрупнотоннажных танкеров для перевозки сырой нефти. В Штатах – с марта 1979 года. Работал в Танкерном департаменте компании *Exxon International (Florham Park, NJ)* – в Техническом отделе по проектированию, строительству и обслуживанию сверхкрупнотоннажных танкеров, а с 1990 года – в группе управления международным танкерным флотом. Преполагает в *Fairleigh Dickinson University, NJ*. Не по паспорту – Женя.

Ковид и русские классики

Прочитал где-то шуточные стихотворения – как написали бы о Ковиде русские классики. Понравилось. Правда, список пародируемых авторов коротковат: Чуковский, Маяковский, Есенин, Высоцкий, Фет, Некрасов. Мне тоже захотелось пошутить, а заодно и расширить список авторов. Я представил, как о Ковиде написали бы Пушкин, Лермонтов, Брюсов, Блок, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Павел Коган, Евтушенко, Маршак. И вот что у меня получилось.

Пушкин

Я помню чудные мгновенья,
Как до Ковида жили мы
Без масок и без отдаленья,
Без карантинно-нудной тьмы.

Мы респираторы познали,
Забыли, как встречать друзей.
В уединении печали
Казались нам еще страшней.

Модерна, Пфайзер, Джонсон-Джонсон
Нас из тюрьмы освободили –
И мир вздохнул, освобожденный,
Теперь живем, как прежде жили.

И сердце бьется в упоенье,
И без Ковида наша кровь.
Вернулись без ограничений
К нам жизнь, и слезы, и любовь!

Лермонтов

Белеет парус одинокий,
Висит, потрепанный на вид.
В прорехах он и кособокий:
Прорвался он через Ковид.

А смерть косою машет, свищет,
И все живущее дрожит!
Увы, он счастья не ищет,
А от Ковида он бежит....

Цветаева

Мне нравится, что вы больны не мной.
Мне нравится, что вы больны Ковидом,
Что вам любви довольно неземной,
Что не привязаны судьбой к любви флюидам.

Мне нравится, что мне дано любить
Других, кто не как вы больны словами.
А вам Ковид удастся победить,
И мы всегда друзьями будем с вами.

Мне нравится, что мне не надо взгляд,
Направленный другому, прятать тайно,
А мой – вы возвращаете назад
Нечаянно, как будто бы случайно.

Спасибо, что Ковид не передали мне.
Спасибо, что вы с ним живете как-то сами,
За то, что мной больны – увы – но лишь во сне,
За то, что только в снах – увы – я рядом с вами.

Павел Коган

Я с детства не любил овал.
Ковид я с детства рисовал.
Он – не овал, а круг с шипами.
Средь нас теперь он, рядом с нами.

Его я пере-ображу
И в угол вмиг переложу.
Так станет он простым и ясным,
И без вакцины безопасным!

Блок

По вечерам над ресторанами
Гнетущий воздух дик и глух,
За плотно запертыми ставнями
Царит ковидный, мрачный дух.

Вдали, над пылью старых двориков,
Не слышно пьяных голосов,
И пьяницы с глазами кроликов
Не восседают у столов.

Закрыто все. И незнакомка
Не зашуршит в своих шелках.
И не оправит складки тонкая
И в кольцах нежная рука.

Где чувства и любви сокровища?
И сердце страстью не горит.
Ты право, пьяное чудовище,
Над всеми властвует Ковид...

Маяковский

Ковид
 ощерил пасть,
 чтоб в пропасть
 нам
 упасть
 отчаянья беспощадного.
 А мы,
 чтоб ему неповадно,
 по его оболочке –
 хрясть!
 А мы ему –
 в поддыхало
 вакцинным
 шприцем-жалом,
 проткнем
 его оболочку!
 Все разом,
 без проволочек,
 шагнем толпой
 в вакцинацию!
 С Ковидом – в бой!
 В конфронтацию!
 Близка
 над Ковидом
 победа.
 Загоним
 в гроб
 людоеда!

Брюсов

Пришли к нам дни последних запустений,
 Земные силы озверели вдруг,
 Ковид весь мир поставил на колени,
 Стянув в смертельный, безысходный круг.

Пустынны улицы, театры, стадионы,
 Не выпьешь в барах, в ресторанах не поешь,
 Замуровались в четырех стенах миллионы,
 В контактах дружеских образовалась брешь.

Доступно лишь заочное общенье,
 По телефону бесконечный разговор.
 И нам осталось лишь смирение и терпенье,
 Уму и сердцу беспокойство и укор.

Но шаг неудержимый медицины,
 Науки, знаний непрерывный ход
 Ворота распахнули для вакцины,
 И полной грудью задышал народ.

На шумных улицах опять толпятся люди,
 Пришла пора набраться новых сил!
 Я всем кричу в грядущем – тем, кто будет:
 Я был! Я мыслил! И Ковид я победил!

Ахматова

Было все: и вуаль, и отравы.
Допьяна напоила его,
А потом для жестокой забавы
Наградила Ковидом всего.

А Ковид – это, может, смертельно.
И закончится вся моя жизнь.
Я за ним бежала бесцельно.
На дворе – леденящая синь.

Я бежала, страдала, рыдала.
Я скажу ему все, не совру.
Но Ковида виднелось начало.
Он сказал мне: «Не стой на ветру».

Евтушенко

Со мною вот что происходит:
Ко мне мой старый друг не ходит –
Ковидом друг мой заболел,
Таков теперь его удел!

Он заболел не в суете,
Не как беспамятные те,
Кто от других к себе приводят
И без стеснения хороводят.

А те, кто брошены остались,
Они не ныли, не терялись,
Прибрав оставшихся других,
Почти здоровых иль больных.

Так это все и происходит,
Когда к вам старый друг не ходит,
Когда Ковид царит кругом
И для других закрыт ваш дом.

Маршак

Как призрачно мое существованье.
Кругом Ковид, и больше ничего.
Мои исчезнут имя и прозвание.
«Так, – спросят, – что ж осталось от него?»

А мы ведь жили, думали, страдали,
И в изумленье мир смотрел на нас.
Не знали мы и не предполагали
Ковида услышать свирепый глас!

Здесь, на земле, цветы, луга – как прежде.
И звезды будут лить свой тихий свет.
Мы верим, верим – и в своей надежде
Грядущим поколениям шлем привет!

Вакцина, наше братство и сознание,
Любовь и разум, нет сомненья, победят.
Ковид изгинет! С будущим свиданье!
В него с надеждой устремляю взгляд...



Яна Кане - родилась и выросла в Ленинграде. Несколько лет училась в ЛИТО под руководством Вячеслава Абрамовича Лейкина. Эмигрировала в США в 1979 году. Закончила школу в Нью-Йорке, получила степень бакалавра по информатике в Принстонском университете, степень доктора философии в области статистики в Корнеллском университете. Живет в США с мужем. Работает в фирме *Comcast*. Стихи и проза публикуются в сборниках и журналах: «Общая тетрадь», «Неразведенные мосты», «Страницы Миллбурнского клуба», «Двадцать три», «День зарубежной русской поэзии», «Семь искусств», «*Elegant New York*», «45-я параллель», «Мосты», «*Chronogram*», «*Platform Review*», «*Ritualwell*», «*Trouvaille Review*», «*Verse Virtual*» и в антологии «*Red Wheelbarrow*». Вышли две книги: «Равноденствие» («Образ», Москва, 2019) и «Зимородок/*Kingfisher*» («Геликон», Санкт-Петербург, 2020).

Онемение

В этом году моя подборка в сборнике будет очень небольшой по объему. Это не потому, что я потеряла интерес к участию в деятельности Миллбурнского клуба, в частности к сборнику. И не потому, что я приняла сознательное решение больше не писать на русском языке. Но в начале марта 2022 года я написала стихотворение-билингву «Родная речь», и после этого затих тот внутренний, неподвластный моему сознанию голос, который сочинял стихи, сказки и эссе на русском языке; который вдохновлялся желанием переложить на русский созвучные ему англоязычные тексты. На английском я продолжаю сочинять, продолжаю на него переводить. Но мой русский язык онемел.

Не знаю, навсегда ли это. Мне хочется думать, что нет, что я когда-нибудь снова смогу сочинять на первом своем языке. Конечно, на фоне всего, что погубила и разрушила, что продолжает крушить дикая, бесчеловечная война России против Украины, эта моя потеря – штука микроскопическая. Но для меня, да, – это потеря.

Родная речь

Когда-то я хранила в памяти
первый свет –
неспешно разгорающийся восход
над молочной равниной
свежевыпавшего снега.

Когда-то я хранила в памяти
первые слова –
колыбельный напев речи,
лепет ольшаника,
шепот еловой чащи.

Теперь свет очернен –
 невольный соучастник глаз,
 когда они ищут живые мишени,
 когда они целятся в людей.

Теперь память спотыкается,
 затерявшись между воронками и увечьями,
 оглушенная взрывами, криками,
 мертвой тишиной развалин.

Родная речь онемела.
 Ненависть призвала ее слова
 на войну.

Март 2022

1978, 2014

1978 год был для меня и для моей семьи окончанием нашей жизни в России, годом отъезда. Тогда произошли события, которые вынудили нас наконец решиться на эмиграцию. Я не люблю вспоминать тот год. К тому времени, когда мы прибыли в США, наступил 1979 год. И его я считаю точкой отсчета нашей новой жизни. Однако в 2014-м меня с первозданной силой захлестнули воспоминания о времени отъезда. И сейчас они опять бередят мою память.

1.

Неперелетным птицам настало время
 Скитаться, искать наугад себе небо иное.
 Позади бесноватое пляшет пламя,
 Гарь и метель ослепили небо родное.

Над черными льдами скользят крылатые тени.
 К испепеленным гнездам им не возвратиться.
 Прочь от горящих лесов, от зимы безвесенней
 Улетают неперелетные птицы.

2.

Теперь уже можно – оглянись, погляди:
 Твой город сгорел дотла, и сама ты – прах.
 Боль не застынет солью в бесплотной груди,
 Над голосом безгортанным не властен страх.

Отсюда, сверху, видно, как валится снег
 На остывающее пепелище судьбы.
 Отсюда и Бога, и весь его огненный гнев,
 Пожалуй, сумеешь простить, отпустить, забыть.

Сонет Цурэна

Недавно я узнала про интересную литературную традицию: сочинить сонет Цурэна. Идея состоит в том, чтобы написать текст сонета, для которого в повести Стругацких «Трудно быть богом» дана только первая строчка.

Главный герой, землянин Антон, действует в инопланетном Арканарском королевстве под видом высокородного дворянина Руматы Эсторского. В стране идут гонения на «грамотеев» под девизом «Грамотные не надобны, надобны верные». Антон-Румата предпринимает тщетные попытки повернуть ход истории в более гуманное русло.

Вот цитата из повести, где приводится первая строка сонета: «Цурэн Правдивый, избличенный в преступной двусмысленности и потакании вкусам низших сословий, был лишен чести и имущества, пытался спорить, читал в кабаках теперь уже откровенно разрушительные баллады, дважды был смертельно избит патриотическими личностями и только тогда поддался уговорам своего большого друга и ценителя дона Руматы и уехал в метрополию. Румата навсегда запомнил его, иссиня-бледного от пьянства, как он стоит, вцепившись тонкими руками в ванты, на палубе уходящего корабля и звонким, молодым голосом выкрикивает свой прощальный сонет “Как лист увядший падает на душу”».

И меня, как и многих, увлекло желание вообразить, каким бы мог быть весь сонет:

Как лист увядший, падает на душу
 Последний день, последний день земной.
 Соль на губах. И паруса, надувшись,
 Как крылья, распахнулись надо мной.

Моей души единой – день прощальный.
 А после – надвое. Под сенью белых крыл
 Уйдет та часть, которой из изгнания
 Хранитель мой печальный жизнь скроил.

И той душе я голос свой вручаю –
 Ищи за морем строки двойника,
 Стоящего безмолвно на причале...
 И комкает увядший лист рука.

Румата, друг, не плачь. Все, что ты мог,
 Ты сделал – небожитель, но не бог.



Мир Каргер - работал в Колмогоровской статистической лаборатории МГУ, в различных отраслевых институтах, в АН СССР (РАН). В постсоветское время - организатор больших геолого-геофизических горнорудных и нефтегазовых проектов. Автор многих научных статей, книг и нескольких прозаических текстов. Публиковался в «Знамени».

Путевые заметки

Это - реальные путевые заметки из разных мест и разных времен. Я ездил по свету с 1958 года и до самого последнего времени. Много ездил. В 2018 году, например, у меня было 16 поездок: в Турцию, Россию, Киргизию и Гану. С пришествием Ковида моя разъездная жизнь закончилась. Пришла пора вынести заметки наружу, что я и делаю в этой публикации. Я их «причесал» и упорядочил по географии и по внутреннему смыслу, который нашел в них мой внук Матвей. Надеюсь, что кроме нас с ним они могут быть интересны еще кому-нибудь.

1. Про Боливию

Февраль - март 2009 года. Многонациональное Государство Боливия (таково официальное название) поделено на две разновысокие части: западная часть задрана в Анды, под небеса, восточная часть опущена вниз, в верховья Амазонии. В Андах воздух разреженный, малоокислородный, в Амазонии - сгущенный, влажный, насыщенный запахами сельвы. Страна не имеет выхода к морю, как и Парагвай. Недруги из Чили загнали Боливию наверх и накрепко заколотили все выходы.

Приехав в новые места, проведя там неделю или дольше, походив и поездив, пообщавшись с людьми, я в какой-то момент перестаю чувствовать себя чужаком, проникаюсь симпатией к ландшафтам, к людям - короче говоря, влюбляюсь. Влюбиться в Боливию у меня не получилось, хотя я провел там достаточно времени и много поездил по стране.

Отчасти причина - в нехватке кислорода. Аэропорт г. Ла-Пас расположен на высоте 4060 м. Первые шаги там делаются еле-еле. Но в аэропорту есть комната-капсула с кислородным наддувом, где можно чуть отдышаться, а в отеле тебе сразу предлагают кислородный баллон. Я купил два баллона: 30-дюймовый держал в номере отеля, 20-дюймовый возил с собой в машине.

Две недели я часто к ним прикладывался и днем, и ночью. Потом постепенно организм приноровился и перестал нуждаться в добавочном

кислороде. В этом мне помогли не только надлежащие высотные лекарства, но и замечательное местное средство, рекомендуемое знатоками высокогорий Южной Америки: чай со щепоткой листьев коки, или «мате де кока». Три чайничка мате де коки в течение дня – и ты как огурчик.

И все же главная причина моей холодности – не в разреженном воздухе, а в том, что боливийцы не улыбаются и, более того, они подчеркнуто не проявляют любопытства к окружающему. Даже свой «капоралес» на карнавале они танцуют сурово, глядя мимо партнера. Странно и комично это выглядит. Особенно комичны деревенские пары – насупленные женщины, каждая в крохотном котелке, цветастой шали и широченной многослойной юбке, и мрачные мужчины в короткополых шляпах и в потертых костюмах не по размеру.

В давние времена здесь царствовали племена аймарá, но Восьмой Инка – Инка Виракоча, наследник Инки Кровавые Слезы, – завоевал и включил всю страну, вплоть до озера Титикака, в империю кéчуа (на языке кечуа говорили Инки и их подданные). Девятый Инка, великий «преобразователь мира» Пачакути Юпанки, покрыл империей кечуа весь нынешний Перу, всю Боливию, частично Колумбию, Аргентину и Чили. Когда это свершилось, до прихода испанцев оставалось около 100 лет.

Анды – великое андское плато Альтиплано на высотах 3600–3800 м. Гигантское небо над всхолмленной равниной в обрамлении заснеженных гор-шеститысячников на западе. Сухие травы, степи, солончаки. С севера на юг Альтиплано пересекают одна автомобильная дорога и одна железная дорога, построенная во времена Чилийско-Боливийской войны. В 1930-х годах Боливия попыталась было пробиться к океану, разразилась Чилийско-Боливийская война, которую Боливия с треском проиграла. Герои той войны стоят на площадях в Ла-Пасе монументами в бронзе и камне.

По всей испаноязычной Америке, от Огненной Земли до Аризоны, текут десятки рек под названиями Рио-Гранде и Рио-Колорадо. Это топонимика пастухов-кочевников, которые не плавали по рекам и не использовали их для орошения, а лишь помечали, как вешки на пути. Рио-Гранде и Рио-Колорадо на Альтиплано впадают в бывшее озеро Уюни, высохшее и ставшее гигантской соляной пустыней 30–40 тыс. лет назад. А в озеро Титикака впадают реки с оригинальными названиями, поскольку и озеро, и реки судоходны.

Здесь индейцы – приземистые и массивные мужчины и женщины, у них мощный широкий торс, короткие шеи, кирпично-румяные лица. У аймара лица якутов, бугристо-лунообразные и монголоидные, у кечуа и гуарани – поуже, глаза круглее, они приятнее для европейского глаза – может быть, потому что кечуа, будучи господами империи инков, чаще других имели возможность метисации, а при конкистадорах и вовсе легли под массовую креолизацию.

В приданной мне исследовательской группе есть девушка Моника из аймара. У Моника лицо темное, круглое, фигура широкая, приземистая – вылитая якутка. Другая девушка носит имя звучное, как в южноамериканских романах, – Соледад Янарико Гутьеррес, и сама она милостивая и узколицая кечуа. Но, как и Моника, она тяжелая и широкая, ходит шаркая, переваливаясь несколько по-утиному. Она год проучилась в Бразилии, где набралась лоска. Поэтому стесняется своей массивности и носит мешковатую рабочую одежду и тяжелые ботинки, чтобы ее скрыть.

Неказистая Моника и образованнее, и умнее красивой Соледад. Она тянется к новому, все схватывает на лету. Именно она управляла нашим маршрутом по Уюни. При обсуждениях и объяснениях я адресуюсь в основном к ней. Ее начальница Соледад недовольна, заметно ревнует и ммурится.

Гийермо Р. – их шеф, бельгиец лет 50. В 1980-х он хипшовал, бродил по свету, в Боливии влюбился в индианку и застрял навсегда. Кроме прочего, он владеет кофейной плантацией на юго-востоке, в Амазонии. «Большая ли у тебя плантация?» – спрашиваю его. – «Нет, не очень. Я ее верхом за полдня объезжаю». Яркий человек. Но это впечатление потускнело, когда он познакомил меня со своим сыном. Плод страстной любви оказался дебилом с отвисшей губой.

Боливия, Венесуэла и прочие – это общества старых традиций меркантилизма, унаследованных от средневековой Испании. Правящие элиты, преимущественно землевладельцы-латифундисты, обеспечивали свое господство через государство. Диктаторы Латинской Америки, вроде Уго Чавеса и Эво Моралеса, продвигаются к власти как раз через эти традиции.

Шофер Роберто Кироза – индеец кечуа. Улыбчив, охотно смеется в голос. А его обожаемый 10-летний сын Йонатан, которого он часто возит с собой, наоборот, не улыбается. Почему? Потому, объясняет Роберто, что улыбаться чужаку – это терять лицо, унижаться. «А ты почему улыбаешься?» «Это моя работа» – отвечает он и улыбается еще шире. У Чарльза Дарвина в «Путешествии на Бигле» описан генерал Росас, аргентинский индеец, который тоже никогда не улыбался.

Роберто прочит мальчика в профессиональные военные. Он благодарен Эво Моралесу за то, что тот открыл двери военных училищ людям «с одинарными фамилиями». А раньше? А раньше поступать в военные училища могли только люди с двойными и тройными фамилиями, то есть белые латифундисты из старых семей земельной аристократии.

Геолог Эдди Б. – носитель очень длинной фамилии. Он хорошо образован, хорошо говорит по-английски. Эдди называет три великих дара индейской цивилизации миру: картофель, кукуруза и сифилис.

В отличие от США, в Боливии нет монументов картофелю и кукурузе.

Эдди согласился, что неплохо бы их увековечить. Неплохо бы также поставить памятник и сифилису: как-никак сифилис пытался морализовать распутную Европу. Потом эстафету подхватил СПИД.

«Между прочим, наши пастухи хранят истинный, ювенильный сифилис! – заявил Эдди с гордостью. – Наш ювенильный – совсем не то, что ваш европейский, испорченный антибиотиками».

Оказывается, носителями сифилиса являются ламы, для которых он – всего лишь безобидная кожная болезнь. Пожалуй, я умолчу о способах передачи сифилиса от ламы человеку. Но тот, кто знаком с жизнью пастухов отгонного скотоводства, тот и сам догадается.

Картофель (па́па), действительно, рожден здесь. Он так же разнообразен, как цитрусовые в Китае. На каждом базарчике лежат на тряпицах кучки па́па десятков сортов, различающихся формой, цветом, ноздреватостью и размерами клубней. Каждый сорт имеет свое применение – варка, жарка, тушение такое, тушение сякое, запекание и т.д. Специальный вид – па́па для сверхдолгого хранения в высушенном твердокаменном состоянии. Старинный способ высушивания – ночью заморозить, а днем сушить под прямым солнцем. Спустя годы – залей его теплой водой, дай набухнуть – и делай с ним что хочешь: жарь, туши, вари. Прекрасен и белоснежный картофель, о котором Роберто сказал: «Этот для любви».

В инкскую эпоху существовали государственные стратегические запасы сушеного картофеля. Из них кормился народ в неурожайные годы, из них кормилась и армия, для которой сушеный картофель был основной едой. Плюс, конечно, кукуруза (сарá) и вялено-сушеное мясо лам.

Пьянство индейцев – кто только о нем не писал. Ч. Дарвин в «Бигле» посвятил чудовищному индейскому пьянству многие страницы. Напивались они чичей, то есть бражкой, которая изготавливалась из пережеванной кукурузы, зачастую с добавлением коки. Так же, отмечает он, упивались чилийские шахтеры и моряки в порту – те, кто имел надежный стабильный заработок.

В действительности, пьянство, как и кокаиновая наркомания, глубоко сидит в традиции инкаизма. Пьянства требует главная богиня инкского пантеона – Пачамама, жена-земля (на кечуа), прародительница всего живого, покровительница животных, путников. На каждом углу здесь продаются ее статуэтки из серой обожженной глины в виде женщины с одним, двумя или тремя детьми на руках. Обряд в ее честь таков: нажуй шарик из листьев коки, выплюнь его на землю и полей тонкой струйкой чичи.

На стене автобусной станции где-то между Оруро и Потоси висит большая клетка с большим попугаем ара макао. Перед ней замерли несколько женщин аймара, груженные своими котомками на спинах, – три в

возрасте и одна молоденькая, внешне все они схожи – наверно, из одной семьи. Стоят, прячутся на попугая и молчат, молоденькая улыбается.

В ресторане моего отеля обедает семья: супруги средних лет и двое детей. По воскресеньям сюда многие приходят семьями – женщины в бижутерии, гладкие мужчины, дети-паиньки. Эта семья привлекла мое внимание тем, что ее глава – вылитый мой дядя Яша. Определенно, у нас с ним общий предок. Сложное путешествие проделали его гены в XX веке, прежде чем попали сюда, на вершину мира, в Анды.

Главный администратор в моем отеле – сеньор Роммель Очоа, дежурный администратор – сеньор Бисмарк Эрнандес. О боже, какие имена! Роммель – лет тридцати, среднего роста, узколицый, темный шатен, с уверенными манерами. Такие встречаются в Северной Италии. На вопрос «Откуда у Вас такое интересное имя?» отвечает, не отрываясь от бумаг:

– Моя прабабушка из Польши. Давным-давно приехала и поселилась в Парагвае.

Беседу по-немецки он поддерживает на вполне приличном нидердойч. Оказывается, он и в Германии успел поучиться.

– То есть твоя прабабушка из Силезии? – спросил я. Он кивнул.

Если бы не его имя, если б он звался, скажем, Райнером или Рихардом, я бы поверил. А Роммелю – нет, не верю. Польшу он назвал, чтобы только не Германию; а Парагвай – потому что там немецкая колония существовала задолго до нацистов. Значит, прабабушка его бежала из Германии не в XIX веке, а после 1945 года, и не одна, а с мужем-нацистом, и не в Парагвай, а в Аргентину, откуда они утекли, как Менгеле и прочие нацисты, в начале 1960-х, после дела Эйхмана.

И последнее. Боливия – едва ли не самая бедная страна Латинской Америки. Потому-то именно здесь Че Гевара пытался разжечь пламя латиноамериканской революции в 1966–1967 годах. Боливийские крестьяне казались им с Фиделем Кастро наиболее податливыми для этого дела. Че был жестоко разочарован безразличием крестьян к его «ла Гуэрра» и его партизанам. В конце концов крестьяне его предали. Но есть версия, что в отряде рядом с Че был приставленный к нему Фиделем стукач, который и стукнул на него в полицию.

2. Южная Африка

Декабрь 2012 года. Пишу в самолете в Йоханнесбург, 8-й час полета. Второй этаж A380, ни одного свободного места. Над затылком в кресле передо мной плывет на мониторе карта местности с романтическими названиями: Замбези, Монгу, Синанга, Калабо. Но я в поездке в общей сложности уже 17 часов и так устал, что подъема не испытываю.

...Что и говорить, Южная Африка – страна очень черных людей. Таково

первое впечатление после приземления в Йоханнесбурге. Аэропорт длинный, старый, долго идешь пешком, едешь на траволаторах – и видишь только черные лица. На каждом повороте коридора они, в ливреях и униформах, стоят кучками по четыре-пять человек. Не группы, не бригады, не подразделения, а именно бесструктурные кучки бездельников с общим выражением скуки на лицах.

Потом, ближе к выходу, стали появляться вкрапления белокожих. В городе же картина меняется кардинально – белые превалируют, а среди черных встречаются умные сосредоточенные лица.

В буровой бригаде на простом шнековом буровом станке трудятся восемь чернокожих рабочих, то есть ровно вдвое больше, чем надо. Но такова политика создания рабочих мест. В отсутствие экономического роста новые рабочие места не создаются, но дробятся существующие: функции низкоквалифицированного рабочего режут на простые операции, которые поручают малообразованному персоналу за пропорционально меньшее жалование.

Бушвелд – оком без признаков жилья; холмистая равнина, простор, очень широкое, выпуклое небо. Высокий колючий кустарник, трава с проплешинами краснозема – обиталище бушменов. А ведь Луи Буссенар приврал: для того, чтобы укрыть в засаде Капитана Сорвиголову с его эскадром, сей кустарник жидковат.

Коллега Иен ван дер В. – высокий сухопарый африканер 55 лет, спортсмен от макушки до пят, как англичанин. В прошлом он – чемпион ЮАР по мотокроссу и каким-то единоборствам, ныне – владелец кимберлитовых шахт, где встречаются зеленоватые алмазы. С гордостью показывает мне фото: сначала фото алмазов, потом лошадей из его конюшен и лишь потом – фото своих дочерей.

Иен за рулем очень навороченного *Porsche*. Слева от него – Джонатан И., канадец китайского происхождения, улыбчивый, разговорчивый, культурный и образованный, как москвич или петербуржец из приличной семьи. Я – сзади. Мы ездим по рудным объектам Витватерсранда, от шахты к шахте, от отвала к отвалу. Эти двое показывают принадлежащие им золотосодержащие объекты – мне, который призван оценить, чего эти объекты стоят.

В машине звучит местный канал классической музыки. Джонатан музыкален, мы коротаем время, играя в музыкальную угадайку. Он много хвастается своей супергалантливой дочерью, IQ которой просто зашкаливает. Иен молчит. Он открывает рот, когда речь заходит о бизнесе, о его детстве или местных обычаях. Говорит на выпрессенном английском, как выпускник какой-нибудь британской частной школы.

Иен заговорил, когда речь зашла о бушменах. Он описывает их в похвальных тонах, он близко узнал их в армии, когда служил в спецназе.

Говорит, что они хорошие следопыты, но люди мирные, воевать не любят – и вообще мечтают, чтобы их оставили в покое.

– Вы видели бушменов? – спрашивает он меня.

– Да, видел на фотографиях.

– И как?

– Да так, маленькие, неказистые.

– А представьте себе, что есть такие белые, которые вожделеют к бушменским женщинам. И это не кто-нибудь, а немцы из Германии! Вот какой секс-туризм развит на бушменских территориях – немецкий. Странно, не правда ли?

Обсудив тему так и сяк, мы с Иеном приходим к выводу, что сия страсть – суть сублимация с трудом подавляемых немецких педофильских наклонностей.

Отель “*Michelangelo*” на площади Нельсона Манделы. Слегка обшарпанный, но в целом роскошный отель. Площадь Манделы пешеходная, в центре ее фонтан. Пятиметровый бронзовый Мандела в полный рост в своей знаменитой размахайке «мадиба» стоит с краю площади. Черные люди фотографируются, стоя у него между ног.

Мандела здесь повсюду, на каждом шагу, его любят, его обожают, им гордятся. Продавец сувениров на базаре, у которого я купил деревянную скульптурку «Хор» (“*Shokotule. Means togetherness*” – написал он на бумажке разработанным почерком), несколько раз повторил, что он из одного с Манделой племени Коса (*xhosa*) и говорит на одном с Манделой языке.

Школьники одеты в выглаженные школьные формы, даже в бидонвилях, ходят чинно-степенно. Мальчики выглядят аристократично – в синих костюмах, голубоватых рубашках, темно-синих галстуках в косую полоску. Девочки выглядят более демократично. Школьная форма – это, кажется, пунктик африканцев; вспоминаю, что даже император Бокасса узаконил обязательное ношение школьниками формы.

Мирно беседующие дети в школьной форме, идущие группками из школы домой, создают умиротворяющее впечатление социального покоя и упорядоченности. Но в этой стране все жилые районы ограждены стенами, часто глухими, наверху с колючей проволокой и даже с проволокой под током.

– Это от террористов? – спросил я Иена.

– Нет, от воров и бандитов, – ответил он.

Между прочим, двигать ЮАР к демократии начал не Мандела, а Джордж Сорос в 1979 году. Нельсону Манделе оставалось еще 11 лет тюрьмы, усиливались международные санкции против ЮАР, росла изоляция ЮАР, а Джордж Сорос уже стал платить стипендии чернокожим студентам колледжей в южноафриканских бантустанах.

Мандела вышел на свободу в 1990 году, а в 1994-м он стал президентом ЮАР. Апартеид отменили. Поднялся бандитизм, пик его пришелся на 1993 год (80 убийств в год на 100 тыс. населения), потом он пошел на убыль. Для сравнения: в России пик убийств был в 1995 году – 30 на 100 тыс. населения. В ЮАР значение 30 было достигнуто в 2009 году и с тех пор держится на этом уровне. Вот так, черепашьям темпом, нации цивилизуются.

3. Тоскана

Май 2004-го. Я очень давно и очень подробно мечтал попасть во Флоренцию – с книжки «Камень и боль» Карела Шульца, которую прочел во впечатлительном возрасте. Я мечтал о том, как потопчусь на площадке, где впервые подрались будущие гвельфы и гибеллины. Пройдусь по маршруту восстания чомпи (начало XIV в). Потом – восстания Пацци, 1478, – от того места, где они зарезали бедного Джулиано Медичи, до дворца Синьории, в окнах которого народ повесил их голыми. Потом – в капеллу Медичи. И так далее, шаг за шагом, листать историю Флоренции и Возрождения, следуя Макиавелли, Вазари и Дживиллегову.

На деле получилось вот что.

Нас пятеро: Алина, Витя, Гена, Юля и я. Мы продирались сквозь тучи туристов на Понте Веккио, сквозь толпы на площади Синьории. Мои товарищи почему-то спешили и едва меня слушали. Не успел я обрисовать повешенных под крышей Синьории епископа Сальвиати в малиновой сутане и пятерых голых Пацци (почти все по имени Якопо), как мои товарищи понеслись дальше по серым улочкам. И вдруг, повернув за угол, в узком просвете увидели висящий в небе купол Брунеллески на Флорентийском соборе. Тут они ахнули. Хотел бы сказать, что побледнели, онемели и замерли. Но нет, ахнули и побежали еще быстрее.

Собор Санта Мария дель Фьоре оказался ослепительно красив. Он и на картинках хорош, особенно если вообразить, что он весь соразмерно облицован белым и зелено-серым мрамором. Но в реальности в этом гибриде готики и флорентийской спеси – готического нуля. Он оказался широченным и легко-весело-роскошным. А рядом с его фасадом – Баптистерий, суровый романский восьмиугольник, как точка отсчета Кватроченто.

Я понял, что читать Тоскану надо в такой последовательности: Сан-Джеминиьяно – Сиена – Флоренция. Сан-Джеминиьяно – тупая средневековая крепость XI в., из которой торчат высоченные глухие башни, семейные крепости дворян, вроде родовых башен на Кавказе. Когда-то их было 74, сегодня 14. Собор в Сан-Джеминиьяно – романско-готический, немой.

В Сиене тоже средневековье, стены домов почти без окон. Кафедральный собор еще готический по сути – узкий, трехнефный, со щелями окон. Но он уже легкий – благодаря роскошной облицовке и

мозаичным полам. Впечатление, что он уже не молчит, а гудит, но пока еще в одну дуду. Внутри – византийское золотце и застывшие божьи лики.

В мрачной церкви Сан-Доменико выставлены мощи Св. Екатерины, две последние фаланги ее указательного пальца. Она была очень авторитетная монахиня в миру, сочинительница проповедей, наставница князей церкви. Кажется, она – та самая, кому молятся английские девушки, мечтающие о замужестве. Ее мощи, однако, выглядят как холеный указательный палец светской дамы, узкий, длинный, с идеально овальным ногтем.

На таком фоне физически ощутишь отрыв Флоренции, который она совершила за какие-нибудь 100 лет. Кстати, рывок флорентинцы начали с того, что пригнобили своих дворян: сровняли с землей все родовые башни и вынудили аристократов приобретать гражданство через вступление в ремесленные цеха. Данте был в цеху мясника.

И все же последовательно описывать это невозможно. Перечислю самое для меня яркое.

■ Церковь монастыря Сан-Спирито. Здесь настоятелем служил друг Боккаччо, который позволял ему копаться в монастырской библиотеке. Но интересен фасад церкви, первый «тосканский» фасад Брунеллески: мягкие лекальные линии, золотые пропорции, спокойствие и полифония. Этот фасад с площадью-сквером перед ним – до сих пор шедевр.

■ Церковь Санта Мария дель Кармине. Снаружи – сырой камень, но внутри – капелла с великой фреской Мазаччо, где впервые Адам и Ева голые. В этой капелле Микеланджело, споря об этой фреске, получил тот самый удар по лицу, который его обезобразил на всю жизнь.

■ Членораздельный фасад многоэтажных гражданских зданий, придуманный Брунеллески: под общим карнизом – ряды окон разного размера и формы, разделенные орнаментальными фризами-карнизами.

■ Капелла Медичи. Геометрически это высокий цилиндр 5:3 под куполом. Купол стоит на барабане, в котором по кругу расположены круглые окна. Под ними – парные прямоугольные окна, которые кончаются на высоте метров пять над полом. Между окнами – пустые медальоны, ниже окон – пустые белые стены (расписать их никто не осмелился!), алтарь и гробницы, известные по копиям в музее на Волхонке в Москве. Нам повезло – в капелле, кроме нас, никого не оказалось, и я час просидел в кресле служителя рядом с гробницей Джулиано. И понял, что Микеланджело придумал: он включил в композицию солнечный свет. Солнце ежедневно ходит по кругу, освещая поочередно гробницу №1 – алтарь – гробницу №2. А в середине лета оно в зените светит прямо в пол через стеклянную башенку на макушке купола.

■ Дом Макиавелли в маленькой деревне рядом с Сан-Кашьяно. Этот дом и его окрестности он описывает в письмах другу, жалуется на старость, болезни и тоску. Здесь, действительно, разлита тоска.

■ «Цукконе» Донателло в Галерее Собора. Та самая статуя, которой Донателло божился: «Клянусь моим Цукконе», – говорил он собутыльникам. Городской дурачок Цукконе сделан в бронзе, одет в римскую тогу, но, как и в жизни, остался косоглазым дебилом-макроцефалом.

■ Сельская Тоскана. Один день я провел в окрестностях Борджо Сантиново. Вышел за ограду и пошел по полям и лесам. Леса дубовые, поля пшеничные, сильно засорены маком. Виноградники. Из-под ног то и дело – фазаны: курочки молча шныряли в кусты, а красавицы-петухи взмывали в небо с воплями.

■ Гвидо д'Ареццо – изобретатель нотного письма. В 1020-х годах он придумал названия нот, чтобы их можно было выпевать, и запись на линиях. Он также настроил технику линования и записи и методику считывания нот... Городок Ареццо находится в горной Тоскане, юго-восточнее Флоренции. Что ж этому Гвидо «неймелось» там, в горах? Наверно, он, плодовитый сочинитель, хотел слышать свои сочинения в чужом исполнении, мечтал о славе у потомства – в широком смысле, ибо был монахом.

Наконец, тосканские пейзажи. Но это совершенно отдельная тема. Для освещения ее необходим язык, которым я не владею, и пока не изобретенный специальный анализ ландшафтов. Я делаю первый шаг в этом направлении – сам себе задаю вопрос: почему тосканские ландшафты так музыкальны? Не потому ли, что они геометрически соразмерны?

Напоследок – одно из случившихся там ярких кулинарных событий: буйабес, сиречь марсельская уха, сваренная из купленных в Ливорно рыб, кальмаров, осьминогов, моллюсков, креветок и раков, плюс чечевица, которая суть итальянский «спешл» для ухи.

Уха была почти готова – сварена, откинута, и Гена Лискевич уже выбирал и мелко нарезал кальмаров и осьминогов, – как вдруг обнаружилось, что нет водки, то есть грашпы. А без водки уха не уха, это даже дети знают. А на дворе меж тем воскресенье, итальянский день закрытых дверей, и на часах шесть вечера. Кошмар! Пришлось мне пойти «христарадничать» в деревню.

Лишь в третьем дворе я нашел искомое. Это был двухэтажный дом «покоем», внутри двор с крестьянской рухлядью, две хмурые женщины в черном, как будто из итальянского кино 1950-х годов. С галереи второго этажа по длинной лестнице ко мне спустился пожилой мужик в линялой майке с бутылкой в вытянутой руке. Он объяснил, что свою собственную грашпу он со своими домашними уже давно всю выпил (женщины в черном кивнули), но у него есть купленная в магазине граппа. «Уверю вас, сеньор, это очень хорошая граппа». Я купил ее и рассыпался в благодарностях.

Вечер начался на большом подъеме и разогнался в веселую попойку с

вовлечением соседей. От грашпы – через кьянти – к коньяку. Соседи-итальянцы из Милана – дед с бабкой, две их внучки, Франческа и Алессандра, 10 и 13 лет – приняли участие в хоре из «Набукко» и вальсе из «Травиаты». Под конец Алессандра почитала стихи, и не какие-нибудь, а Данте и Петрарку. Читала она без выражения, монотонно, то есть тарабанила, как тарабанят вызубренное все зубрилы на свете.

4. Чехия

Июнь 2012-го, Прага. Чехи – горцы, что бы кто ни говорил. В этой стране, с ее быстрым чередованием контрастных ландшафтов, им назначены свыше индивидуализм, упорство и трудолюбие, а также упрямое, но тихое сопротивление захватчикам. В отличие, например, от равнинной Польши, которая обречена валиться под ноги прохожим.

Очень остро в Чехии переживают конфликт с католицизмом и чешскую Реформацию. Здесь по сей день чтут Яна Гуса, его борьбу, предательство императора, суд и сожжение Гуса по постановлению Констанцского собора 1415 года. Скорбят и о смерти Яна Жижки, показывают место его казни.

Чехи полагают, что Реформация началась с Великого западного раскола (1378–1417). В самом деле: двое и даже трое святейшеств! – как же тут сохранить веру в святость папства? В сущности, католицизм, разживев, сам себя обрек на погибель, говорят они. В действительности же среди рядовых клириков брожения начались раньше: к 1384 году Джон Уиклиф уже перевел Библию на английский язык. Но главное – чума! Реформация выросла из чумы 1347–49 гг., когда клирики отказывались причащать умирающих и разрешили мирянам, в том числе женщинам (!), причащать друг друга.

По Чехии меня возил мой друг и коллега Мирко Ванечек, старый пражанин, такой старый, что живьем видел и помнит Генлейна*. После убийства Гейдриха^{1**} родители усадили Мирко из Праги от греха подальше, в деревню в Крконоше.

Со своей русской женой Галиной Мирко сошелся в конце 1940-х, когда он учился в Свердловском Горном институте, а она – в Педагогическом. Потом он ее долго высвобождал из советских когтей. Она – филолог, страстная «маринистка», сиречь фанатка Марины Цветаевой, учредительница Цветаевского общества Чехии. У нее бурный общественный темперамент, распространяющийся на Чехию и на Россию.

* Конрад Генлейн (*Konrad Henlein*) – лидер Судето-немецкой партии Чехословакии, действовавшей в интересах гитлеровской Германии. В мае 1945-го покончил с собой.

** Рейнхард Гейдрих (*Reinhard Heydrich*) – один из высших чинов СС, начальник Главного управления имперской безопасности; один из организаторов «окончательного решения еврейского вопроса». Был убит в Праге чешскими патриотами в июне 1942 года.

Чехи продолжают болезненно переживать события своей новейшей истории, как будто это недавние события. Начинают с рассказа о том, что к XVIII веку чешский язык под давлением немецкого почти исчез из культурного оборота, и патриоты должны были вернуть свой язык к жизни. Чешский язык они возродили, создали свое первое государство (в 1918-м), потеряли его при немецкой оккупации (в 1938-м) и вновь обрели (в 1945-м). Наконец, вынесли почти полвека фальшивого суверенитета, вершиной которого стал советский диктат (1968 г.)

В Праге в одном ряду по значимости числятся и нацистские, и советские памятные места: место покушения на Гейдриха; крипта церкви Кирилла и Мефодия, где погибли чехи, убившие Гейдриха; деревня Лидице; место самосожжения Яна Палаха; следы от обстрела Национального музея из советских танков.

Старший сын Ванечков, замечательный художник и хороший человек Петр, водил меня по этим местам. Потом повел в район Йозефов, бывшее еврейское гетто Праги, где мы бродили под его пересказ текстов Кафки и Мейринка. Потом мы пришли к могиле Кафки; интересно, что Кафка покоится метрах в 100 наискосок через дорогу от штаб-квартиры Радио «Свобода».

У Ванечков дома я прочел замечательную книгу Л. И. Шинкарева «Я это все почти забыл»* – о «Пражской весне» 1968 г. и событиях вокруг нее. В частности, эта книга анатомирует историю капитуляции руководства ЧССР перед руководством СССР – историю интриг, издевательств, шантажа и вероломства. В конце концов они сломались все, кроме одного. Не сломался жестоковыйный еврей Ф. Кригель, председатель Национального фронта Чехословакии. Чехи сегодня называют его героем, спасшим национальную честь.

Приведу эпизод вторжения из этой книги.

В ночь на 21 августа 1968 года в Пражском аэропорту один за другим приземлялись советские самолеты с десантниками. В это время в почтовом отделении аэропорта пять женщин и старик мирно сортировали почту. И вдруг...

«...на почту ворвался солдат с автоматом в руках: "Всем к стенке! Руки за голову!" Он говорил по-русски. Люди стали к стенке, сцепили руки за головами...

"Сынок, – сказал старик, – ты знаешь, где находишься?" – "Знаю. В Германии!" – "Сынок, посмотри в окно". Солдат подошел к окну. Он ничего не понимал. "А куда мы пришли?!" – "В Прагу, сынок!" Солдат задумался, потом сделал знак, чтобы все вернулись на свои места. Он опустился на табурет, поставил автомат между ног и обхватил голову руками».

* Меня эта книга так впечатлила, что я помог автору подготовить ее электронную версию: https://inslav.ru/images/stories/pdf/2016_Shinkarev.pdf.

С Ванечками мы посетили ресторан, который держат их друзья, супружеская пара из Питера. Ему лет 50, она моложе. Красивые люди, но внутренне напряженные и настороженные. В недавнем прошлом они занимались оформлением дубайских квартир для российских богачей. Потом еле ноги унесли из Питера в Европу.

О своих бывших заказчиках они рассказывают с брезгливостью. Уверяют, что Путин свихнулся на религии. Он якобы поверил некоему авторитетному клирику, что призван свыше спасти Россию. А я думаю, что вера, религиозность противны природе гэбиста! Его природа не допускает веры во что-либо, кроме веры в пытки и в смерть! Ибо в глазах гэбиста лишь пыткой добывается истина, а со смертью не поспоришь. Путин имитирует религиозность, просто-напросто подлаживается под подлое сословие.

С рудно-геологической точки зрения, Чехия – огромная урановая провинция. Мы с Мирко спустились в несколько шахт, в том числе и в последний действующий рудник рядом с г. Кутна-Гора. Европейское Сообщество позакрывало горные предприятия. Но из-за Российского газового шантажа 2020-х, боюсь, придется Европе вернуться к старым энергоресурсам, включая атомные.

В урановых рудниках города Яхимов (немецкий *Joachimsthal*) был добыт радий Мари Склодовской-Кюри. При немцах на рудниках в Яхимове работали лагерники, в том числе советские военнопленные. К концу войны на складах здесь было больше 100 000 тонн урановой руды, которая была увезена в СССР для производства первых советских атомных бомб.

А после войны на этих рудниках работали пленные эсэсовцы. К тому послевоенному времени относится эсэсовская история моего друга Алексея Заболотнова.

В конце 1940-х Алексей учился на гидрогеолога в Ленинградском Горном институте. В 1948-м, за год до выпуска, весь его курс был приказным порядком переориентирован на уран. И уже летом 1949 г. молодой специалист А.С. Заболотнов заступил на должность горного мастера на урановом месторождении Яхимов.

В круг его каждодневных обязанностей входили два спуска в забой и кое-какие мелкие вычисления: спуститься в начале смены, чтобы дать задание шахтерам; спуститься в конце смены и «заактивировать» выполненную работу. Шахтеров, бывших эсэсовцев, привозили из расположенных по соседству концлагерей. Трудились они исключительно вручную, кололи породу кайлами, кувалдами и долотами, зачастую в тесных щелях, стоя на коленях. Поэтому их сменная выработка была невелика, работы у Алексея было немного.

Алексею по штату полагались два вооруженных охранника, которые обязаны были охранять его попеременно спереди и сзади. Но эсэсовцы были смирные, и он часто отказывался от охранников. Случись что, от них,

вечно пьяных, все равно не было бы толку.

Однажды он уличил шахтера в том, что тот завалил пустой породой богатое ответвление урановой жилы. Для чего? Для того, объяснил злоумышленник, чтобы хорошую руду оставить будущим поколениям немцев, возвращение которых в Богемию он предвидит.

Дело происходило в штреке высотой чуть больше метра. Рослый эсэсовец докладывал, стоя на коленях, руки по швам. Малорослый Алексей сидел напротив на куче руды и допрашивал злоумышленника фразами из русско-немецкого разговорника.

Алексей поведал эту историю в 1974 году за пиршественным столом в доме нашего с ним кунака, егеря Закатальского заповедника (Большой Кавказ). Завершил он ее самокритично:

– Ох, и дурак же я был. Сидел голой ж... на куче уранинита!*

– И в самом деле, дурак! – согласились сотрапезники.

И добавили, что, к счастью, сидение на уранините ему не повредило, о чем свидетельствуют его успехи на ниве семьи и брака. Во славу которых присутствующие выпили по стопке виноградной чачи и закусили ее табасаранским сыром.

5. Транссиб

Есть профессии, которые воспитывают в человеке неторопливость и принуждают к мудрому философствованию. Впрочем, может быть и наоборот – мудрые, философски настроенные люди выбирают как раз эти неторопливые профессии.

Да будет вам известно, что в прежние времена путевые обходчики на железных дорогах, все как один, были философами. Обходчик должен был следить, не расшатался ли костыль, не выкрошился ли гравий из-под шпалы, не треснул ли где, не дай бог, рельс. При необходимости он подтягивал гайку, подбивал костыль, красил дорожный пикет, выкашивал траву на насыпи и убирал мусор. Жил обходчик полным своим хозяйством: дом, огород, сад, скотина – и все без ограничений, хватило бы рук за всем успевать.

Жаль, что к концу 1960-х обходчиков упразднили вместе с паровозами и деревянными шпалами. С тех пор на железных дорогах мне не с кем словом перекинуться.

Я был знаком с одним мудрецом-обходчиком, имя которого невозможно забыть – Пафнутий. Он служил на Транссибе**, где-то между Синеглазовом и Курганом, точнее не вспомню. Сей Пафнутий был Гераклит в мире

* Уранинит, он же *настуран*, он же *урановая смолка* – высокорadioактивный минерал, оксид урана.

** Транссиб – Транссибирская железнодорожная магистраль.

обходчиков.

Начать с того, что он собирал порванные и спущенные в вагонные унитазы фотографии. Он их отмывал, высушивал и выклеивал на газетной бумаге. Он вслух разговаривал с человеческим мусором, который оставляли после себя пассажирские поезда.

Шел он себе, постукивая по рельсу молотком на длинной ручке, – 10 километров туда по правому пути, 10 километров обратно по левому пути, попутно скидывая с полотна кучки дерьма, которые пунктиром прочерчивали за собой пассажирские поезда. И вслух обращался, например, к пассажиру, который подтерся центральной газетой с портретом какого-нибудь московского бонзы. Мол, культурный ты мужик, два километра подтираешься. Но плохо, что портретом, – это, брат, ты себя показал, кто ты есть... А вот пассажир ел вишню жадно, косточки не выплевывая, и выдристал косточки, как медведь костянику, – этот, значит, давно вишню не видал, дорвался, бедолага. Недавно, значит, откинулся.

Однажды он нашел трупик недоношенного ребенка, сине-красный, уже начавший подсыхать, но еще не тронутый птицами. Вытянутая на восток от трупа пуповина и окровавленные тряпки пунктиром указывали на скорый Москва – Красноярск, который только что прогремел. Вы представляете, говорил он, она его уже протолкнула в нужник, а он еще на пуповине висит, а поезд катится. Ужас! Небось, кровью изошла, дура.

Что было делать? По совести, говорил он, надо было похоронить мальчика (это был мальчик) и, ну хоть турик какой, над ним сложить. А вдруг эта бабенка попалась бы, тогда ведь могли дело намотать. Подумал, не позвонить ли на дистанцию,* но передумал: до нее 22 км, лишние для них беспокойства; его же и обругают, что шум поднял. Вот и решил он оставить все как есть, только тряпки подобрал да сжег. К вечеру от трупа и следа не осталось. Лисы утащили.

Шел 1959 год, мне было 15 лет, уже второе лето я проводил в геофизической партии. Надо заметить, что взрослые в партии были, в общем, случайными геофизиками. Все они закончили ускоренные геофизические школы-двулетки, которые в конце 1940-х годов во множестве расплодились в СССР в связи с урановой проблемой.

Самым взрослым среди моих геофизиков был инвалид войны, веселый человек М.В. Ромайкин, он меня опекал. О своем участии в войне он рассказывал так: «Ночью привели нас на передовую, спрыгнули мы в окопы, утром по свистку из окопа выпрыгнули, я пробежал пять шагов, тут меня будто кто по плечу хлопнул, и я лег. С тех пор я веселый, потому что живой. Но жалею, что мне снесло правое плечо, а не левое». Действительно, его правая рука висела на мышцах и сухожилиях, с уродливой пустотой на

* Дистанция пути – структурное подразделение железной дороги, ответственное за содержание пути в рабочем состоянии.

месте плечевого сустава.

Мы двигались тогда по нефтепроводу Гуймазы – Омск вдоль Транссиба, метрах в 10–15 с его северной стороны. День за днем, километр за километром, мы замеряли блуждающие по трубе нефтепровода электрические токи. Квартировали то у лесников, то у обходчиков, однажды – даже у заведующей сельпо в поселке Шумиха.

Я ее запомнил, потому что в сельпо случилось редкое событие – ей привезли большую бочку пива, из которой она налила моим геофизикам по литру «неженатого» пива. «Поженить», то есть разбавить пиво, было ее главной заботой и ее заработком. «Я пиво женю последняя, – приговаривала она. – На облбазе его женят и в райбазе женят. Но разливаю я по-честному». «Разливать по-честному тебе нетрудно, – бурчал Ромайкин. – Оно же у тебя почти не пенится».

На другой день перед сельпо толклись сотни мужиков со всей округи. У каждого одна-две пол-литровые банки. Которые с бидонами, тех она отсылала: «Читай, коли грамотный» и тыкала пальцем в объявление «На вынос не отпускаем».

Работа наша была немудреная и нудная – измерять разность потенциалов между трубой нефтепровода и землей. На нефтепроводе каждые 5–10 км есть бетонный колодец, в котором труба обнажена, и можно подсоединить к ней нужные проводки. Сидя рядом с колодцем, надлежало каждые 10–15 секунд в течение двух-трех часов записывать показания вольтметра. С этим делом справлялся один из нас. Остальные бродили по лесам – кто по грибы, кто дичь пострелять.

Лето было в меру жаркое и влажное. Леса вдоль трассы, можно сказать, дышали жизнью. Точнее, не леса, а «околки» – так в тех местах именуют густые, протяженные рощи разных грибных специализаций: березовые, осиновые, еловые околки, производившие, соответственно, подберезовики, подосиновики, абабки и белые.

В один солнечный августовский день за нами увязалась собачонка лесника, у которого мы квартировали, собачонка неказистая, но умелая охотница. С ее помощью и под водительством Ромайкина я подстрелил своего первого рябчика. Вечером я рябчика гордо сварил и съел, хотя в рябчике и так-то есть нечего, а этот к тому же был истерзан мелкой дробью.

В другой день мы насобирали целую гору грибов, корзинку за корзинкой вываливали грибы на тент, расстеленный под железнодорожной насыпью. Пыхтевший мимо тепловоз издал веселый свист, из кабины высунулся машинист, тыча в эту гору обеими руками, и прокричал восторженно: «Них@я себе!» В самом деле, красивая была гора, на треть малиново-красная благодаря подосиновикам.

Под руководством лесничихи мы крупно порезали грибы, она высушила их в печи до каменной крепости. Когда в последних числах

августа я уезжал в Москву, эти грибы заполняли чуть не половину моего рюкзака.

Я ехал из Омска скорым поездом Пекин – Москва. При свете дня поезд миновал все вышеописанные и не описанные, но пройденные нами места. Проезжая мимо хозяйства Пафнутия, я думал, что пишу для ума, которую этот поезд оставит между рельсов, Пафнутий не сможет прочесть из-за иероглифов.

Со мной в купе ехали два вьетнамца, жилистые, темно-обветренные ребята, которые казались ненамного старше меня, а в действительности, как я сегодня понимаю, им было лет под 40. По-русски они на свой лад произносили только два слова – «учиться», «комсомол» и одну фразу: «школа профсоюзов». Получалось, что они – комсомольцы, едущие в СССР учиться в школе профсоюзов.

Напомню, что в то время Вьетнам уже лет пять как освободился от французских колониалистов. Хо Ши Мин еще полон сил и вот-вот учредит «Народный фронт освобождения Южного Вьетнама». Определенно, мои попутчики ехали учиться военному делу для задуманной Хо Ши Мином большой войны в Индокитае.

6. Южный Урал, или чем пахнет маленькая атомная бомба

Я пишу это в апреле 2022 года. Заканчивается второй месяц русской агрессии в Украине. Путин грозит применить тактическое атомное оружие. Вторя ему, глупые люди в России, как о чем-то рутинном, толкуют о боевом применении маленьких ядерных зарядов – мол, подумаешь, фигня, – три – четыре килотонны. Ниже я покажу, что это за фигня такая.

На Южном Урале, между Миассом и Вишневогорском, есть Касли-Иртышская группа озер. Это край среднегорных ландшафтов, водных потоков безмерной прозрачности и сосново-березовых лесов. Богатые леса, богатые горы, минералогическое чудо света (читайте А. Е. Ферсмана).

Здесь берет начало всемирно известная река Теча протяженностью около 250 км, несущая свои воды в систему Исеть – Тобол – Иртыш. В 1948 г. здесь меж озер поставили завод по производству оружейного плутония (ныне ПО «Маяк»). С 1948 г. отходы плутониевого производства, включая высокорadioактивные отходы, сливались как раз в реку Теча.

Вскоре река была заражена радионуклидами до такой степени, что десятки тысяч жителей ее долины массово заболели, того не ведая, лучевой болезнью. В перестройку эту историю рассекретили, и все узнали, что, например, в селе Метлино, расположенном в паре километров от завода, хронические лучевые болезни были диагностированы в 1956 году у 64,7% взрослого населения и у 63,2% осмотренных детей.

В бывшем СССР есть множество зараженных радиацией мест, таких, как р. Теча, где и по сей день люди живут, тихо болеют и умирают до срока. И никому до р. Теча не было бы дела, если бы не взрыв. В сентябре 1957 года на плутониевом заводе взорвалось хранилище высокорadioактивных отходов. Позже это событие назвали Кыштымским взрывом.

Именно этот взрыв должен быть нам интересен, потому что в существенных своих чертах он похож на взрыв сверхмалой атомной бомбы – из тех бомб, какими грозятся Путин & Co. Поэтому рассмотрим его подробнее в действии и в последствиях.

Кыштымский взрыв выбросил суммарно 740 ПБк (петабеккерелей) радиоактивности, столб взрыва достиг высоты 2 км. Для сравнения: взрыв Хиросимской бомбы был воздушным, менее радиоактивным (311 ПБк), но более мощным (столб взрыва достиг стратосферы).

Основная масса (90%) Кыштымского выброса осела в радиусе 1–2 км от места взрыва. Рядом располагались бараки военных строителей, вооруженной охраны и концлагеря. Обитатели барачков, общим числом 5100 человек, все были на месте, так как был выходной день, воскресенье, и почти все были поражены радиоактивностью летального уровня: 70+ рентген в час в течение не менее 11 часов.

Десять процентов выброса (аэрозоли и пыль) были отнесены ветром и осели на поверхности Земли в виде вытянутой на северо-восток полосы шириной 5–10 км и длиной до 300 км на площади 23 000 кв. км с населением 270 000 человек. В головной своей части эта полоса накрыла и без того проблемную территорию в верховьях реки Теча.

На этот раз новые радионуклиды проникли во все пищевые цепочки животных и человека. И сегодня, 65 лет спустя, долгоживущие стронций-90 и цезий-137 продолжают быть вредоносными. В частности, стронций-90, родственник кальцию по химическим свойствам, способен замещать кальций при строительстве костей. И тогда детские кости становятся радиоактивными, и собственный скелет ребенка облучает его изнутри.

В Перестройку (в 1989 г.) эту историю рассекретили, но по инерции продолжали врать и лукавить. Вот, например, что говорил на парламентских слушаниях в ВС СССР 18 июля 1989 года некий «шпынь лукавый» – Л. А. Булдаков, зам. директора Института биофизики Минздрава СССР, академик АМН:

«В течение трех лет постоянно, систематически мы следили за здоровьем людей. Не удалось, к счастью, зафиксировать ни одной формы лучевой болезни».

Но на слушаниях в 1990 г. прояснилось, что хроническая лучевая болезнь все же была диагностирована у 935 человек, из которых 217 уже умерли к тому времени: «Показатель общей смертности... на 17–23,6% выше, чем у не облучившихся жителей тех же административных районов».

Но и это не полная правда, а полуправда. В данной реляции опущены 5100 жертв основного выброса – в частности, 1002 заключенных концлагеря. Известно только, что их эвакуировали последними. На «Маяке» (я был там в 1993 г.) многие считали, что этих эков просто отвезли подальше в лес, огородили колючкой и бросили умирать.

Еще много чего случилось в этой истории, плюс еще много-много чего доселе не бывшего, когда взорвалась Чернобыльская АЭС. Но я на этом остановлюсь и подведу итог.

По силе ударной волны, проникающей радиации и радиоактивному заражению Кыштымский взрыв можно классифицировать как заглубленный взрыв сверхмалой атомной бомбы мощностью порядка 0,1–0,2 кт, усиленной «грязным» компонентом.

Если Путин & Со взорвут такую бомбу, то в эпицентре взрыва сгинет все живое, ветрами разнесет радиацию на сотни, а то и на тысячи квадратных километров. Само собой, противная сторона нанесет ответный удар. На той и на этой стороне облученное население обезумеет в панике. Последуют новые удары... И так далее. И так далее. В конце цепи «и-так-далий» – миллионы квадратных километров радиоактивной пустыни с вымирающим населением. И некому будет прервать эту цепь.

Но, кажется, недавно в Украине обозначился новый, настоящий, очень действенный фактор сдерживания влюбленных в войну душегубов, а именно: НЕОТВРАТИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЗМЕЗДИЯ. Не прошло и трех дней после резни в Буче, а уже стали известны виновные – номера воинских частей и имена исполнителей. Кажется, теперь душегубы должны быть на грани ужаса осознания того, что анонимность им не светит.

Значит, тотальная электронная прозрачность временами переходит на службу добру. И душегубу теперь не отвертеться: его настигнет месть загубленных им людей.

В 2003 г. шпынь лукавый Булдаков издал книгу «Радиоактивное излучение и здоровье». В пику теории А.Д. Сахарова о «непороговых эффектах» он продвигает «горметическую» теорию малых доз, согласно которой при дозах излучения, превышающих фон в 10–100 раз, средняя продолжительность жизни якобы возрастает, частота злокачественных новообразований падает, а фертильность растет.

Бред! Нормальный гамма-фон на территории России равен 10–20 мкР/ч. Фон в 100 раз больше – это 1–2 тыс. мкР/ч – полезная, по Булдакову, мощность излучения. Побудьте под таким излучением неделю-другую, и рак чего-нибудь вам обеспечен.

Мне понравилось, как в голливудском боевике *“Edge of Darkness”* («Возмездие» в русском дубляже) отец (герой Мэла Гибсона) мстит мерзавцу, по приказанию которого была отравлена радиоактивным молоком его дочь. Он скрутил мерзавца и принудил его выпить это

отравленное молоко.

Я бы напоил Булдакова «целебным» молоком коз с пастбищ в верховьях реки Теча.

7. Страна-второгодница

В нынешних российских школах второгодников, вроде бы, нет. Никудашные ученики есть, а второгодников нет. То ли их куда-то прячут, то ли силком перетягивают из класса в класс. А в прежней советской школе институт второгодничества не только существовал, но и процветал. В народное хозяйство он поставлял чернорабочих, в МВД – охранников, в КГБ – сексотов*; само собой, второгодниками наполнялся и мир уголовников.

В моем детстве были два второгодника, с которыми я дружил. С одним мы сидели за одной партой в первом классе. Алик Чернышов был смысленный, но учиться не желал. Когда он перерос одноклассников на три года, его переправили в «ремеслуху» – в ремесленное училище при Окружной ж/д, там он должен был выучиться на слесаря-ремонтника вагонов. Но из него вышел не слесарь-ремонтник, а вор-домушник. К 16 годам он превратился в страшноватого низкорослого берсерка. Когда мы с ним сталкивались, этот берсерк хрипел «здорово» и радостно склабился. Вскоре он пропал из виду. Бывало, как кого ни спросишь: «А где Алик Чернышов?» – отвечают: «Сидит».

Второй мой второгодник – сосед по дому Слава Солопейкин. Если Алик был смысленный, но ленивый, то Слава был усердный, но тупой. Он очень старался, но ничего у него не получалось. Просидев по два года в каждом классе, с первого по четвертый, он ушел куда-то в кулинарию. В 1970-х мы случайно столкнулись с ним на Неглинной, я шел на Кузнецкий мост в книжный, а он на работу. Я спросил: «Куда?», уверенный, что он ответит, что он банщик Сандуновских бань, которые там рядом. Но нет. Он объявил, что идет в «Метрополь», где служит в ресторане «завбаром на инвалюту», то есть заведующим валютным баром для иностранцев.

Сегодня общеизвестно, что гостиница «Метрополь» была в то время гадюшником КГБ. Там, в частности, гэбисты отравили В. Войновича в 1975 году.** Надо полагать, Славиному усердию там нашлось применение. Первое, что приходит на ум, – что они приспособили этого недотыку добавлять «снадобья» в напитки клиентов. Не исключено, что и ему самому в конце концов подсыпали что-нибудь такое.

Мне приходит в голову, что Россия, которая всю новейшую историю ходит по кругу, раз за разом заново проходя плохо выученные уроки

* Сексот – секретный сотрудник. Жаргонное обозначение стукача, доносчика, осведомителя НКВД/КГБ в каком-либо коллективе.

** См.: Владимир Войнович. Происшествие в «Метрополе». Быль, похожая на детектив.

модернизации, эта Россия – хоть она и большая страна, но тоже злостная второгодница.

Все войны XIX–XX вв. Россия проигрывала, даже если в конечном счете одерживала победу. Конечная же победа, если случалась, то давалась таким напряжением сил, которое нацию обескровливало.

Свои большие войны Россия замысливала как прорыв обороны противника, вторжение в его тылы, окружение и разгром наголову. Но всякий раз выходило наоборот – сокрушительное поражение и пленение ее собственной армии.

И каждый раз, получив жестокое доказательство своей глупости и отсталости, она бросалась ликвидировать отсталость, не понимая, что сначала надо бы поумнеть. А чтобы поумнеть, надо высвободить творческие силы нации. Но ведь дурак не способен осознать свою дурость.

Вот они, эти войны: Восточная, она же Крымская (1853–56); Русско-Турецкая (1877–78); Русско-Японская (1905–1906); Первая мировая (1914–18), Финская, она же Зимняя (1939–40); Великая Отечественная, которая стала так называться после того, как Сталин со своими генералами все просп@л, причем дважды! – в 1941 и 1942 годах. Нельзя не вспомнить и Афганское десятилетие (1979–89), и войны между Израилем и арабскими армиями под водительством и при активнейшем участии Советской Армии.*

Нечего и говорить, что нынешняя Русско-Украинская война – из этого же дурного ряда. Получается, что чем бы эта война ни закончилась, Россия должна опять остаться на второй год. Засучить рукава, задрать штаны и пуститься вдогонку за упущенным временем.

Но, увы, это невозможно, ибо подъем страны теперь уже нечем оплатить. Таким образом, у России с «группой товарищей» во главе уже нет шансов выбраться из-под глобальных санкций. Даже во второгодники ее не примут.

8. Иерусалим, Город Давида

В Иерусалиме к стене Старого города с юга почти примыкает «Город Давида» – национальный археологический парк. На этом месте находился настоящий древний Иерусалим, тот самый, который завоевал Давид, где Соломон любил своих 800 жен и возвел Первый Храм. Город располагался на хребте между оврагом Кидрон (с востока) и оврагом Терапеон. Кидрон с тех пор не изменился, а Терапеон давным-давно засыпан заподлицо с окрестными ландшафтами.

Но сначала Ирод I проложил по дну Терапеона тоннель-коллектор для

* В сирийской армии воевали целые подразделения Советской Армии, переодетые под местных. Одного такого воина я встретил в Дагестане в 1974 году. См. «Миллбурнский сборник», № 6, 2016, с. 145.

сброса ливневых вод с Храмовой горы; высота коллектора – в рост человека, длина – 0,8 км. Затем Ирод его засыпал сверху и поверх засыпки намостил дорогу для паломников, шедших от Шилоаха на Храмовую гору. Согласно Иосифу Флавию, по этому тоннелю сотни защитников Храма бежали из Иерусалима в 70 г. н.э.

Недавно археологи расчистили этот коллектор и раскопали Терапеон до глубин 5-7-9 м. Возникло археологическое чудо света, где древние артефакты смыкаются со свидетельствами древних писателей в их абсолютной, стопроцентной подлинности. В 2012 г. его открыли для широкой публики.

Мне этот археологический объект, можно сказать, как родной. Породнились мы с ним в январе 2002 г., когда с коллегами мы электрозондировали площадку над бывшим Терапеоном. То была весьма нервная работа, потому что приставленный к нам для охраны полицейский ровно в 17:00, в момент окончания рабочего дня, нас покидал. И площадку, покрытую паутиной наших проводов, тотчас заполняли арабчата из окрестных домов, и все норовили выдернуть из земли электроды под током, несмотря на уговоры, что это опасно.

По результатам зондирования я построил цифровую модель «подземного» Терапеона. На ее презентации перед авторитетной аудиторией я в числе подземных объектов, фигурирующих в модели, указал, что некий массивный, глубокий, удлинненный объект «похож на крепостную стену». Тут в тишине зала раздался громкий шепот: «Это стена Первого Храма!» Поднялся шум-гам, люди повскакали с мест. Иными словами, случился этакий коллективный катарсис.

Эту модель я анимировал и воплотил в трехминутный видеоклипчик, наивный, но трогательный благодаря музыке сопровождения (3-я часть из Симфонии №3 Брамса). Его показывали потенциальным инвесторам в конференц-зале Города Давида, пока он, наконец, не растрогал одну одержимую археологией американскую леди, и та дала первые 12 млн шекелей на раскопки.

Спустя год Дрор, тогдашний начальник Города Давида, позвал меня взглянуть на первый раскоп, в котором открылся объект “F” из моей модели. Объектом “F” оказались руины дома V-VI в. н.э. на глубине 5-6 м: мозаичный пол, три мраморные ступеньки, выше которых – слой гари толщиной в ладонь, из которого, по словам археологов, во множестве выковыривались наконечники стрел. «Пожар 632 года, – сказали они. – Это арабы пришли».

Я спустился в раскоп, сел на верхнюю ступеньку, закурил, и тут на меня накатила такая странная четырехмерность. Я почувствовал себя как будто среди того пожара 632 года – обонял смешанный запах гари, слышал треск горящего дерева, глухие стуки, крики... Мистика...

На крайнем юге Города Давида расположен библейски знаменитый бассейн Шилоах, он же Силоамская купель. В древности иудейские богомольцы, местные или приезжие, начинали отсюда свой подъем на Храмовую Гору после омовения в Шилоахе.

Здесь среди развалин была найдена каменная плита, некогда встроенная в стену синагоги начала I в.н.э. На плите вырезана греческая надпись, вот ее текст:

Теодот сын Веттена, священник и глава синагоги <то есть раввин>, сын главы синагоги и внук главы синагоги, построил эту синагогу для чтения Торы и для изучения заповедей, а также постоянный двор, и комнаты, и резервуары с водой для нуждающихся из чужих краев, синагогу, которую основали его отцы, старейшины и Симонид.

Текст написан по-гречески, имя раввина тоже греческое: Теодот, или Федот в русском звучании, то есть эллинизированный Натаниэль («данный богом»). Отец его звался римским именем Веттен. Высокочтимый Симонид из числа основателей синагоги – это эллинизированный Шимон.

Следовательно, клиентами Федота и его отца и его деда были люди иудейской диаспоры, исповедовавшие эллинистический иудаизм. Между собой они общались по-гречески, выглядели греками и образом жизни склонялись к грекам. Как видим, уже в I в. до н.э. они утвердились не только в диаспоре, но и в самом Иерусалиме. Веру отцов они блюли свято, но Тору изучали по Септуагинте.*

Тем временем ушли в небытие императоры Тиберий, Калигула и Клавдий, подходил к концу принципат Нерона. Надвигалась эпоха Иудейских войн, после которой с иудейским государством было покончено.

Наступал кризис иудаизма, частично разрешившийся в христианстве. В христианство первыми ринулись как раз эллинизированные иудеи. Они и стали сознательными первохристианами, которых мы видим в роли законоучителей по всей тогдашней ойкумене – вплоть до Армении, Мекки и Медины.

9. Назарет

В Назарете, метрах в 150 выше Малой базилики (Базилика Благовещения), есть католический женский монастырь, скромный монастырь без кармелитских выкрутасов. В январе 2003 г. я с ним тесно познакомился в связи с одним псевдо-археологическим проектом.

Огороженный каменной стеной прямоугольник 30x40 м. Короткую его сторону, выходящую на улицу, образует небольшая двухэтажная церковь с

* Перевод еврейской Библии на древнегреческий язык, выполненный в III-I веках до н. э. в Александрии. Этот перевод стал канонем Ветхого Завета, с которого были сделаны переводы на другие языки.

примыкающей к ней круглой башней звонницы. Имеются еще кое-какие мелкие постройки и монастырский скромный сад с виноградником. Судя по замшелым колоннам и скульптурам, разложенным плашмя вдоль ограды внутри периметра монастырского двора, монахини ведут потихоньку раскопки на территории монастыря и добывают из-под земли античные древности. Да, признались сестры, они под башней «немножко покопали».

От нас требовалось прозондировать сад метра на три вглубь и подсказать, нет ли под садом полезных для монахинь руин, каких-нибудь полостей или пещер. Интересно, что финансировал этот проект не епископат, а некий араб-христианин из местных – очевидно, бизнес-партнер епископа.

Монахини, числом пятеро, – пожилые, темноликие арабки. Говорят по-французски и плохо по-английски. Свое хозяйство мне показывала ключница, угрюмая и коренастая, как каталонская крестьянка.

Две странности бросились мне в глаза. Первая – баскетбольное кольцо, вделанное в стену в тесном проходе, где нельзя не то что в баскетбол сыграть, но даже просто покидать мяч в кольцо. Вторая странность – отдельно стоящий домик с единственной большой комнатой, в которой между выбеленных стен стояли двенадцать аккуратных застеленных малоразмерных кроваток с тумбочками: шесть вдоль одной стены, шесть – вдоль другой. Прямо-таки дежавю: палата в советском пионерском лагере до завоза детей.

Оказалось, монашки привечают здесь детей из бедных арабских семей.

– Дети проводят у нас целый день, играют, читают, едят, спят, – объяснила мне ключница.

– И почему это?

– Сорок шекелей.

– В неделю?

– Сорок шекелей в день! Правда, это очень дешево? Правда ведь?

– *I wouldn't say so.* На сорок шекелей может неделю жить целая арабская семья.

Она обиженно повернулась и пошла к выходу. Я – за ней, догнал и добился признания:

– Деньги за эту благотворительность платят не дети или их родители, а епископат.

И тут, как сказано в одном замечательном рассказе И.Бабея, «предвестие истины коснулось меня».

В конце дня, когда зондирование было завершено и я закончил свою часть работы, интерпретацию, я спросил ключницу, что, мол, это за детишки у вас такие аккуратные, что после себя оставляют все идеально чистым, почти стерильным, как будто они ангелочки. Она обиженно сложила губы в куриную гузку, как это делают все монахини на свете, молча

отвернулась и ушла прочь.

Вот все и объяснилось: и этот домик с девственной палатой а-ля пионерлагерь, и это не-пришей-кобыле-хвост баскетбольное кольцо, – все это бутафория. Если и принимают здесь бедных арабских детей, то не чаще чем раз в неделю. Но бюджет сестры осваивают весь.

Вот, значит, за счет чего живут эти братья и сестры Христовы по всем монастырям на Святой Земле. Главный источник – бюджет епископата, который, в свою очередь, формируется (согласно хозяйственным региональным запросам) непосредственно в Ватикане, во главе финансовой империи которого стоит Банк Святого Духа.

Если же монастырь зарабатывает «на стороне», например продажей сувениров, то делится с епископатом. Плюс, конечно, средства на благотворительность. Если их «сэкономить», то епископат не обижается.

10. Арик из Негева

У меня слабость к скорпионам. Скорпион – это примитивный робот с маленьким набором программ, крохотным процессором и низкой скоростью загрузки. Он медленно загружает и стремительно выполняет свои программы в строгой их последовательности: поиск – преследование – поимка – укол №1 – укол №2 – пожирание – переваривание добычи.

13 ноября 2004 года, аккурат в день похорон Ясира Арафата, я в пустыне Неgev поймал скорпиона. В Израиле обитает несколько видов скорпионов. Этот был скорпион черный, траурный, под стать событию. В честь покойного Арафата я назвал его Ариком.

20 ноября 2004 г. Длина Арика, включая хвост, более 2.5". У меня он живет на полке книжного шкафа в плоской стеклянной банке с приклеенной скотчем этикеткой «Муката» – в память о месте последнего земного обитания Арафата, его резиденции «Мукатта'а» в Рамаллахе.

У Арика повадки землекопа. Когда не спит, он только тем и занят, что перелопачивает грунт в свой Мукате. Ландшафты Мукаты меняются ежесуточно. В частности, сегодня он выстроил горку на переднем плане и лунку на заднем; в лунке он лежит, плоско уложив хвост набок. Вопрос: что это за скорпионьи земляные работы? Неужели то *мятется-стогнет* душа Отца всех палестинцев?

1 декабря 2004 г. Мы с коллегами пару дней работали в Восточной Галилее, жили над южной оконечностью озера Кинерет. В моем коттедже было очень тепло и тихо. Лишь бились в окна две зимние мухи да вялая пчела. Когда я выехал, пчела еще жужжала, но мухи ехали со мной в спичечной коробке. Вечером они были поданы на ужин Арику.

Дальнейшее описание поведения Арика основано на моих неглубоких знаниях анатомии скорпионов и на точность не претендует.

Итак, вспыхнули надглоточные нервные узлы Арика и его подглоточная нервная масса, все восемь глаз вперились в жертву, педипальпы ощетинились, резко раздвинулись клешни-хелицеры, и четыре пары ходильных ног устремили его, невесомого, с грозным пятичленистым хвостом наперевес. Секунда – и жертва захвачена клешнями. Арик замер, пауза десять секунд на перезагрузку программ. Еще минута-другая – и жертва дважды инъецирована ядом кривой, как сабля, иглы на конце хвоста. Опять пауза. И вот хвост плоско-расслабленно уложен набок, парализованная жертва недвижима, зажата клешнями, и жвала заработали!

За считанные минуты мухи были методично зажеваны до последней крошки. Про запас, на будущее он ничего не оставил, в отличие от его тезки.

15 декабря 2004 г. Арик помер. Ничто не предвещало этого, и вдруг он застыл: привстав на ходильных ногах, с раскрытыми хелицерами и боевито поднятым, изготовленным жалить хвостом. Прекрасная героическая поза! Он, можно сказать, помер в атаке – не в пример тезке, которого аллах призвал из больничной палаты парижского госпиталя – опутанного трубочками и проводами, в смертной тоске по поводу того, надежно ли он спрятал уворованные у народа капиталы.

11. Эммаус

28 декабря 2002 года я с коллегами проводил электрозондирование монастырской территории в Эммаусе с целью обнаружения оползневых явлений, из-за которых здание монастыря стало деформироваться. Обычно я подключаюсь к таким работам на финальной стадии – сидя в офисе, расшифровываю, интерпретирую, строю модель и пишу отчет. Но если объект античный или еще древнее, то я присутствую на объекте с самого начала: располагаюсь с ноутбуком где-нибудь в тени и интерпретирую в режиме *online*.

В этом монастыре я сидел в комнатке отдыха, что рядом с трапезной. По комнатке были в беспорядке расставлены полумягкие кресла с разноцветными подушками-думками, на стенах – фотографии Иоанна-Павла II. Из трапезной доносились звон посуды и веселые, громкие голоса, причем и мужские, и женские.

Итак, монастырь кармелитов по соседству с раскопками древнего Эммауса, а еще точнее – учебный центр «Общины Блаженных» (*Community of the Beatitudes*), новой отрасли ордена кармелитов, возникшей лет 30–40 назад во Франции. В этой общине братья и сестры говорят по-французски и на иврите, соблюдают субботу, живут и служат бок о бок, под одной крышей, а может быть и под одним одеялом.

Из встреченных там персонажей четверо очень колоритные – монахиня, монах и два послушника. В конце дня они пригласили меня сотрапезничать. Кушали мы каждый свою еду: они – монастырскую, я – мои бутерброды.

Запивали вином из находящегося неподалеку Латрунского монастыря.

Итак, персонажи.

Сестра Света-Люция. Москвичка лет 35, русоволосая и светлоглазая, слегка сутулая. Выпускница истфака МГУ. «Какая кафедра?» – спросил я. «Новая и новейшая», – ответила она скороговоркой, то есть Кафедра новой и новейшей истории. После университета, потерпев любовную неудачу, она разочаровалась в любви и «пошла в церковь», в православие. Быстро разочаровалась в РПЦ (она брезгливо морщилась, говоря об РПЦ), потом перешла в католичество, три года послушничала где-то во Франции и вот уже два года на Святой Земле исполняет функции привратницы и кухарки в этом учебном центре. Когда выяснилось, что мы с ней из одной альма-матер, она заметно оживилась. Я предложил ей перейти «на ты» и именоваться Светой («как прежде»). «Нет, я Света-Люция навечно!» – это она произнесла по-детски упрямо и даже ногой притопнула.

Сестра Маргерит. Австриячка 32 лет, послушница. Рыженькая, в кудряшках и веснушках, очень аппетитная и очень экзальтированная: «Это так необычно – рождество без снега! И в лесу крокусы цветут! Ах-ах!»; с придыханием рассказала, что любит виноделие, потому что ее папа возделывает лозу и производит вино. Она-то меня и просветила относительно странностей этого монастырского учебного центра, где братья и сестры весело и шумно трутся боками друг о друга: оказывается, все они здесь – «одна добрая семья». Сидевший рядом молоденький розовощекий послушник Эрнст из Чехии энергично закивал: «Да, да, одна семья» и вспыхнул рюмлянцем.

На Эрнста угрюмо зыркнул монастырский ключник, брат Антон. Он – еврей из Ленинграда, прибыл в Израиль после окончания ЛГУ в 1990-м. Покрутился, поколотился и нашел, наконец, свое место в лоне католицизма, в «Общине Блаженных»; они как раз рекрутировали прозелитов. После двух лет послушничества во Франции он осел в Эммаусе. Он очень серьезен, строг и деловит, вся его фактура – рост, ряса, длинное лицо, длинная борода – целиком из иудейских апостолов на картинах Эль-Греко.

Май 2007 года. Я вновь побывал в Эммаусе. Повидал двух из вышеназванных персонажей – сестру Свету-Люцию и брата Антона. Сестра в плохой форме: поседевшие волосы космами, в глазах беспокойство, лицо серое, под глазом фингал. «Что случилось? – спрашиваю. – Какая-то вы беспокойная. Не похоже, что здесь у вас тихая жизнь». Ответ был неожиданный: «У нас здесь духовная жизнь очень непростая». Про фингал говорит: «комар укусил».

А брат Антон в порядке, бодр, энергичен и деловит, как прежде. Мы с ним поддерживаем связь через И-нет по проблеме того оползня.

В июне 2012-го я вновь заскочил в Эммаус и уже не нашел ни одного знакомого лица. Свету-Люцию никто не помнит. На воротах –

привратница-чешка, которая представилась как «невеста христова», прямо так и представилась. Настоятельница новая, теперь это сестра Ребекка, говорит по-английски и на иврите, очень любезная. Брат Антон в отпуске в России, в Санкт-Петербурге.

12. *Frau Wera* и Надя

Надя Ананьева – так звали казахстанскую немку, крупную брюнетку лет сорока. Она работала в 1967–68 гг. в Геохимической экспедиции в Геофизгородке, недалеко от Алма-Аты. Я помню ее командирские повадки в кернохранилище, широкую решительную ее походку, громкий голос, распорядительные манеры.

Мы с моим коллегойлевой Пивоваровым ходили в гости к ее маме, фрау Вере Майер, практиковаться в немецком; у нее был натуральный немецкий, с шипящим берлинским выговором. Мы приносили пирожные и конфеты и пили чай, миленько сервированный фрау Верой. И беседовали. Потом Лева это дело бросил, а я продолжал.

Поначалу фрау Вера к урокам готовилась, и мы с ней чинно обсуждали какую-нибудь книжку. Но постепенно – то ли формальный урок стал ей в тягость, то ли появилась потребность выговориться, – она оттаяла и разговорилась. Я чаще помалкивал. И потихоньку она втянула меня в описания ее непростой жизни.

Она жила с родителями в Гамбурге. В 15 лет она стала свидетельницей бесчинств немецкой пролетарской социалистической революции 1918 года. *“Oh, diese schreckliche böse Matrossen!”** – восклицала она, хватаясь за голову от ужаса.

Следующий эпизод – она работала упаковщицей в берлинской фирме, производившей хирургические инструменты. В мельчайших деталях она рассказывала, как заворачивала в розовую папиросную бумагу и укладывала в изящные коробочки букового дерева, высланные розовой ватой, сверкавшие никелем и хромом пинцеты, захваты, ножницы... «О, это было так красиво... вата розовая... бумажечки розовые... блестящие инструменты...»

По выходным дням она подрабатывала уборщицей в маленьком отеле, где и познакомилась, а потом вышла замуж за русского белоэмигранта Николая Ананьева, старше ее по возрасту и жизненному опыту, симпатичного и обходительного. Она называла его не иначе как *Herr Ananjew* (г-н Ананьев) – не столько из-за разницы в возрасте, сколько потому, что ему, наверно, хотелось держать с нею дистанцию.

В 1926-м у них родилась Надя, а в начале 1930-х *Herr Ananjew* умер – вероятно, от туберкулеза. Незадолго перед смертью он успел получить

* О, эти страшные, злые матросы! (нем.)

советское гражданство, тем самым задав жесткое направление всей дальнейшей жизни жены и дочери.

Как граждане СССР они были интернированы в ночь на 22 июня 1941 г. и посажены в поезд для интернированных, на котором через три месяца прибыли (через Балканы, Турцию, Иран) в Баку. Сразу по прибытии в Баку Вера Майер и Надя Ананьева были арестованы, разлучены на годы, и потянулись для них лагеря, лагеря, лагеря Карлага, прославленной Солженицыным страны Карагандинского Управления лагерей.

К слову сказать, было, кажется, еще два поезда – с интернированными советскими дипломатами и торгпредами. Немцы довели их до Турции, где обменяли на немецких дипломатов из германского посольства в Москве. Нечего и говорить, что из Турции обмененные советские граждане тоже пошли в ГУЛАГ.

У Нади был сын, рожденный в конце 1940-х в лагере от лагерного охранника. Крупный лобастый парень, внешне вполне симпатичный, но гнилой внутри – злобный и развинченный пьяница. Надо полагать, садистические гены его папаши-охранника подавили в нем наследственность немецких бюргеров и русских дворян. В то время, когда я общался с его бабушкой, этот парень уже не работал – не мог работать, потому что беспробудно пил. Деньги на пьянство он выбивал из матери. Как-то раз я слышал, как он, огрызаясь, выматерил ее и рывкнул: «Я не просил меня рожать».

Русский отец Нади вложил в имя дочери надежду, что она будет жить счастливой жизнью на его прекрасной, преображенной родине. А вон оно что получилось из той надежды.

13. Пустыня Кызылкум, пиявки

Пустыня Кызылкум, пос. Зафарабад, в 70 км к северу от г. Навои. От зимних ветров поселок прячется под одинокой горой – с ее западной, подветренной стороны. В мае 1986 года я был здесь в ознакомительной командировке – готовился к большому проекту по созданию некоей системы автоматизированного проектирования добычи урана.

Несколько дней я жил один в коттедже, который года два был необитаем. Спустя год мы этот коттедж обжили, но сначала он был совсем одичавшим – разохматились обои, проржавели водопровод и канализация, разошлись половые доски и т.п. Я поселился в комнате, которая сохранилась лучше других. Сохранность комнаты была важна потому, что через щели в полу проникла в дом страшноватая жизнь земли.

Толстая пыль на окнах, плотная паутина, серые лишайники мышьиного помета. По ночам шорохи, царапанье, теньканье, чьи-то стремительные пробежки через комнату. В целях защиты от опасностей снизу я дустом засыпал щели и обсыпал ножки раскладушки. И все же по утрам, прежде

чем надеть ботинки, я их обстукивал, то и дело вытряхивая оттуда какое-нибудь насекомое. Один из вытряхнутых скорпионов (а к ним, вы помните, у меня слабость) поныне хранится у меня в колбочке, заспиртованный.

В ванной комнате не было раковины, оставалась только ванна. Над ней – проржавевший водопроводный кран. Клов крана не поворачивался, кран не закрывался до конца, и из него тонкой струйкой текла очень жесткая вода из местной скважины. Под струйкой растеклось огромное ржавое пятно, дальним концом исчезающее в сливном отверстии ванны. В пятне под струйкой, как посреди цирковой арены в лучах прожектора, стояли две крупные лоснящиеся темно-коричневые пиявки. Именно стояли на задних присосках и ловили «ртом» струйку воды из крана. Струйка тонкая, осциллирующая, в такт осцилляциям пиявки ритмично покачивались, как будто танцевали.

Они прибыли сюда из септика, до которого по прямой метров сто, не меньше, а если по трубам – то много дальше. Надо полагать, они двигались против течения к истоку чистой воды и вот застыли перед препятствием, как лососи под порогом. Для этих кольчатых созданий септик – малая родина: там комары, а личинки комаров – их пища.

В первый вечер я смыл их водой. Они нырнули в сливное отверстие, но снова явились на другой день и опять танцевали по-стриптизерски. Конечно, я мог бы смириться с ними, как смирился с мышами и пауками. Но танец этих кольчатых червей был столь гадок, что на третий вечер я сыпанул их «персолем», отчего они захлопнулись в лоснящиеся черные шарики и канули в канализации навсегда.

Через пару дней ко мне присоединился Алексей Червоненкис* – как и я, страстный любитель всяких натуральностей. Я расписал ему в красках пиявочный стриптиз – о, как он жалел, что я их турнул! Каждый вечер он заглядывал в ванну в надежде, что они вернулись. Но нет, против «персоля» пиявки не сдожили.

Но скоро у нас появилась пиявка другого рода.

В 1987 году мы начали вышеупомянутый проект. «Мы» – это объединенный коллектив Академии Наук и Минсредмаша, в котором я был одним из руководителей со стороны АН. Была среди нас Таня А., она вела учет бумажных, магнитных и прочих носителей информации – их всегда было много на любом ВЦ.

Таня – молодая женщина примерно 35 лет, небольшого роста, рыжеватая в кудряшках, с маленькими веселыми голубыми глазами на веснушчатом лице. Достаточно общительная и смешливая, чтобы ее

* А.Я. Червоненкис (1938–2014), большой математик, был одним из ключевых сотрудников нашего творческого коллектива. В то время – работник ИПУ АН СССР, впоследствии профессор колледжа *Royal Holloway* Лондонского университета. Его именем назван самый мощный в России суперкомпьютер.

должность «представитель Первого отдела» не настораживала нас – тех, среди которых она этот отдел представляла.

К тому времени Чернобыль уже случился. Средмаш и родственная ему урановая мафия АН СССР продолжали по инерции жить по-старому, но мы торопились и сделали упомянутую систему за девять месяцев вместо трех лет. Надо признаться, тогда случился один из самых счастливо-продуктивных периодов моей жизни.

Поселок Зафарабад принадлежал Минсредмашу и, следовательно, являл собой земной рай. Люди здесь жили тихой жизнью среди комфортного быта, в изобилии промтоваров и еды и с гарантиями будущей безбедной старости на Большой земле. Но после распада СССР предприятие остановилось, поселок перестал быть земным раем и ощетинился казахами, ненавидящими русских. Все, кто мог, побежали на Большую землю.

Одним из первых утек начальник Первого отдела. «На хозяйстве» до самого конца оставался Виктор С., заместитель директора и мой тогдашний аспирант. Перед тем как последним прыгнуть в последнюю шлюпку, он, как положено, сжег содержимое сейфов Первого отдела. Но прежде он заглянул в папки доносов – среди них выделялась «очень пухлая» папка Тани А.

Тогда-то и открылось, что Таня А. и была наша пиявка. В каждом из своих рапортов она цитировала наши высказывания на нерабочие темы с указанием обстоятельств, при которых эти высказывания были произнесены. Почти во всех рапортах неизменно фигурировали два наиболее «разговорчивых» персонажа, Каргер и Червоненкис.

Вот как примерно выглядели эти рапорты (перечисления имен я заменил отточиями в угловых скобках):

...2/IX/1987 Каргер рассказал анекдот про М. С. Горбачева. Присутствовали <...>. Все смеялись...

Я отлучилась в 11:30 на 7 минут. ...говорили про войну между Ираном и Ираком; присутствовали <...>.

Т. сказал: Мы в этой войне заинтересованы, американцы тоже.

С. сказал: Конечно, заинтересованы.

Каргер сказал: Цены на нефть быстро падают, это для нас плохо.

П. спросил: Почему плохо?

Каргер ответил: Потому что не на что будет еду покупать.

4/IX/1987 Весь день разговаривали только про работу... В 16:40 пили чай. Присутствовали <...>. Каргер и Червоненкис передразнивали М. С. Горбачева. Все смеялись.

Т. сказал: В московских магазинах давно нет никакой посуды, а здесь от нее полки ломятся.

С. сказал: Это значит, что в Средмаше хороший посудный главк. Все смеялись.

8/IX/1987 В порядке инициативы я пригласила всех к себе на квартиру в честь праздника... Присутствовали <...>, всего 12 человек...

Каргер пел неприличные антисоветские частушки (не запомнила). Все смеялись. Червоненкис рассказал неприличный анекдот про обезьянку.

Вечеринку 8/IX/1987 я хорошо помню, и частушки помню, и про обезьянку. В г. Навои, в стандартной квартире, в комнате с пианино, мы много ели и много пили – как всегда, разбавленный гидролизный спирт, умягченный клюквой. Танина дочка исполнила «К Элизе» Бетховена. Курить выходили на балкон. Частушки моего сочинения я исполнил в крепком подпитии. Об их содержании можно судить по ключевым рифмам: партбилет – комитет – минет, колхозный – навозный.

Когда все это выяснилось, мы с Червоненкисом и коллегами провели замечательно веселый вечер, вспоминая Таню А. и ее стукаческие выкрутасы. Стало понятно, что многое в ее поведении объяснялось ее заряженностью на шпионство.

Вспомнили, например, что в общей комнате с круглым столом посередине, где проходили наши обсуждения, ее стол находился в углу, и, наверно, половина наших разговоров от нее ускользала. Вдруг она любезно предложила себя в качестве чайханщика (мол, все равно ей делать нечего в течение дня) и перенесла чайник на свой стол. С этого момента она участвовала в каждой чаепитии и, стало быть, все слышала и под предлогом необходимости помыть чашки могла часто выходить, чтобы без спешки записать свежесобранный материал.

Вспомнили, что Таня была еще и провокаторшей. Прикидываясь простушкой, она задавала дурацкие вопросы, вроде такого: «а правда ли, что в России бывают перебои с тем-то и тем-то». Ответы на них она брала на карандаш.

Короче говоря, мы пришли к заключению, что Таня А. обладала ценнейшим умением стукача-провокатора – способностью отстраниться от объекта разработки. Мы в ее глазах были чем-то вроде клинического материала для хирурга.

О, как далеко она бы пошла, кабы не крах СССР!..

...По сообщениям из Узбекистана, Таня А. до самого последнего времени продолжала работать и делать карьеру. Не удивлюсь, если ее дочка пошла по стопам мамы. Как показывает жизнь, чадолюбивые стукачи выводят своих детей в этот мир для того, чтобы подсматривать, подслушивать и любить начальство.

14. Чтобы выжить в летней степи

Южнее Южного Урала лежат Мугоджарские горы. Фактически это мелкопочная, местами каменистая казахская степь. Летом степь раскалена

и колышется в мареве, где все живое стремится зарыться поглубже в тень, в норы. А нам приходилось плыть сквозь это марево многокилометровыми пешими маршрутами.

Чтобы выжить в летней степи, вам надлежит соблюдать следующие правила: носить плотную одежду, сапоги, шляпу, не забывать утром посолиться (съесть круто посоленный ломоть черного хлеба), наполнить фляжку питьем и, главное, – в течение дня пить из фляжки. И чтоб никакой посторонней воды! К тому времени, когда случилась излагаемая ниже история с сайгаками, я эти правила выживания уже твердо усвоил и соблюдал.

Дело было в Мугоджарах под конец лета, в сентябре 1966 года, когда сайгаки собираются в стада и перемещаются на юг зимовать. За стадами сайгаков следуют волки, они подбирают и режут стариков и слабый молодняк.

Однажды в маршруте я шел, как всегда, с сопки на сопку, вверх-вниз, колотил и описывал камни. День близился к вечеру. С вершины невысокой сопки в полукилометре на западе уже виднелась широкая долина, где меня должен был подобрать грузовик. В лучах низкого солнца там можно было разглядеть стадо сайгаков в клубах пыли. Стадо небольшое, голов на сто, перемещалось быстро, явно убегая от кого-то.

Скоро в хвосте стада обозначилась одинокая черная точка. Волк-загонщик!.. Минуты спустя загонщик вдруг отделился от стада и направился в мою сторону. Мой испуг и приготовления к бою я опускаю.

...Выскочивший из-за скального выступа волк оказался большой черной собакой, кобелем. Шагов за десять он пал на брюхо и пополз, скуля и умильно улыбаясь. Услышав ласковые интонации, вскочил и произвел танец восторга. Экстерьер выдавал в нем метиса казахской борзой и немецкой овчарки из охраны лагерей. В анкете, в графе «происхождение», он мог бы написать: «из верных русланов», хотя «Верный Руслан» еще не был написан.

Пес был абсолютный охотник, способный отдать всю свою собачью душу тому, кто разделит бы с ним счастье охоты. Он меня звал. Оглядывался на сайгаков, отбегал, возвращался, заглядывал в глаза, лаял с визгом и подскоком, опять отбегал. «Пошли, не медли, – умолял пес, – я выгоню их на тебя». Отчаявшись, чуть постоял, тяжело дыша, попил моей воды с моей ладони и умчался. Спустя минуты он опять гнал сайгу по степи в надежде выгнать ее на настоящего охотника.

Ближайшей ночью мы устроили автомобильную охоту на сайгаков. Того стада и «руслана» уже в помине не было, но еще много бродило по степи не стадованных особей, так что можно было добыть прокорм для партии на неделю. Замечу, что если бы не сайгачья охота, мы были бы обречены на полуголодную жизнь.

На другой день мы ужинали котлетами из сайгачатины, под которые состоялось обсуждение этой истории.

– Этот твой пес – подобранный потомок волкодавов ВОХРы!* – так высказался Альфред Никитин, сибирский эстонец, потомок тех чухонцев, кого на рубеже XIX–XX веков империя переселила в Красноярский край.

– А хозяева тех волкодавов – гады, сволочи и садисты, – продолжал он. – У таких гадов дети тоже садисты. И внуки будут уроды. Ну и х** бы с ними! Но беда в том, что их миллионы и миллионы! И потому они сильно подпортят мораль своего поколения.

А ведь как в воду глядел Альфред Никитин. Сбылось-таки это его предвидение, не так ли?

Другую метафору – народ как сайгаки, которых гонят на заклатие, – развил Саша С., сложный человек, рожденный матерью-еврейкой от немца-оккупанта. Нам, рассуждал Саша, нравится быть в стаде, но нам не нравится, когда нас погоняют. Мы любим, когда нас на бойню ведет всеми нами любимый вождь или фюрер.

Тут некий московский умник пошутил насчет евреев, которые маршировали в расстрельные рвы, как стадо. Вообще-то, заметил я, среди них были все мои деды и все мои бабки и еще многие, и не твое свинячье дело судить... и так далее. «Замри в трауре!» – вдруг подскочил к умнику Саша.

Полемика завершилась короткой дракой с членовредительством.

15. Одесса

Летом 1955-го мама повезла нас с братом в Одессу. Жили мы на Молдаванке, каждое утро нам полагалось собрать торбу с полотенцами, одеялами и едой, дойти до трамвайной остановки и ехать в лязгающем, дребезжащем трамвае на пляж, в Аркадию или Ланжерон; вечером – тем же порядком обратно.

В моей памяти сохранился соседский мальчик-подросток, который к своим 12 – 13 годам уже имел специальность и был в ней тверд: он был вор, не помню какой «масти». Он ездил на разноцветно украшенном женском велосипеде, сорил рублевками и был весьма уважаем. «У своих ни-ни», – говорили о нем дворовые мальчишки и со значением мотали головами. Имелось в виду, что он честный вор и потому у соседей не ворует.

Второе воспоминание – тараканы в квартире, где мы снимали комнату; тараканы были черные, крупные и неторопливые. И третье воспоминание – наша квартирная хозяйка, хмурая пожилая еврейка в очень толстых очках, ее рассказ о том, как ее вместе с сыном расстреливали. Спаслись они потому, что ров был глубокий, расстрельщиков было мало по отношению к числу

* ВОХР – вневедомственная охрана; военизированная охрана.

одновременно расстреливаемых.

В Одессе говорили, что расстрелы начались вскоре после того, как румынская оккупация сменилась немецкой. Я узнал, что румыны добрые, и проникся к ним симпатией, потому что они не расстреливали евреев, а немцы расстреливали. Сегодня общеизвестно, что румыны тоже приложили руку к «окончательному решению». Но тогда, в 55-м, румыны выглядели не людоедами, как немцы, а добрыми и ленивыми.

Помню, мы сидели у хозяйки за чаем. Темная проходная комната, окна закрыты ставнями. Круглый стол, над ним матерчатый абажур, вдоль стен – кровати; щели между досками в полу, в них как раз прятались тараканы, когда зажигался свет. Тут же сидел тот самый ее сын, бледно-небритый и тоже в толстых очках. Сидел молча и смотрел в стол. Его мать буднично рассказывала их жуткую историю. Моя мама задавала вопросы, тоже без надрыва. Все-таки прошло уже десять лет как кончилась война, эмоции притупились.

Женщина рассказала, как, прижав сына, опрокинулась за мгновение до пулеметной очереди и как потом очнулась среди мертвецов. Услышала мужские голоса, какие-то глухие постукивания. То хлопцы-золотодобытчики добывали золото из еще теплых трупов. Оперирова молотками и щипцами, деловито переговариваясь, они выбивали, вырывали, выкусывали золотые зубы, бусы, серьги, кольца вместе с пальцами, ушами, челюстями. Она сняла с себя все, что на ней было, и отдала им. Потом высвободила сына и ушла с сыном на руках.

Сидя за столом под абажуром, она показывала, как, втянув голову в плечи, снимала кольца, как протягивала их хлопцам. С тех пор я как будто вижу эту картину: измазанная чужой кровью женщина стоит на коленях на окровавленных мертвецах, затравленно смотрит на стоящих над нею мужчин, вооруженных молотками и щипцами, и протягивает им руки с какими-то цацками.

Но там были еще и звуки! Мертвые с хрипом выдыхали, когда труполобы их ворочали. Хлопцы обменивались репликами, скорее всего, в полный голос. Там и сям стонали и звали расстрелянные люди, которым не посчастливилось умереть сразу. И еще запах...

Такая же история случилась с нашей дальней родственницей, которую мы с братом звали тетей Соней, а мама – Софьей Григорьевной. Веселая, ироничная, шумная одесситка тетя Соня, маленькая, краснолицая, очень полная. После войны она с двумя дочерьми поселилась в Москве. Жила недалеко от нас, в Лихоборах. Я ходил в ту же школу, что закончили ее дочери, и каждый день видел на мраморной доске медалистов имя старшей из них – Глейзерман Лиля. Лилю ставили в пример нам и ее младшей сестре Мери, которая училась неважно. Зато Мери была красивая и веселая, а Лиля – сероватая и молчаливая, вечно насуспенная особа. Часто-часто подслеповато помаргивала сквозь очки.

В 1941-м будущая медалистка Лиля стояла на краю расстрельного рва, лицом в ров, спиной к пулеметам. Тетя Соня прижимала ее к себе одной рукой, а пятилетнюю Мери прижимала к груди другой рукой, прикрывала собой. И такой вот крепко обнятой семьей она кинулась вниз за мгновение до пулеметной очереди...

Они не могли рассказывать всего. Мери, рассказывая, задыхалась рыданиями.

У тети Сони их было трое, третьим был мальчик, только что рожденный, грудной. В воспоминаниях, надиктованных Мери в 2000-х, напечатано, что ребенка убил немец-конвоир – выхватил плачущего из рук матери, ударил с размаху о дерево и бросил в костер. В действительности же она просто оставила его в каком-то дворе на лавке и с дочерьми ушла прочь. Расстрел случился потом.

...Нечего и говорить, что там, чтобы выжить, еще требовалось дьявольское везение: надо было, чтобы на тебя попадали мертвые, чтобы расстрельщики не заметили, что ты жива, и не дострелили тебя. И чтобы не завалили тотчас землей. Таких везунчиков были единицы. Большинство, огромное большинство, непредставимой огромности большинство сгинули в кровавой мясорубке без следа.



Марина Кацева – музыковед (Харьковский Институт Искусств, историко-теоретический факультет). Работала в Москве в Союзе композиторов СССР (музыкальный редактор) и в Московской Государственной филармонии (лектор). С 1990 г. живет в Бостоне. Работала в библиотеках двух университетов (*Boston University, Harvard University*). Выступает с лекциями об искусстве на двух языках. В 1992 г., к 100-летию М. Цветаевой, открыла в Бостоне посвященный поэту музей. С 1996 года – экскурсовод в музее изящных искусств Гарвардского университета (*HUMA, Boston, MA*). В 1997 г. организовала «филармонию на колесах» (*“Pro-Arte Tours”*). Автор статей по искусству в российских и зарубежных изданиях. Автор литературно-музыкальных программ (*WMNB, Нью-Йорк*).

Последняя земная дорога Марины Цветаевой

(к 130-летию со дня рождения)

В 1986 году отмечалось 45-летие со дня смерти Марины Цветаевой. Многие тогда потянулись в Елабугу, к месту ее захоронения. Желание побывать там не обошло стороной и меня. Решение поделить трехнедельный отпуск между Тарусой и Елабугой – началом и концом ее жизни – оказалось плодотворным, ибо, не будь сначала моей встречи с цветаевской Тарусой, совсем другой была бы и моя встреча с цветаевской Елабугой.

Таруса

*Жизнь распахнулась, но всё же...
Ах, золотые деньки!
Как далеки они, Боже!
Господи, как далеки...*

Марина Цветаева, 1913.

Путь из Москвы в Тарусу был долгим и утомительным. Однако все дорожные жалобы меркли перед давней мечтой увидеть легендарный городок на Оке, который Цветаева считала своим духовным истоком.

Описывать словами природные красоты Тарусы – занятие неблагодарное. По сей день меня не оставляет чувство, что Таруса – место зачарованное. Тарусу надо видеть, в нее надо вслушаться, ее надо «вдохнуть» – и тогда она воздаст сторицей.

В Тарусе я провела несколько дней, пытаюсь смотреть на окружающее глазами маленькой Марины. Ей было всего полгода, когда профессор И. В. Цветаев снял у города в долгосрочную аренду просторный дом с двумя

террасами, куда в течение последующих шестнадцати лет вывозил на отдых своих четверых детей*.

Его младшие дочери от второго брака, Муся и Ася (домашние имена Марины и Анастасии), родились в Москве, но, став взрослыми, обе не мыслили себя без летней Тарусы. «Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить», – вспоминала потом Анастасия. «Ты дал нам детство лучше сказки», – вторила ей Марина. В течение всей жизни сестры будут постоянно «кликать» свое тарусское детство. Особенно Марина: «Как я люблю свое детство, свое до-семилетие! И как бы я его описала, если бы мне дали!..»

Марина росла строптивым, своевольным и очень ранимым ребенком. Глядя на нее, отец тяжело вздыхал: «Какие способности дала природа этой 13-летней девочке! Как она будет жить с ними? Ей будет очень трудно жить!..»

Не успеет он оглянуться, как этой девочке исполнится восемнадцать и она, втайне от всех, издаст свою первую книгу «Вечерний альбом», в девятнадцать полюбит очаровательного юношу, выйдет за него замуж и в двадцать станет матерью... И никто, никто из окружавших ее людей не мог представить себе, что именно этой девочке выпадет судьба стать самой большой любовью поэтической России XX века и что в центре обожаемой ею Тарусы будет стоять, хотя и с большим опозданием, ее бронзовое изваяние в полный рост.

Опуская описания всего увиденного мной в Тарусе, кратко остановлюсь на двух достопримечательностях, важных для дальнейшего рассказа.

...Гуляя по берегу Оки с двумя влюбленными в Цветаеву тарусянками, пришла я с ними на поляну, в центре которой стояло неприметное строение, напоминавшее сарай. По одну сторону поляны густой лес, по другую – высокий зеленый холм с большим домом на вершине.

– В этом доме жила семья Виноградовых, – сообщили мои гиды. – Марина и Ася дружили с их детьми и часто бывали здесь. Обычно, сокращая обратный путь домой, они кубарем скатывались с того холма прямо к этому домику в центре поляны...

- А что это за домик? – поинтересовалась я.
- Это наша полоскалка, – услышала я в ответ.
- Полоскалка? Впервые слышу это слово. А что такое полоскалка?
- О, в Тарусе это место знаковое! Хотите посмотреть, что внутри?

Я вошла. По двум узким металлическим желобкам тихо струилась вода. Под ее журчанье я услышала одно из давних тарусских преданий.

В середине XVII века в Тарусе разразилась эпидемия чумы. Начался мор.

* Цветаевы были в Тарусе первыми дачниками. Считается, что именно с них у москвичей пошла мода проводить там отдых в летнее время.

Тогда тарусские женщины отправились крестным ходом в Москву искать защиты. На обратном пути в этом месте поляны они увидели забивший родник. Патриарх Никон, возглавлявший шествие, освятил его иконой Божьей матери, и с той поры это место в народе почитается святым. По сей день женщины здесь полощут белье, умываются и набирают ключевую воду для питья.

– И эта полоскалка не изменилась с тех времен?

– Нет, что вы! Это уже когда в Тарусе поселился Паустовский, он сначала обустроил источник корытцами, а уж потом его закрыли от непогоды этим незамысловатым сарайчиком.

Так в моем блокноте появилось новое словечко: «полоскалка». Запомним его.

Вторая достопримечательность – одно из главных мест цветаевского мемориала в Тарусе: «Мусатовский косогор». Его так называют потому, что здесь похоронен художник Борисов-Мусатов. Ни одна экскурсия, посвященная Цветаевой, не обходится без посещения этого места.

Из всей Тарусы маленькая Марина больше всего любила бывать именно здесь. «Есть у меня из всех видений райского сада Тарусы одно самое райское, потому что – единственное...» – вспоминала уже взрослая Цветаева в рассказе «Хлыстовки»*. В ее детской душе это место вызывало необъяснимое волнение. Ей казалось, что здесь начинался вход в какое-то другое царство. Его степенные, пристойные жители и их потаенное жилище буквально завораживали девочку: «Я больше всего любила эту секунду спуска <...> в зеленую, холодную, ручьевую тьму, минования – серого нескончаемого ивово-бузинного плетня, за которым – так это у меня и осталось – все ягоды зреют сразу...»

Как «вкусно» в рассказе описана природа, окружавшая хлыстовское «гнездо»! Но главное – притягивала тайна. Почему всех женщин из этого места на людях называют Кирилловны, а за глаза – хлыстовки? Почему у них нет имен, а только отчество – одно на всех? Почему они никогда не ходят по одной, только по двое? И кто же тот Кирилл, у которого было так много дочерей и ни одного сына?..

Кирилловны часто приходили к ним в Песочное с лукошками, полными ягод. А однажды они пригласили семью Цветаевых к себе на сенокос. С какой теплотой и юмором вспоминает Марина тот визит! Какие счастливые минуты пережила тогда эта необычная девочка!

«Маринушка, красавица, оставайся с нами, будешь наша дочка, в саду с нами жить будешь, песни наши будешь петь...» <...> И обняв, прижав, подняв, поддав – ух! на воз, на гору, в море, под небо, откуда все сразу видно: и папа в чесучовом пиджаке, и мама в красном платочке, и Августа Ивановна в

* В 1961 г. рассказ впервые был опубликован в СССР под названием «Кирилловны» в литературном альманахе «Тарусские страницы».

тирольском, и желтый костер, и самые далекие зализы песка на Оке...»

Когда я читала этот рассказ впервые, мне показалось, что здесь должна была бы стоять финальная точка – но, видимо, последний абзац она дописывала на бумаге, мокрой от слез:

«Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: “Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА”».

И такой камень есть. И взят он из тарусской каменоломни. И лежит он на холме под кустом бузины. И на нем выбиты завещанные Мариной слова. Этот камень – первый и на многие годы единственный памятник поэту на родине, где более двадцати лет ее имя замалчивалось. История этого камня – пронзительная новелла, достойная отдельного рассказа.

В 1912 году Цветаева привезла в Тарусу своего молодого мужа – показать ему тот мир, который на всю жизнь останется одним из главных духовных источников ее творчества. Она писала:

«В Париже и тени моей не останется... – Таруса, Коктебель да чешские деревни – вот места моей души. По ним соберете».

По ним и собираем.

На теплоходе

*Дорога – великая вещь... <...> Перемена ли
квартиры, страны ли – тот же страх: как бы не
было хуже, а ведь бывает – и лучше.*

М. Цветаева. Письмо к А. Тесковой, 1939г.

...Первая остановка теплохода была ранним утром в Угличе. Стоянку объявили на полтора часа. Пассажирам предложили прогуляться. У причала нас уже ждал экскурсовод, и буквально через несколько минут мы оказались на территории знаменитого угличского монастыря...

Вот нам показывают Тронную палату княжеского дворца, Успенскую «Дивную» церковь, «Церковь на крови», под сводами которой окончил жизнь царевич Димитрий... По ходу экскурсии звучат цитаты из Карамзина, из пушкинского «Годунова» ...

А мне вспомнились другие строки:

Димитрий! Марина! В мире
Согласнее нету ваших,
Единой волною вскинутых,
Единой волною смытых

Судеб! Имен!
 Над темной твоею люлькой,
 Димитрий, над люлькой пышной
 Твоею, Марина Мнишек,
 Стояла одна и та же
 Двусмысленная звезда.
 Она же над вашим ложем,
 Она же над вашим тронем –
 Как вкопанная – стояла
 Без малого – целый год...

Имена героев Смутного времени Марины Мнишек и Лжедмитрия не раз звучали в ходе экскурсии, но о Цветаевой не вспомнили. А ведь Марина Мнишек была одной из тех цветаевских героинь, с которой она ощущала мистическую связь по польскому своему происхождению (по матери) и по общности имен:

Марина!
 Тебя пою...
 Славное имя твое
 Славно ношу...

Дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, вспоминает:

«С основными своими темами Марина не расставалась всю свою творческую жизнь, и они, переходя из одной ипостаси в другую, как бы кустились, давая ей все новые ответвления от ее ствола и корней».

Марина Мнишек была одной из таких тем.

В 1919 году Цветаева пишет пьесу «Дмитрий Самозванец» (не сохранилась). Затем, в 1921-м, читая Карамзина, вносит в рабочую тетрадь любопытную запись:

«Чего искала Марина Мнишек?.. Власти – несомненно, но – какой? Законной или незаконной? Если первой – она героиня по недоразумению, недостойна своей сказочной судьбы. <...> С грустью думаю, что искала она первой, но если бы я писала ее историю...»

На этом месте запись обрывается. Видимо, размышления сменились вдохновением: Цветаева создает поэтический цикл под названием «Марина».

...1932 год. По обыкновению просматривая свои старые тетради и увидев прерванную запись, Цветаева продолжает ее, словно и не было в ее жизни тех страшных одиннадцати лет: «...но если бы я писала ее историю, то написала бы себя, то есть не авантюристку, не честолюблицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя – поэта...»

Марина! Димитрий! С миром,
 Мятежники, спите, милые.
 Над нежной гробницей ангельской
 За вас в соборе Архангельском
 Большая свеча горит.

Вернувшись на теплоход, я разыскала помощника капитана:

– Вы не знаете, останавливался ли пароход в Угличе в 1941 году?

– Как же, как же, обязательно останавливался, – ответил он.

– Почему?

– Потому что в Угличе первый технический осмотр парохода после ночи. Конечно, стоянка тогда была короче: война ведь гнала.

– А пассажиры всегда должны были покидать пароход?

– Желательно...

– И пристань всегда была на этом месте?

– Почти, чуть-чуть в стороне, – ответил он.

...Значит, размышляла я, если в 41-м году причал был расположен так же близко от монастыря, то Цветаева могла видеть все то, что видели мы. Экскурсоводов, конечно, тогда не было. Но она в них и не нуждалась. Этот сюжет она прожила сама, и не один раз. Так что, если, сойдя на берег, она смогла заставить себя оглядеться вокруг, многое должно было бы в ней отозваться...

В первую очередь – Пушкин. Зная, как скрупулезно Марина изучала все, им написанное («каждая пометка – как своей рукой!..»), полагаю, что она, конечно, не могла оставить без внимания пометку в пушкинском дневнике 1829 года: «Я уделил ей [Мнишек. – М.К.] только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь».

Бог продлил – на восемь лет. К образу Мнишек Пушкин не вернулся, но его намерение нашло достойное продолжение в искусстве: сначала в музыке (Мусоргский), затем в поэзии (Цветаева). Так что, покидая Угличский монастырь, Цветаева имела полное право повторить за Пушкиным: «...знакомцы давние, плоды мечты моей...»

* * *

*...И звенят-звенят, звенят-звенят запястья:
– Затонуло ты, Степаново счастье!*

М. Цветаева. Стенька Разин

...Долго-долго стояла я на палубе, оглядываясь на суровую красоту древнего монастыря. Когда же он скрылся из виду, то взглянув на темную воду за бортом, я невольно вздрогнула: господи! да ведь это же Волга! Волга, которой Цветаева никогда не видела – и вот сейчас видит в первый и последний раз. И не просто Волга, а та, над которой...

*...ночь и сон –
Расстелили ковры узорные,
И возлег на них атаман с княжной
Персиянскую – брови черные...*

Стенька Разин! Это имя маленькая Марина впервые услышала в Тарусе от странницы, которая...

...прихлебывая квас
Из ковшика, на краешке лежанки
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке...

Потом, когда мать читала дочерям старинную повесть «Ундина» (Фридриха де ля Мотт Фуке в переводе Жуковского), образы Персияночки и Ундины в детском воображении маленькой Марины слились и долгие годы так и жили нераздельно в ее душе. Во всяком случае, работая над поэмой «Стенька Разин», Цветаева не забывает про Ундину. В записной книжке 1919 года появляется подробный план будущего произведения:

«Персияночка Разина и Ундина. Смерть водою. Обоих любили, обоих бросили. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouquieré и у Жуковского). И оба: и Разин, и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, – только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии: “за башимачком”, а Ундина со всей преданностью Любящей и Германии – за поцелуем».

...Поэма «Стенька Разин» принесла Цветаевой первый оглушительный успех. Хотя в бурлящем котле 1917 года к образу Разина обращались и другие поэты («Стенькин сон» М. Волошина), нельзя не согласиться с биографом Цветаевой И. Кудровой в том, что «цветаевский Стенька – особый. Не любил бы он от всей души свою персияночку – и стихов бы цветаевских не было. А вот любит – и губит, сам, своей рукой губит, казня тем и самого себя... И душа <...> будет болеть, пока он жив. Вот <...> где тайна, притягивавшая Марину...»

Имя Разина еще и еще будет всплывать в стихах и прозе, в письмах и дневниковых записях Марины. Так что Стенька Разин – тоже отнюдь не пустой для цветаевского сердца звук... Неужели, когда вглядывалась она в тяжелую воду за бортом, не привиделось ей «дно – цветами, что плат ковровый...», а оттуда, со дна, – «лицо одно, забытое, черноебровое...»?

* * *

А если самое-то мое (откровение сна) и есть – Пугачев?

М. Цветаева. Искусство при свете совести

На следующей остановке, в Костроме, к Разину присоединился еще один сквозной герой цветаевской биографии:

«Вожатого я ждала всю жизнь, всю свою огромную семилетнюю жизнь. <...> Если бы меня, семилетнюю, среди седьмого сна, спросили: “Как

называется та вещь, где Савельич, и поручик Гринев, и царица Екатерина Вторая?» – я бы сразу ответила: “Вожатый”. И сейчас вся “Капитанская дочка” для меня есть то и называется так!»

С какой страстью и с каким аналитическим блеском соединила Цветаева два этих имени – Пушкин и Пугачев – в своем эссе, грандиозном и по замыслу, и по мастерству исполнения! С ними обоими она ощущала не мистическую, как с Мнишек, а вполне реальную связь: «Не по примете же чуждости, а именно по примете родности стучался в меня Пугачев...» – и дальше: «А если самое-то мое (откровение сна) и есть – Пугачев?»

Потом Цветаева идет еще дальше, декларируя, что любовью к Пугачеву ее заразил не кто иной, как Пушкин:

«Пушкину я обязана своей страстью к мятежникам – как бы они ни назывались и ни одевались. <...> Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! – внутри. У поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais l'intention y est – toujours [Но намерение есть – всегда]».

Перечитывая цветаевское эссе, я сокрушалась: как жаль, что в школе мы «проходили» «Капитанскую дочку» по кондовым советским учебникам, а не по Цветаевой! Глядишь, и нам бы открылось, что «дело для нас не в Пугачеве, каков он был или не был, а в Пушкине – каков он был. Был Пушкин – поэтом. И нигде он им не был с такой силой, как в “классической” прозе “Капитанской дочки”».

Так что недаром она называла себя «мятежницей лбом и чревом», а ее стихи называют воистину пугачевским бунтом в русской поэзии.

Так в Костроме, в самом сердце русской вольницы, «встретились» два любимых цветаевских героя: Разин и Пугачев – стихи и проза.

Моей настроенности на спокойный отдых с этой минуты как не бывало. Неожиданные «встречи» с цветаевскими героями растревожили, заставили вспоминать, сопоставлять... В потоке случайных совпадений я начала улавливать некую закономерность. Позднее в книге С.Юрского «Кто держит паузу» я нашла объяснение тому, что происходило со мною на теплоходе. Он пишет:

«Актер <...> может даже не вспоминать о роли (о пьесе), но подсознание само выставляет какие-то неведомые фильтры или щупальца, избирающие необходимый для будущей работы материал в окружающей жизни... – все идет в дело. <...> Начинается пора случайных “совпадений”... Что за чудеса? Кто это одаривает нас такими совпадениями? Да никто. Это мы сами невольно начинаем жить “прицельно”. Мы в непрерывной разведке, в непрерывном напряжении, и “совпадение” – плата за напряжение. Идет отбор и накопление. Сперва невольно, только от знания о предстоящей работе. И когда подсознание переполняется, включается сознание».

* * *

Еду совершенно одна. Со своей душой. Это всегда два: голова и я, вопрос и ответ, внутренний собеседник.

М. Цветаева. Запись в дневнике 17 июня 1939г.

К сожалению, эти строки попались мне значительно позже. А тогда, на теплоходе, во мне отчетливо зазвучали два голоса: теза и антитеза – меж которыми «все рождало споры и к размышлению влекло».

– Мнишек? Самозванец? Разин? Пугачев? До того ли было «одинокому бездомному человеку с трагической жизнью позади и полной беспросветностью впереди»? (В. Швейцер.)

– Но мне так хотелось бы верить, что в предъелабужские дни, неопишуемые по отчаянию, светлые воспоминания могли бы стать проблеском в окружившей ее тьме!

– Это всё «досужие вымыслы любителей выписывать сюжетные восьмерки!» (М. Белкина.)

– Но ведь именно Белкина в книге «Скращение судеб» описывает, как необычно Марина иногда реагировала на «предлагаемые обстоятельства». Вот пример. Прогулка по Воробьевым горам вдоль Москвы-реки. Цветаева мрачна и озлоблена. Но случайно оброненное Белкиной слово «Крым» мгновенно преображает Марину. «И небывалая легкость, беззаботность, безоблачность тех лет, и небывалая синь моря, небывало ясное небо...» – пишет Белкина. И заканчивает: «Жизнь вдруг выдаст от щедрот своих – и поверишь: так будет вечно, так надо, так суждено...»

Это произошло не в 1914-м и даже не в 1919-м, а осенью 1940-го, когда самое страшное в семье Цветаевой уже случилось... Но вот случайно произнесенное слово о том, что дорого сердцу, – и сразу какой свет! В этом – вся Цветаева, с ее удивительной способностью «жить в обратном направлении».

Но если в 40-м году, рассуждала я, жизнь смогла «вдруг выдать от щедрот своих», тогда отчего же не поверить, что «так суждено»? Почему жизнь не могла в последний раз порадовать ее встречами с героями, которых она любила, как любят живых людей?..

– И это когда еще не остыл страх погибнуть под фашистскими бомбежками? (А. Саакянц.)

– Но ведь М. Белкина пишет, что накануне войны, когда уже практически все знали, что не сегодня-завтра она грянет, «перед лицом стылого, заиндевшего окна, <...> с единственной электрической лампочкой... под потолком» Марина читала стихи. И какие стихи!

Но истые пловцы – те, что плывут без цели:
Плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час еще твердят: вперед!

– Это не Цветаева! Это ее перевод! (Уточнение строгого биографа.)

– Знаю! Но Белкина пишет, что Цветаева читала Бодлера, как свое: «И такие это были ее стихи, такое ее видение, ее ощущение, ее восприятие жизни и земного бытия!»

...Так, в состоянии напряженного внутреннего диалога, я едва не пропустила главную природную достопримечательность всего маршрута. Мы подплывали к городу Горькому. Обычно перед остановкой теплохода пассажиры толпились у наружного трапа, чтобы первыми сойти на берег. На сей же раз почти все сгрудились на другой стороне палубы, боясь пропустить знаменитую Стрелку – место, где Ока впадает в Волгу.

Ока!.. – и память тут же услужливо подсказывает строки:

Ах, золотые деньки:
Где уголки потайные,
Где вы, луга заливные
Синей Оки?
.....
Детство верни нам, верни
Все разноцветные бусы, –
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.

Вспомнились ли они ей, не знаю. Мне вспомнились...

Елабуга

А правда – между избой любой – никакой разницы? Те же страхи, сглазы, наговоры, наветы, увозы...

М. Цветаева. Письмо к В. Буниной, 1933

Встречи с Елабугой я, признаюсь, ждала с надеждой, что теперь все совпадения закончатся. Однако я ошибалась: совпадения и тут продолжали настойчиво себя предлагать.

...Елабуга 41-го года. На Мура, 16-летнего сына Цветаевой, после Парижа и Москвы этот захолустный городок произвел гнетущее впечатление. «Гиблое место для нас обоих», – записал он в дневнике.

А четверть века спустя автор книги «Быт и бытие Марины Цветаевой» В. Швейцер увидела Елабугу совсем по-другому. Осенью 66-го года, гуляя по городу, она записала: «Это маленький, очень чистый и зеленый городок, по-провинциальному уютный и какой-то домашний». Однако знание того, что случилось в этом городе с героиней ее книги, входило в явное внутреннее противоречие с благостным восприятием Елабуги. «Я хожу по Елабуге, – продолжает В. Швейцер, – но в голове у меня почему-то все время звучат строки Осипа Мандельштама, обращенные к Цветаевой полвека назад:

Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит быть беде.

Быть беде, быть беде, быть беде...»

Проходит еще двадцать лет. 1986 год. И первое, чем поразила меня Елабуга, – сходством с Тарусой. Заметила ли это сходство Цветаева? Она ведь не раз писала о своей удивительной способности с легкостью мысленно переноситься в искомое место. В Париже ей удавалось «под веками» бродить по своему Трехпрудному переулку; увидев куст сирени или ветку бузины, мгновенно «оказываться» в тарусском саду, а в Чехии, шагая вслед ушедшему поезду, «по шпалам восстанавливать Россию – в три полотнища».

– Но ведь она ехала сюда умирать! (М. Белкина и В. Швейцер.)

– А разве мой вопрос опровергает это? Разве елабужский пейзаж того времени – пыльные проселочные дороги, заросшие травой деревенские улочки, похожие домики-срубы с покосившимися заборами и с узорчатыми деревянными наличниками на окнах (в одном из них она вскоре и поселится) – не мог и ей напомнить любимую Тарусу?..

Так внутренний спор, не дававший мне покоя на теплоходе, неожиданно продолжился, едва я ступила на елабужскую землю, а невидимые «оппоненты» поддерживали его разрывающими душу словами из цветаевских писем и дневников последних лет.

– Я не долго буду жить. Знаю. (Татьяне Кваниной, декабрь 39-го.)

– Я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк... (Записная книжка № 5, сентябрь 40-го.)

– Я сейчас убита, меня сейчас нет, не знаю, буду ли я когда-нибудь... (Е. Сомову, 40-й.)

– Гляжу и вижу одно: конец... (Записная книжка № 7, канун Нового, 41-го года.)

– Как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским!.. (Эм. Казакевичу, июнь 41-го.)

Немудрено, что на таком «информационном фоне» после случившейся трагедии все биографы единогласно сошлись в одном: 8 августа 41-го года, ступив на трап парохода «Александр Пирогов», Цветаева знала, что едет умирать.

Вряд ли сегодня кто-либо решится преуменьшить масштаб горя, обрушившегося на Цветаеву сразу после ее возвращения на родину. Но акцентировать внимание исключительно на трагедии, тенденциозно подбирая цитаты, – это значит неминуемо исказить целостный образ любого человека, особенно такого противоречивого, как Цветаева. Она часто цитировала слова Р.М. Рильке из его «Писем к молодому поэту»: «Чисты все те <чувства>, которые Вас собирают и поднимают; нечисто то – берущее лишь одну – сторону Вашего существа и – так – искажающее».

Цветаева сама не раз сталкивалась со своевольными интерпретациями ее высказываний и поступков, но она никому не прощала даже малейшего передергивания фактов или смысла сказанного ею («...И день и ночь, и письменно, и устно: / За правду да и нет...»). Она всерьез опасалась посмертного искажения своего образа: «Безответственность разлуки и безнаказанность расстояния».

За семь лет до смерти, в 1934 году, Цветаева призналась А. Тесковой:

«Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не-быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком – и изнутри, сами собой – слова завещания. Не вещественного – у меня ничего нет – а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: разъяснение».

Но вернемся к вопросу: так заметила ли Цветаева сходство Елабуги с Тарусой? Прямых фактов у меня нет, но есть косвенные. Когда стали доступны цветаевские рабочие тетради и дневники, я нашла в них записи, вполне допускающие правомерность подобного вопроса. Вот одна (письмо к В. Буниной, 1933):

«...что бы ни было <...> вокруг нас – это всегда будет на поверхности, всегда слой – льда, под которым живая вода, золы – под которой живой огонь. <...> ...бывшее сильнее сущего, а наиболее из бывшего бывшее: детство сильнее всего».

И не Тарусу ли вспоминает Цветаева в том же письме, когда в разгар работы над новеллой «Дом у старого Пимена» спрашивает:

«А правда – между избой любой – никакой разницы? Те же страхи, сглазы, наговоры, наветы, увозы...»

Эти слова написаны в 1933 году, за восемь лет до Елабуги. Они свидетельствуют о том, что «расстояния, версты, мили» не стерли память о детстве, – напротив: лишь усилили ее. Годы спустя это подтвердит первый и главный летописец материнской жизни – Ариадна Сергеевна Эфрон: «Мама не менее, чем новым видам, радовалась узнаванию уже бывшего».

Так почему же не поверить, что в облике Елабуги военного времени Цветаева могла узнать «бывшее» – и даже, может быть, порадоваться этому «узнаванию»?

* * *

*Марина! Свидимся ли мы с тобою
Иль будем врозь – до гробовой доски?*

А. Цветаева. Гармоники неистовые звуки

Хотя Цветаева оплатила багаж до Елабуги, она надеялась остаться с другими писательскими семьями в Чистополе. Однако ей не позволили даже сойти на берег, и она с сыном в составе небольшой группы москвичей проследовала дальше в «пункт назначения», в город Елабугу.

На первые несколько дней их разместили в общежитии бывшего библиотечного техникума, а на четвертый день, 21 августа, все отправились на поиски жилья. В первом же доме – улица Жданова, 10* – Цветаева неожиданно объявила: «Я здесь останусь, никуда больше не пойду!»

Старенький дом, маленькая комната, удобства во дворе... Биографы до сих пор ищут причины столь скоропалительного решения. Я придерживаюсь версии А. Цветаевой. В последней главе «Воспоминаний» она подробно рассказывает, как и от кого узнала о смерти Марины. Долгие годы ей не давал покоя мучительный вопрос: почему сестра не оставила ей даже записки?

Спустя девятнадцать лет Анастасия Ивановна получит от нее прощальный привет в том доме, где случилась трагедия. Хозяйка – последняя, кто видела Цветаеву живой и первая увидела мертвой, – рассказала, что когда она назвала свое имя, Марина переспросила: «Анастасия Ивановна? У меня сестра Анастасия Ивановна». Затем, бегом осмотрев комнату, заявила, что останется тут.

«Так за десять дней до смерти Марина назвала меня», – оканчивает Анастасия Цветаева повествование о тех скорбных днях.

* * *

*Случайность, повторяющаяся каждый раз,
есть в жизни человека – судьба, в мире явлений –
закон.*

М. Цветаева. Искусство при свете совести

Мне тоже хотелось взглянуть на последнее пристанище великого поэта. Сегодня это музей. Я же видела комнату еще без музейного глянца. Железная кровать, кушетка, между ними тумбочка. На стене – зеркало в деревянной раме. Два окна с белыми занавесками. Я попросила разрешения отодвинуть одну: хотелось представить, что Цветаева могла видеть из окна в последние дни жизни. К сожалению, пейзаж не порадовал. В глаза бросилось странное сооружение, похожее на промышленный агрегат. Выйдя на улицу, я поинтересовалась, что это.

Рассказанное окончательно убедило меня в неслучайности совпадений, встреченных на пути... Судите сами:

– В этом месте, – услышала я, – давно забил родник. Елабужане верили, что это святой ключ, и стали приходить сюда умываться и полоскать белье. А наш городской голова Шишкин, отец знаменитого художника, был хорошим хозяином. Чтобы родниковая вода зря не утекала, он придумал

* Улица переименовывалась несколько раз. А. И. Цветаева вспоминала: «Мы пришли на старую улицу, зовущуюся теперь Ворошилова, в дом № 20 (в 1941 году – ул. Жданова, дом 10) ...» Сегодня эта улица носит название Малая Покровская.

это устройство. Говорят, что несколько раз видели, как повесившаяся жиличка (так соседи называли новую квартирантку Бродельщиковых) набирала здесь воду в железную кружку ...

Какое неожиданное «эхо» Тарусы в далекой Елабуге!

Хроника последних дней Цветаевой прослежена достаточно детально, но все же в ней обнаруживается немало расхождений. Например, одни говорят, что Цветаева пребывала в тяжелой депрессии и никуда не выходила. Хозяйка же дома сообщает, что «днем квартирантки дома не бывало, она уходила на целый день». М. Белкина это опровергает: «[она] просто бродила в отчаянии, ничего не видя, ничего не замечая, понимая, что загнана в тупик, что в этой дыре ее погибель...»

А Вадим Сикорский, плывший с матерью на том же корабле, так вспоминал свои встречи с Цветаевой в Елабуге:

«...мне тогда было девятнадцать лет, я ничего еще не понимал; не понимал, что такое Марина Ивановна и почему она отдает мне внимание и время... Может быть, она предчувствовала, предугадывала, что я потом буду писать стихи? Мы много ходили с ней, и она много со мной говорила...»

Наконец, в 1988 году было опубликовано еще одно важное свидетельство – эссе Лидии Чуковской «Предсмертие», в котором подробно описано трехдневное пребывание Цветаевой в Чистополе.

Естественно, у меня возникли вопросы: куда же могла уходить Цветаева на целый день? «По каким камням <...> брести» в отчаянии? Где умудрялась «в этой дыре» отыскивать место для душевных бесед с будущим поэтом?

Из полученных ответов остановлюсь на двух.

Первый. Мне сказали, что Цветаева успела записаться в библиотеку. Когда? Какую книгу (или книги) взяла? Увы, первые биографы, беседовавшие с теми, кто заполнял библиотечную карточку, не задались этими вопросами, а карточку вскоре за ненадобностью выбросили. Надо ли говорить, какой бесценный биографический материал хранился на том клочке бумаги и каким желанным экспонатом он был бы сегодня в любом музее мира!

Зная, как постепенно складывался цветаевский «чешский миф», как часами она засиживалась в библиотеках Праги, зачитываясь книгами по истории Чехии, я пытаюсь представить Цветаеву у книжных полок елабужской библиотеки: ведь зачем-то же она туда пришла?.. И даже рискну взять на себя смелость назвать книгу, которая, по моим представлениям, должна была бы там быть. Имя автора этой книги стоит в ряду знаменитых жителей Елабуги – кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова. Это имя сегодня у многих на слуху, но многие ли связывают его с Елабугой?

Женщина-легенда, первая «русская амазонка» Н. Дурова, выйдя в отставку, поселилась в Елабуге, прожила там свои последние тридцать лет и с воинскими почестями была похоронена в елабужской земле. В Елабуге она писала свои знаменитые «Записки». Из Елабуги переслала свой манускрипт Пушкину, с чьей легкой руки и обрела статус известной писательницы. Копии трех ответных пушкинских писем считаются самыми ценными экспонатами Дома-музея Н. А. Дуровой в Елабуге. Кто знает – возможно, размышления о легендарной судьбе Дуровой, столь восхитившей Пушкина, Марина уже успела внести в свою рабочую тетрадь, которая, увы, до нас тоже не дошла...

Второй. В ранних биографиях Марины Цветаевой Елабуга описывается как унылое захолустье. Но те, кто здесь побывал, не смогут отрицать, что в ее пейзажах, как и в тарусских, всегда была и есть трогательная заповедность.

Допытываясь у старожилов, куда могла уходить Цветаева на целый день, первым услышала место с пугающим названием «Чертово городище». Бывала ли там Цветаева – доподлинно неизвестно. Однако, увидев это место своими глазами, я склоняюсь к мысли, что она могла туда приходить. Когда? Трудно сказать. Согласно елабужской хронике событий, – скорее всего, в один из дней, предшествовавших поездке в Чистополь. Почему? В этом месте многое «сошлось» из того, что Цветаева любила.

Но сначала – несколько слов о самом месте.

«Чертовым городищем» елабужане называют природную песчаную насыпь над пристанью, незаметно переходящую в огромный холм, – результат неустанной работы ветров прошедших столетий. На его вершине стоит круглая каменная башня с дверным проемом и четырьмя смотровыми окнами – архитектурный памятник XII века, «осколок» древнебулгарской крепости в Прикамье. И башня, и холм – свидетели тысячелетней истории Елабуги. В городской библиотеке собран богатейший краеведческий материал об истории крепости и о связанных с башней известных людях, среди которых упоминается и Пугачев. Башня на Чертовом городище – самая высокая точка Елабуги. С нее открывается незабываемый вид на многие километры вокруг – зрелище неповторимое, захватывающее дух.

Сегодня елабужское Чертово городище – объект культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Для туристов предусмотрены музейные удобства: смотровые площадки, скамейки для отдыха, кафе, сувенирные киоски и даже ресторан. Появились новые строения и монументы. Но главный «экспонат», по общему признанию, – «Лестница тысячелетия», подарок елабужан городу: 365 пологих ступеней, выложенных вручную из природного камня. Всматриваюсь в современные рекламные фотографии и сожалею, что Цветаевой, при ее любви к лестницам, не довелось воспользоваться этим «сооружением». Она признавалась:

«Обожаю лестницу: идею и вещь, обожаю постепенность превозможения –

но самодвижущуюся современную презираю, издеваюсь над ней, бью ее и логикой и ногою, когда прохожу. <...> На все седьмые этажи хожу пешком и даже "бежком"».

Представляю, с какой благодарностью она воспользовалась бы этой лестницей: и ногой – «превозможение»; и логикой – вещь для общей пользы, да еще рукотворная! Тем более что уже в 1934 году она жаловалась в письме А. Тесковой:

«...я, рожденный ходок, стала задыхаться на ровном месте, и с каждым днем хуже. Жаль сердца – хорошо служило».

В 1941-м туристический комфорт здесь не предполагался. Однако вряд ли это могло бы остановить Цветаеву. Напротив. Ведь она считала себя «рожденным ходоком». С детства любила прогулки с отцом по лесному тарусскому серпантину, позже – одинокие блуждания по чешским горам, приносившие ей душевное умиротворение. В любви к пешему ходу Марина признавалась и в стихах (знаменитая «Ода пешему ходу»), и в письмах («Я не люблю моря. Не могу. Столько места, а ходить нельзя», – писала она Б. Пастернаку в 1926 году). Так что, если она все-таки посетила городище и смогла осилить высокий подъем, я уверена, что дорога вверх по узкой извилистой тропинке на фоне завораживающей красоты и без чудолестницы отплатила ей сторицей.

* * *

...Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь – всего...

М. Цветаева. Записная книжка, 1940

Марина с детства питала страсть к местам, окруженным тайной. Они вызывали в ней тот блоковский «тайный жар», который она считала «ключом к своей душе и всей лирике». Она искала его везде – будь то дом в Трехпрудном, родной до «узнавания скрипа каждой двери», или вырубленная в скале рядом с тарусской дачей, наводящая ужас пещера, в которой, по легенде, водились ядовитые змеи и обитал злой разбойник Улай. Вопреки запретам взрослых, маленькая Муся забиралась туда, перебарывая в себе презираемое с детства чувство страха. Потом она напишет:

«Не чуралась я в ночи окаянных мест. / Высоко надо мной торчи, безымянный крест...»

Елабужское Чертово городище – как раз такое место. С ним тоже связаны легенды, способные и сегодня холодить душу. Не случайно у подножия лестницы, ведущей к башне, гостей приветствует скульптура Дракона-Оракула, угрожающе распростершего огромные черные крылья. Легенда гласит, что он прилетал сюда принимать жертвоприношения за свои предсказания.

* * *

... каждый вопрос мне важнее всех остальных, и ответьте, по возможности, на все. Можете совершенно сокращенно, в виде конспекта, пробелы заполню любовью...

М. Цветаева. Письмо к В. Буниной, 1933

Могла ли я предположить, что посещение Чертова городища выведет меня на еще одного значимого цветаевского героя?!

Когда и от кого она впервые услышала «Чертово городище», неизвестно: на пароходе ли, от хозяев ли дома или от случайного прохожего – не суть важно. Важно другое: откликнулась ли она на это название? Отозвалась ли на него ее душа так, как отзывалась на слова «Вожатый» или «Крым»?

Для тех, кто знает, какое место в биографии и в творчестве Цветаевой занимал образ черта, этот вопрос не покажется праздным. Для тех, кто не знает, – краткая «справка».

Для маленькой Марины слово «черт» вмещало целый мир и значило не меньше, чем Трехпрудный, Таруса и Ока. Такие слова Цветаева называла магическими и «ценила не на вес золота, а на вес крови». Подобные слова-заклинания есть у каждого. Были они и у Цветаевой. Ими заполнено все душевное пространство ее детства. Годы спустя, создавая эссе «Дом у Старого Пимена», она напишет о них («Пушкин и Пугачев», 1937):

«...Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим – физически-магические – слова, которые, до того как сказали – уже значат, слова – самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка».

Появление Черта в «генеалогии» цветаевского творчества имеет давнюю и довольно запутанную историю, от начала и до конца придуманную пятилетней Мусей. Позже Марина начнет ее разрабатывать уже сознательно. В результате пристального самоанализа она пришла к заключению, что у истоков ее родословной стояли три равновеликие силы – Мать, Пушкин и Черт. Именно от них она унаследовала тягу к потусторонним силам, героям-мятежникам и бунтарские свойства своего характера («одна – противу всех!»).

Главная сила – Мать – стояла у истоков ее Личности: «От матери я унаследовала все!» У истоков Дара стоял Пушкин: «Не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня». У истоков Судьбы – Черт: «Это была – я, во мне, чей-то дар мне – в колыбель». Безраздельно и властно все три силы завладели сознанием ребенка – и она доверчиво выпустила их сначала в свою детскую фантазию, а потом – и в судьбу...

Кто же все-таки этот «табуированный» герой с традиционно «плохой» репутацией и с отпугивающим именем? Почему Цветаева отвела ему столь важное место в иерархии своих любимых героев? И кто же, наконец, «подбрoсил» его в колыбель будущего поэта? Обо всем этом Марина

поведала в рассказе «Черт».

«Все, что мне суждено было узнать, – пишет Цветаева в Автобиографии, – узнала до семи лет, а все последующие сорок – осознала...» Маринино «до-семилетие» окончилось очень быстро, но с тех пор до конца дней она считала, что все «поэты находятся с демоном в родстве», что у нее «был прямой провод к Черту», что с ним у нее «была своя, прямая, отрожденная связь»...

По мере взросления ощущение присутствия Черта в своей поэзии и судьбе настойчиво требовало осознания. Сначала она сравнила с «маленькими чертями» свои юношеские стихи. Потом – упорно пыталась отыскать «чертов след» в своем семейном древе: не затесался ли в него «какой-нибудь предок-скрипач, продавший черту душу за грош»? Не он ли причина ее мятущегося характера («Я – мятежница с вихрем в крови...»)? Наконец, она прозрела его след в себе-поэте («Жив, а не умер демон во мне!»).

В рассказе, посвященном Мышастому (так пятилетняя Муся назвала своего Черта), автор доходит порой до открытой экзальтации в выражении любви и благодарности к своему герою: «Ты обогатил мое детство на всю тайну...», «Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди...», «Ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной...»

Цветаева называла свои эссе эпизодами из семейной хроники. Однако по мастерству изложения и биографической ценности цветаевский «Черт» выходит далеко за рамки «комментария к детству». Цветаевский «Черт» – это высочайший образец художественной прозы и, одновременно, наглядный пример, как из лабиринта детских воспоминаний, переплетения снов и яви, фантазии и реальности автор постепенно, на наших глазах, шаг за шагом создает захватывающую мифологему нечистой силы.

Творческая взволнованность, которую Цветаева испытывала в момент работы над текстом, ощутима и в ее письмах того периода. В письме к В. Бунинной (1934) – начало работы над вещью – она сообщает:

«Я пишу “Черт” о моем детстве с ним – и согреваю им себя, так что даже не замечаю, что уже два часа пишу с открытым окном».

А оканчивая очерк, с нескрываемой радостью признается, что готовит к чтению на очередном публичном вечере «Черта» своего младенчества, над которым работала с усладой.

Эпиграф – «Связался черт с младенцем» – взят из Пушкина не случайно. Работая над этим эссе, Марина вспоминала, как она, пятилетняя, «лбом в шкаф» зачитывалась своим «первым» Пушкиным; как ребенком полюбила всю его многоликую бесовщину и как только в зрелые годы поняла: Черт в ее колыбели – это подарок Пушкина.

В своей последней статье «Искусство при свете совести» Цветаева утверждает:

«Задумать вещь можно только назад, от последнего пройденного шага к

первому, пройти взрячую тот путь, который прошел вслепую».

Именно так она и создавала всю свою мемуарную прозу.

В 37-м, к столетней годовщине смерти поэта, Цветаева завершает новеллу-воспоминание «Мой Пушкин», которая являет собой финал ее грандиозного мемуарного цикла, не имеющего равных в русской литературе. В этом произведении, как и в «Черте», Марина избирает тот же путь «по обратному следу»: от себя-ребенка к себе сорокапятилетней, теперь уже сознательно соединяя оба истока в неразрывное целое, доказывая, что именно Пушкин «повинен в мятежности ее сердца», что это он через своих «Бесов» (самое любимое пушкинское стихотворение Цветаевой) заразил ее упоением «мрачной бездны на краю»... Она так и пишет:

«...если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав...»

Позже, размышляя обо всем увиденном, я поняла: если мои гипотезы имеют право на жизнь, то можно сказать, что весь последний путь Цветаевой от Москвы до Елабуги проходил в незримом присутствии Пушкина.

...На этом я, пожалуй, остановлюсь и адресую читателя к цветаяевским текстам.

* * *

Тридцать шесть лет назад, когда я бродила вокруг таинственной башни и созерцала красоту, от которой исходили умиротворение и тихий покой, мне вспоминались строки:

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих – лет,
Горбатых – лет...

На старость лет
Собачьих – клад:
Горячих лет –
Прохладный сад...

...Скажи: довольно муки – на
Сад – одинокий, как сама.

...Не тот ли это сад – «Без ни-лица! Без ни – души!» – Цветаева так слезно вымаливала себе «на отпущение души»? Не этого ли уединения она так жаждала всю жизнь? Кто знает: может быть, именно атмосфера покоя, царившая в том месте в те далекие августовские дни, могла расположить

Цветаеву к долгой беседе с будущим поэтом Вадимом Сикорским? Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, о чем они говорили: оба унесли эту тайну с собой. И я снова рискну, в порядке недоказуемой гипотезы, предложить одну из возможных тем, на которую Цветаеву легко могло спровоцировать одно слово. Какое? – Вы уже знаете...

* * *

*Россия моя, Россия!
Зачем так ярко горшишь?*

М. Цветаева. Лучина

Марина Цветаева вернулась в Россию 18 июня 1939 года. На самом же деле ее возвращение началось гораздо раньше. Об этом вся ее мемуарная проза. И. Бродский определил «ретроспективность» цветаевской прозы как необходимое «отступление в доисторию, в детство. ...ибо только оглянувшись и можно перевести дыхание...».

Цветаевские строки из письма к В. Буниной-Муромцевой подтверждают верность этого замечания: «У меня с собой ни одной записи: одна память ... мне важны факты, я хочу воскресить весь тот мир – чтобы все они не даром жили – и чтобы я не даром жила!»

Эту миссию Марина Цветаева выполнила сполна – страстно, щедро и талантливо, как никто другой в русской литературе.

Надо ли вспоминать, на скольких страницах ее стихов и прозы парижских лет оживают «чудный дом в Трехпрудном, / Превратившийся теперь в стихи», или Таруса, где «всегда лето, все лето сразу, со всем, что в нем красного и сладкого, где стбит только войти (но мы никогда не входили!), все тебе в руку сразу: и клубника, и вишни, и смородина, и, особенно, бузина!»

Известно, что возвратившись в Советский Союз, Цветаева хотела поселиться в Тарусе, но ей не позволили те, кто отныне решали судьбу цветаевской семьи. И вот перед самым концом, через сотни верст, «под вёками» – встреча: сначала с Окой, рекой ее детства, а затем – в Елабуге – с образом самой Тарусы! Эти встречи в тех ее жизненных обстоятельствах могли бы стать для нее тем «отступлением в доисторию», которое всегда в трудные минуты помогало Марине «перевести дыхание» ...

* * *

*Боюсь,
Я завтра утром – мертвой встану...*

М. Цветаева. Любви старинные туманы

Однажды, гуляя по берлинскому Луна-парку, Марина сказала знакомой:

«По-моему, в природе нет отдыха. Вот я думаю: когда буду умирать, у

меня будет такое же чувство, как здесь, сейчас, на этом берегу; печали? – торжественности? и весь грохот, и все кружения – позади? – Но ведь это и есть – отдых?..»

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,
На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! –
В неведомого глубь – чтоб новое обрести!

Татьяне Сикорской, плившей на том пароходе, запомнилось, как Марина, подойдя к борту, якобы сказала: «Вот так – один шаг в сторону – и все кончено». Так что это она о себе переводила:

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягôt, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль – и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

* * *

*Там, в небесной вышине,
Кто-то плачет обо мне.*

М. Цветаева.

Марина Цветаева покончила с собой в воскресенье, в последний день лета 1941 года. Улица, по которой везли на кладбище гроб с ее телом, называлась Московская.

По улицам оставленной Москвы
Поеду – я, и побредете – вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, –
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.

Немало людей сегодня сетуют, что никто не провожал Цветаеву в последний путь и что могила ее затерялась. Но ведь и это было ею завещано: «Всю жизнь я только того и хотела: потеряться, раствориться, влиться, как река в море...»

А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем –
Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах...

Распастся, не оставив праха
На урну... Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?..

Могила Цветаевой в Елабуге давно стала местом паломничества. И это она тоже предвидела:

А издали – завяжу ли и Вас? –
 Потянется, растерянно крестясь,
 Паломничество по дорожке черной
 К моей руке, которой не отдерну,
 К моей руке, с которой снят запрет,
 К моей руке, которой больше нет.

* * *

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят...

М. Цветаева. Искусство при свете совести

Елабуга... Почему же все-таки Елабуга? Ведь Цветаевой было совершенно все равно, куда ехать! Яковлеву она просила взять ее с собою в Томск, Лидию Бать – в Ташкент, Лидию Поляк – в Йошкар-Олу («Возьмите меня в качестве домработницы») ... А вышла Елабуга. Почему?.. Не зная, что ответить, мы говорим: такова судьба. И ведь действительно судьба, ибо дорога в Ташкент или Томск не подарила бы ей встречу с прошлым.

Последняя земная дорога Цветаевой представлялась мне как ее прощание с прошлым, неторопливо разворачивавшееся в ее воображении, как при замедленной киносъемке. Она называла это «преувеличенностью в смертный час».

Позднее, выстроив в последовательный ряд все глубинные пересечения и невидимые стороннему глазу связи случайных совпадений, я в какой-то момент начала верить в то, что Елабуга – отнюдь не случайное звено в биографии Цветаевой. И в том, что она нашла свой последний приют именно в елабужской земле, есть некая высшая предопределенность и значимая завершенность всего ее жизненного пути.

* * *

И – главное – я ведь знаю, как меня будут любить (читать – что!) через сто лет!

Из письма М. Цветаевой 17 октября 1924 г.

Минуло полвека, а странные совпадения все продолжают. Последнюю «переключку» Елабуги с Тарусой мне подарил Интернет. Уточняя надпись на цветаевском камне в Тарусе, я обратила внимание, что теперь к нему ведет специальный дорожный знак. На нем крупными буквами написано: «Кенотаф Марины Цветаевой». Я не знала этого слова. Оказалось, что кенотаф – это символическая могила, то есть надгробие, под которым нет останков покойного. Выходит, у Марины Цветаевой есть две символические могилы, два кенотафа: один – в Тарусе, другой – в Елабуге!

Какая удивительная арка, связующая начало и конец жизни великого поэта!

В сознании любящих Марину Цветаеву за Елабугой прочно

закрепилась репутация проклятого места. Не скрою: долгое время и я испытывала к этому городу неприязнь. Однако покидала я его с чувством благодарности елабужанам за то, как достойно вот уже более восьмидесяти лет они несут нелегкое бремя случившейся в их городе трагедии, хотя вины Елабуги в этом нет никакой. Сама Марина оправдала ее словами: «Самоубийство не там, где его видят, и длится оно не спуск курка...»

Каждый волен трактовать одни и те же факты по-разному. Проезжая цветаевской дорогой к месту ее последнего пристанища, одни ощущают только трагедию – личности, поколения, страны; другие вспоминают череду губительных событий эпохи; третьи ищут факты, уточняют даты... Цветаева же мечтала о другом. Она писала П. И. Юркевичу:

«Ни один человек, встретившийся со мною, не должен уйти от меня с пустыми руками. У меня так бесконечно много всего! Умейте только брать, выбирать. Я говорю: "ни один человек"...»

Последний земной путь Марины Цветаевой – самый трагичный из всех ее земных маршрутов – подарил мне уникальную возможность окунуться в неисчерпаемый мир ее души. И даже если мои размышления ошибочны, я не боюсь: ведь меня вела любовь.

Ноябрь 2022



Игорь Мандель – статистик, доктор экономических наук, родился и вплоть до отъезда в Америку жил в Алматы, преподавал статистику в Институте Народного хозяйства, в 90-е годы работал в американских компаниях. В Америке с 2000 года. Занимался статистикой в применении к маркетингу; с 2019 года – президент фирмы *Redviser*. Регулярно публикует научные работы. На русском языке вышли четыре книги иронической поэзии, книга сновидений (в соавторстве) и статьи: <http://z.berkovich-zametki.com/avtory/mandel/>; <http://7i.7iskusstvo.com/avtory/mandel>. Живет в Fair Lawn, NJ.

Российские литературные журналы в военное время

Опыт полевого исследования

*Для торжества за необходимо только одно
условие – чтобы хорошие люди сидели сложа руки.*

Э. Бёрк

В образованных кругах, насколько я могу судить по беседам со своим московским другом, нынче не принято говорить о войне. Эту тему просто избегают, ее не обсуждают даже на кухнях, которые вроде бы никуда не делись еще с брежневских времен, разве что претерпели евроремонт. Если у кого-то есть родственники на Украине – тогда да, можно их пожалеть и вообще затронуть вопрос, а если нет – то нет.

Это характерно. А чего, действительно? Стреляют не в Москве и даже гробы с солдатами приходят не в Москву. Повлиять ни на что нельзя, а вот вляпаться можно. От современных средств слежения уже не укроешься включением воды в кране. А в мощь органов все верят еще сильнее чем лет 80 назад. Так чего обсуждать? И люди живут как привыкли, оправившись после шока первых недель. Что и требовалось доказать.

Ну, а как насчет отрефлексировать? Как знаменитая русская литература, с ее всемирной и всемерной отзывчивостью и таковой же болью о слезинке ребенка? Была какая-то реакция? Все же инженеры человеческих душ; когда как не сейчас нужно их целительное вмешательство? Война, как-никак, пусть и специальная, – о чем еще писать, как не об этом? Даже вон Лев Николаевич подал пример в свое время. Не сводить же все на свете к пропаганде и сиюминутной журналистике?! Конечно, я не жду «Спецоперации и мира» в наши дни (почитаю лет через 50), но как хотя бы насчет «Не могу молчать!»?

Я решил провести простой эксперимент – посмотреть, какова была реакция литературных журналов на русском языке на украинские события; мне казалось, что литераторы, как наиболее продвинутая часть

гуманитарной интеллигенции, должны были сказать свое веское слово по этому поводу. Естественно, многие и сказали – Б.Акунин, В.Сорокин, Л.Улицкая и другие немедленно и безапелляционно заявили о своем полном неприятии войны, равно как Ю.Мориц, З.Прилепин, А.Проханов – о ее категорической поддержке. Но очень интересно было посмотреть не на индивидуальные мнения, а на позиции самих литературных журналов, институциональных носителей разумного, доброго, вечного.

Конечно, престиж нынешних литературных журналов уже совсем не тот, что во время оно; их тиражи – вещь совершенно загадочная, ибо многие вообще отказались от бумажных версий и не сообщают о количестве подписчиков. Но, с другой стороны, а где «престиж» вообще сохранился? В блогах? В гламурных журналах? В газетах? Информационный рынок предельно фрагментирован и по типам источников, и по их влиятельности. Так что я все равно не смог найти замены понятию «литературный журнал» для того, чтобы понять, как самая чувствительная, в принципе, часть общества реагирует на наиболее важные события. Не в пропагандистские же каналы глядеть.

Эксперимент проводился следующим образом. В конце июня – середине июля 2022 года (и частично – в начале августа) я просмотрел доступные на интернете выпуски литературных журналов, выходящих на русском языке как в России, так и за рубежом, за период с февраля до времени просмотра. Множество журналов перечислено в Википедии, хотя некоторые из них давно не выпускаются. Журналов, выпуски которых были по состоянию примерно на середину июля, получилось 50. Конечно, я уверен, что какие-то журналы не попали в поле моего зрения (например, есть множество журналов областного или даже районного уровня), но все же выборка получилась достаточно представительная. Например, в нее вошли все издания влиятельной ассоциации «Журнальный зал» и его портала.

Целью было найти какие-то упоминания о войне – либо в форме заявления редакции, либо в форме опубликованных текстов (как правило, стихов). В принципе, чтобы найти слова поддержки или осуждения, требовалось бы просмотреть весь объем текстов каждого журнала, чего я делать в принципе не мог, так что в данных возможны ошибки упущения (*error of omission*). Если я что-то пропустил – приношу свои извинения соответствующим журналам и буду рад за любые корректировки. Но что обнаружено, то обнаружено, то есть ошибки неверной информации (*error of commission*) в данных нет. Некоторые сомнительные ситуации оговорены ниже. Наибольшее доверие вызывают сведения о соответствующих заявлениях редакций (издателей) журналов; они на виду, их трудно не заметить, и все они опубликованы в первом после вторжения номере журнала. Результаты представлены в нескольких таблицах; номера, в которых публиковалось заявление редакции или само произведение, могут

использоваться для точных ссылок.

Поддержка проявлялась по-разному. В «Сибирских огнях» никаких текстов или заявлений я не обнаружил, но на их сайте постоянно висит георгиевская ленточка в форме Z с тагом #СвоихНеБросаем. Журнал, по уверению редакции, самый старый в России; своих не бросает с 1922 года.

В «Подъеме» опубликовали целую подборку стихов о Донбассе воронежских поэтов, в которой много шедевров, восходящих к самому началу конфликта, таких, например:

Дорогая моя Украина,
Твои песни навеки во мне.
Неужели вернулась руина,
И ты снова во зле и в огне?

И за что ненавидишь Россию?
Рвешься снова к исконным врагам.
Снова к ляхам, тевтонам, к Батью,
К римской вере, к чужим сапогам?
(В. Беликов. Украине. 2014)

Воистину, как любящий отец непутевому сыну, пеняет поэт своенравной соседке в дивных рифмах (я и забыл, что такие еще бывают). Вернись, я все прощу, я же люблю тебя навеки. На хрена тебе ляхи и тевтоны? Как же потянуло тебя снова к Батью (!) с римской верой, как же ты от России-то отвернулась? Вернись, тебе говорю! К родному сапогу, быстро!

В том же журнале – при таком же качестве стихов – скорбь о погибших, которые, в соответствии с законами жанра, превращаются немедленно в героев:

Погиб товарищ Воха...
Война – часть бытия.
Но Вохина эпоха
Жива, как и земля.

Гордится Волноваха
И знает весь Донбасс,
Что честь сильнее страха,
А подвиг – ради нас.
(И. Щелоков. Памяти командира батальона «Спарта» Владимира Жюги с позывным «Воха»)

Да уж, «знает весь Донбасс»... От Волновахи, кажется, ни одного целого дома не осталось. Эпоха все еще продолжается – людей товарищи продолжают убивать.

А вот и поэтически-философское осмысление новых странных нерусских букв, которые так озадачивают публику до сих пор:

V – как вспышка, как выбор пути,
Как возврат к настоящему, к вере,
V – безжалостной мерой отмерить:
Умирать или дальше идти.

Z – как росчерк, как подпись судьбы,
 Как движение зрачка по прицелу
 Между близким солдатским пределом
 И бессилием пошлой толпы.

V и Z – это мой алфавит,
 Две согласных из нового списка,
 Что казалось потерянным – близко,
 При дверях уж тихонько стоит.
 (Д. Чугунов. Согласные. 14.04.2022)

Мне особенно нравится «бессилие пошлой толпы» как контраст «солдатскому пределу» (?) – в этой строфе все согласования нарушены, и так и не ясно, чего это самое Z означает, как не было ясно и ранее. Но поэт в восторге, это его алфавит; соскучился по «потерянному» (чему? миру?) – а вот оно и нашлось. Можно, наконец, пострелять.

Тот же мотив патернализма и «прощения блудной дочери» – в словах главного редактора «Молодой гвардии» В. Хатюшина:

Мы родную отстроим юдоль,
 в нашем сердце родство встрепенется...
 Через мрак, через кровь, через боль
 Украина в Россию вернется

и, прорвав незалежности бред, –
 сможет стать и сильнее, и красивей,
 чтобы, выйдя из мрака на свет,
 вновь, как прежде, назваться Россией.

Тут главное – «незалежности бред». Как Украине в голову могло прийти такое?! Какая такая незалежность?! Нет уж, назад, в «родную юдоль» (классная оговорка или искреннее непонимание того, что «отстроить родную юдоль», да еще и приглашать туда кого-то, – это высшая форма садомазохизма).

А вот и прославленная Юнна Мориц в «Нижнем Новгороде» (почему не в московском каком-нибудь журнале? Ей по статусу вроде положено):

Россия – лежащая, в параличе?
 Донбасс, уничтоженный – весь, вообще?
 Нацисты, чья прет геноцидная власть?
 Россия порвет геноцидную пасть
 Нацизма, его гитлерячьей утробы, –
 Чертовски равны гитлерью русофобы,
 «Угробить Россию!» вопящие мне –
 России, где Бог – на моей стороне.

Тут уже поэтическая выделка получше будет, но текст сводится к настоящему кликушеству, которое просто невозможно анализировать (например, кто когда-то вопил Юнне «Угробить Россию?»).

В таком же стиле советских передовиц, как и вышеприведенные и другие стихи, изображают происходящее в «Русском поле», только в прозе: «С замиранием сердца жители ЛНР следят за освобождением

оккупированных киевскими войсками районов. Каждый день – всё новые и новые населенные пункты Луганщины освобождаются от гнета украинских оккупантов» (А. Чернов. Освобождение). Да уж, «с замиранием сердца» следим мы за уборочной кампанией; долго ждали, и вот опять.

Наиболее капитально к делу подошли на далеких «Берегах» Калининграда – наверно, имя красного героя обязывает. Тут уже излагается высокими устами официальная позиция. (И. Изборцев. Я русский солдат! /Из сборника «ПоЗыVной – Русский».) Куда уж выше, сам Президент сказал:

Я лакец, аварец, чеченец, лезгин...
Я русский солдат, я – непобедим!
От нас не отнимут грядущих побед,
Об этом России сказал Президент!

Провоенная позиция в журнале была заявлена безапелляционно и развернуто. Начал Николай Иванов, Председатель Союза писателей России: «Русские писатели никогда не хвалили войны. Они поклонялись солдату на войне. Но русские писатели никогда и не позволяли топтать наши родовые символы... Уже сейчас приоткрываются тайны. Первая – о деятельности 15 военных американских биологических лабораторий, уже работавших на Украине, подальше от США и поближе к России». «Родовые символы, – говорите, – лаборатории»... Ну-ну...

Продолжил «соловей генштаба» Александр Проханов:

«Там, на переднем крае, сражаются лучшие люди России. Их закопченные лица прекрасны. Их забинтованные головы окружены нимбами. Их позывные звучат как "Отче наш"».

«Лучшие люди России», – говорите... Ну-ну... «Лучшие люди» вообще-то совершают тысячи военных преступлений – хотя, конечно, не по злобе.

Теоретическую основу подвел знаменитый евразиец Александр Дугин:

«1. Патриоты опасаются, что мы можем при каких-то условиях (например, после зачистки территорий ДНР и ЛНР) остановиться. Напрасное опасение. Такую масштабную операцию Москва могла начать только с ясными и не обсуждающимися целями, не зависящими практически ни от чего – вплоть до ядерного шантажа. Поэтому все будет доведено до финальной цели. Любой ценой и в любом формате... 5. Украинцы были, остаются и всегда будут нашими братьями и сестрами. Пусть говорят что угодно. Мы православные восточные славяне с общими корнями, разными поворотами истории и единым будущим. И никто ничего с этим поделат не может. Мы неоднократно расходились, а потом соединялись заново. В разных обстоятельствах и разным образом. Украинцы не враги, они наши. Мы, великороссы, тоже не сахар. И они не сахар. Но их и нас надо уважать. Нам с ними скоро жить в одном государстве. И от этого они только выиграют. И мы должны сделать так, чтобы они и выиграли. Но только от единства, не от

братоубийства».

«Украинцы... всегда будут нашими братьями и сестрами». А у них спросили? Пока что они почему-то называют оккупантов орками... «Вплоть до ядерного шантажа», – говорите? Вполне по-братски.

После некоторых колебаний я решил включить в список издание «Топос», называющее себя «литературно-философским журналом» и выходящее без определенной периодичности онлайн: «Задача журнала – отслеживать таинственные процессы образования новой русской культуры». В ходе «отслеживания таинственных процессов» в марте была опубликована статья с такими, например, словами (С. Иванников. Против информационного хаоса. 08/03/2022):

«Оказавшись на развилке исторической жизни, перед выбором между полноценным, устойчивым развитием, ориентированным на собственные национальные интересы и задачи, и медленным угасанием в составе чуждой нам экономической и политической системы, Россия безоговорочно выбрала первый путь, следование по которому станет началом подлинного национального Возрождения... Военная операция на Украине – кратковременная, хотя и очень яркая фаза значительно более глобального процесса. Самое важное в исторической перспективе – это то, что будет после этой операции. Сегодня, когда конкретные детали будущего еще не ясны, можно сказать лишь об общих очертаниях такого процесса. Модернизация страны будет органично связана с процессами внутреннего развития. Конфликтные отношения с Западом окажутся, вопреки расчетам западных политиков, мощным стимулом для такого развития».

Автор, между прочим, профессиональный философ, преподающий в МПГУ, главному педагогическом (!) ВУЗе России, публикующий весьма изысканные эссе, например о современных художниках. Как видно, он рассматривает «спецоперацию» лишь как отдельный эпизод давно назревшего процесса отъединения России от западной цивилизации. Ни слова о пролитой (в том числе русской) крови, о разрушении мирных городов и так далее. Лишь «очень яркая фаза». Философия, однако. То есть Дугин и Проханов, которые уже много лет позиционируются как воспеватели русского шовинизма, совсем не одиноки. Есть множество философов (без иронии), глубоко убежденных в чем-то подобном, которые нашли, наконец, эмпирическое подтверждение своим теориям об особом пути России и несут эти знания в студенческие массы. Это не просто слепая поддержка действий власти – это куда более серьезное убеждение в правильности выбранного пути, на котором власть, вполне по Гегелю и Марксу, «материализует» высокую идею мыслителей.

Крайне интересно «самоопределение» журнала «Невский проспект» в «Моменте истины» (2022), достойное того, чтобы привести его целиком:

«Журнал “Невский проспект” занимает сторону России в конфликте

между Россией и антироссийской коалицией во главе с США и сторону русской армии как исторической силы, исполняющей волю истории на Украине. Основание: на стороне России историческая правда, сама история и чистая моральная истина.

Указанное основание самоопределения с вероятностью логической ошибки, стремящейся к нулю, доказуемо разумом, мыслящим здраво и без сословно-кастовой ангажированности, ясно видя то вполне логически очевидное обстоятельство, что Pax Americana – это политически сделанная врезка с волей истории пародия на Pax Romana, которая, уже единственно ввиду колониальной и расистской сущности Pax Americana, не считая прочих превышающих всякую интеллигентную меру пороков его, таких как абсолютный цинизм и тотальная ложь в скрижалях Weltpolitik, может быть терпима историей только до определенного момента, и похоже на то, что этот момент настал, а если и нет, то настанет».

Заковыристо пишет журнал, аж за душу берет; рассчитано явно не на доярок и пастухов. Иногда, правда, не вполне ясно, о чем это он. «Вероятность логической ошибки, стремящаяся к нулю!» Это вроде в статистике ошибки куда-то еще иногда стремятся, а в логике стоят себе на месте, пока их не найдут. «Чистая моральная истина!» Круто. Убили более трехсот детей – но моральная истина за нами. А потому что Россия «исполняет волю истории», а против истории с ее волей не попрешь. Ну, попрешь, конечно, если Президент прикажет, а так – нет.

Вообще-то шутки шутками, а когда я читал эти и другие подобные тексты, готовя материал, я чувствовал, что погружаюсь в какую-то неизвестную бездну. Как может быть, что в «самой литературоцентричной» стране мира – как многие любили и любят называть Россию – печатают такие убогие по форме стихи, как будто взятые из подборки типичной советской поэзии «Уткоречь» Дмитрия Галковского, и такие убогие по содержанию тексты?! Особенно поражает это назойливое опровержение народной поговорки: «насильно мил будешь», – утверждают и поэты, и «философы», не спросив заинтересованную сторону и не чувствуя в этом никакой проблемы. Расписываться в любви к украинцам (!), убивая их и разрушая их страну, – это нечто неслыханное. Обычно врага ненавидят, а тут убивают с любовью, по крайней мере на устах.

В этой бездне открываются какие-то тайные щели, какие-то безумные теории, в которых Россия есть единственный свет в окошке в безобразном мире вокруг нее, а наукообразные и культурообразные термины используются для оправдания самых зверских бесчинств. Вылезают какие-то странные факты: например, Председатель Союза писателей России (он один – Союз – или еще есть? А в него входят, например, Виктор Ерофеев или Дмитрий Глуховский?) Николай Иванов (который – см. выше – «не позволял топтать родовые символы»), оказывается, лауреат и премии имени М.Булгакова (?), и премии «Золотое перо границы» (?). Как это

совмещается? Что такое вообще «Золотое перо границы»? Премия ФСБ, которой он тоже лауреат, – понятно; но «границы»?! Словом, мне очень далеко до того, чтобы разобраться в сложнейшей сети современной российской литературы и постичь ее реальные тайны. Вот и стригу вершки. (Журналы провоенной ориентации описаны в таблице 1.)

Таблица 1. Журналы, поддержавшие войну

	Название	Кол. вып. за год	Номер с заявлением	Проверенный выпуск	Место издания
1	Берега	6	2	3	Калининград
2	Молодая гвардия	12	6	6	Москва
3	Русское поле (содружество литературных проектов «Молоко»)	12	5	6	Интернет
4	Нижний Новгород	12	3	6	Нижний Новгород
5	Подъем	12	5	5	Воронеж
6	Сибирские огни	12		6	Новосибирск
7	Топос	365			Интернет
8	Невский проспект*	4	6	6	С.-Петербург

*Издание входит в ассоциацию «Журнальный зал».

В таблице 2 собраны журналы, которые так или иначе войну осудили. Как видно из таблицы, из 15 осудивших только шесть издаются в России, но тем более значимо их независимое поведение.

«Волга» немедленно откликнулась следующим заявлением от редакции:

«Настоящий номер готовился на протяжении более двух месяцев. Большинство текстов, принятых к печати, писалось до печально известных событий; тексты эти из мирного времени и ориентированы на читателя, которого больше нет. Возможно, работы авторов этого номера будут простым напоминанием о более счастливых временах и станут частью литературной истории, а возможно, обретут новый смысл, новое прочтение – если читатели останутся. Что бы ни случилось – так писали, так виделось; а сохранить это – наша задача».

Здесь, как видно, нет прямого осуждения войны, но оно легко прочитывается.

Что-то подобное заявила редакция поэтического журнала «Зензивер»:

«Уважаемые читатели и коллеги! Бумага подорожала в три раза. Цены, как вы хорошо знаете, растут на все. Мы все находимся в очень непростой ситуации. Главное – чтобы скорее наступил мир. Мы все этого хотим».

Пусть заявление начинается с упоминания о ценах, но все же есть и упоминание о мире, хотя комбинация этих двух вещей в коротком тексте как-то не очень впечатляет.

Таблица 2. Журналы, осудившие или как-то упомянувшие войну

	Название	Кол. вып. за год	Номер с заявлением	Проверенный выпуск	Место издания
1	Волга*	7	3	5	Саратов
2	Зинзивер*	6	3	3	Санкт-Петербург
3	Интерпоэзия*	4	2	2	США
4	Неприкосновенный запас*	6	2	2	Москва
5	Новое Литературное Обозрение*	6	2	2	Москва
6	Новый Журнал*	4	2	2	Нью-Йорк
7	Транслит	2	25	26	Санкт-Петербург
8	ЛитTERRАтура	12	4	5	Москва (Интернет)
9	Литературный европеец	12	6	6	Франкфурт
10	Мосты	4		6	Франкфурт
11	Портал «Заметки по еврейской истории» *				Ганновер (Интернет)
12	Эмигрантская лира*	4	2	2	Бельгия
13	Времена*	4		3	Бостон
14	Южное Сияние*	2		1	Одесса
15	Артикль*	2		1	Тель-Авив

*Издание входит в ассоциацию «Журнальный зал».

«Интерпоэзия» была куда более определенной. Предлагая подборку «Поэты Украины. Сквозь толщу огня», редакция заявила:

«Представленные в этом номере стихи поэтов Украины – постоянных авторов “Интерпоэзии” – написаны преимущественно в последние месяцы. Некоторые – до начала трагических событий, некоторые – уже во время. Но и

те, что написаны до 24 февраля, проникнуты предчувствием беды... Сегодня, всего лишь три месяца спустя после начала конфликта, тем, кто оказался по другую сторону линии фронта, уже трудно воспринимать опубликованные здесь тексты только как факт искусства. Поэзия плохо вписывается в черно-белую картину мира, порожденную ненавистью. И хотелось бы, чтобы эти наполненные болью и горечью голоса прозвучали и были услышаны. Чтобы выросшая между народами и культурами стена не полностью утратила проницаемость».

Далее, среди прочих, был помещен такой стих – самая ранняя реакция с украинской стороны на происшедший кошмар:

Дошли вы до рек и кордонов
и сердце мое в кулаке
черны стали ваши иконы
не отбелить в молоке.

Боже, как там у Тычины:
про Киев – Мессию – и высь
что ж мы тех стихов не учили?
теки – мое сердце – сочись

(В. Махно. Пер. А. Штыпель. Война, 24.02.2022)

Редакция «Неприкосновенного запаса», одного из наиболее, наверно, элитарных литературных изданий, сделала следующее заявление:

«Сейчас перед нами, служителями рефлексивных, исследовательских, концептуализирующих муз Каллиопы и Клио, встала тяжелая дилемма. Какие могут быть отвлеченные разговоры в рамках разнообразных социальных наук и гуманитарного знания, когда льется кровь, гибнут тысячи людей, разрушается все то, что еще недавно было (относительно) мирной жизнью? Соблазн замолчать – или обратиться к прямому действию, отказавшись от рефлексии, – велик. Психологически он понятен.

Однако такой выбор, будучи в каком-то смысле легким и даже ожидаемым, ставит под вопрос саму профессию социолога, историка, политолога, философа, экономиста. Нельзя быть, скажем, философом до 24 февраля 2022 года, затем перестать им быть, а потом снова сделаться им после окончания военных действий.

Редакция и авторы “Неприкосновенного запаса” сделали другой выбор. Журнал продолжает работу по крайней мере до тех пор, пока оружие не заставит окончательно замолчать законы, пусть даже стремительно, на наших глазах превращающиеся в условность, ширму. Попробуем с этой точки зрения посмотреть на 142-й выпуск “НЗ”. Этот номер задумывался еще в мирное время, что сегодня накладывает на него отпечаток почти ностальгический. Из сегодняшнего дня все это может показаться утратившим непосредственную актуальность, так как в повестке одно – война. Потому этот выпуск журнала кажется своего рода “посланием в бутылке”, которая приплыла к нам из еще недавних мирных времен».

Примерно в этом же смысле высказалась редакция «Нового Литературного Обозрения»:

«Дорогие читатели! Мы делали этот номер в другое, сложное и рискованное, но тогда еще мирное время. Сегодня все изменилось, и хотя затронутые нами темы остаются актуальными, они все же представляют собой отпечаток того прежнего и уже недоступного нам мира, в котором чтение, дружба, соприкосновение с Другим через текст еще имели значение. Выражая сочувствие и поддержку всем, кто утратил сегодня опоры мирной жизни, оказался вытесненным за пределы своих национальных сообществ, мы не оставляем надежды, что когда-нибудь этот хрупкий мир значимого Другого восстановится, и сообщества разрушенных границ и связей – географические, национальные, дискурсивные – снова обретут общий смысл, язык, пространство сопричастности. Татьяна Вайзер»

Замечу, что оба текста выглядят очень выверенными и продуманными: в них нет прямого осуждения России как агрессора, но по крайней мере слово «война» в первом из них произнесено. Учитывая, что оба журнала входят в состав очень влиятельной группы Ирины Прохоровой «Новое Литературное Обозрение», схожесть их позиций – апелляция к миру, который когда-либо восстановится – объяснима.

Намного резче выступил литературно-критический журнал «Транслит», издающийся с 2005 года в Санкт-Петербурге:

«Зловещий глитч двадцатых чисел второго месяца двадцать второго года очень быстро привел нас к пониманию, что слов у нас, причем сразу в нескольких смыслах, больше не осталось. В наиболее расхожем – их не осталось цензурных. Далее, некоторые журналисты заметили, что выведенными из строя оказались прежние, казавшиеся проверенными годами отдельные лексемы и их сочетания. Практически сразу их не осталось в гражданском смысле – любые протестные высказывания потеряли если не значение, то всякую эффективность, сталкиваясь с грубой и хорошо оплаченной (цифрами) силой и с все более абсурдными законами, менявшими смысл слов на противоположный (как это уже было предсказано в романе, названном, опять же, числом “1984”)».

В конце концов, литература – способ работы со словом, и здесь подчеркнута именно то, что привычный способ грубой силой отнят.

Там же вышел текст Игоря Гулина «О войне, насилии, власти и русской культуре»:

«Моя жизнь крепко связана с русской и советской культурой, у меня мало что есть, кроме этого. Разговоры о ее конце цепляют глаз. От них хочется отмахнуться, потому что ну какая культура – это настолько неважно на фоне смертей. Но отмахнуться не получается: они слишком настойчивы и переходят во внутренний монолог. Все основные позиции здесь выглядят глупо: и (1) русской культуры больше не существует, и (2) великая культура

переживет неурядицы, искусство и государство – вещи принципиально раздельные, и (3) русской культуре требуется ревизия, нужно отделить в ней эмансипаторное от властного, деколонизальное от имперского. Первая позиция мне понятнее и эмоционально ближе всего».

Утверждение для российского журнала сильное: «русской культуры больше не существует» (так же чувствуют многие другие авторы, но обычно живущие за рубежом).

Реакция «Литературы» не была прямой (заявлений я не нашел), но позиция обозначена через публикации украинских поэтов (правда, довоенные) или, например, в таком стихе «иностранный агент»:

То же от плиты тепло,
То же розовое мыло –
Только тонкое стекло
«До» и «после» разделило.
(Г. Вольтская. На маленькой кухне)

«Новый Журнал», старейшее эмигрантское издание, в этом году отметивший 80 лет, в мартовском номере поместил заявление, в котором, в частности, были такие слова:

«Этот номер создавался в один из сложнейших моментов современной истории XXI века, в дни, когда на украинской земле началась война...»

Сегодня мы хотим повторить слова создателей “Нового Журнала”, запечатленные в его первом номере в 1942 году: мы с тобой, Россия, – и это значит: мы против твоих угнетателей; мы будем, как прежде, противостоять большевистскому насилию над нашей несчастной родиной.

Мы с тобой, Украина, в твоём отстаивании своей национальной независимости. Мы с вами, свободные народы, в вашей справедливой борьбе за права человека».

А в июньском номере помещены замечательные стихи, прочитанные на благотворительном антивоенном концерте в Нью-Йорке; привожу фрагменты:

Война меня научила не говорить о потерях.
С живыми лучше. Их можно спасти, по крайней мере.
В живых есть то, что не дает им в траншеях тлеться.
Кажется, вы, атеисты, называете это сердцем.

Я думаю иногда, поймут ли нас наши дети.
Легко для них сердце мое, и раскрыты объятия эти.
Моей любви хватит на всех,
даже на тех, кто думал меня замучить.
Пойду, кстати, напомню им, какая их ждет после смерти участь.
(С. Жадан. Пер. с украинского А. Шпилевского)

пока веду слова к концу строки я
гляжу, как набухают кровью карты:
сегодня русские прорвались в киев!
сегодня русские бомбили харьков!

и не представить, как идут с повинной
на свете том, где свет сегодня резкий,
встречать детей погибших с Украины
толстой и пушкин, чехов с Достоевским
(Г. Кацов. 03.19.2022)

Язык только запинаясь,
отвечая воющей зауемью
на зияющий ужас ясности,
отраженный твоими глазами
нет, не сто, десять тысяч лет назад,
мир, ты так же сегодня чудовищен...
ямб, хорек, амфи-бия... что еще
дыр бул щыр я могу сказать
(М. Эскина. Март–Апрель, 2022)

дом стоит, как эксгибиционист,
демонстрируя свои интимные части
всему миру – кухонные шкафчики,
невывытую посуду в раковине;
нет, это поруганная еврейка,
в разодранной одежде,
идет, спотыкаясь, вдоль улицы,
подгоняемая улюлюканьем, взрывами
хохота/снарядов,
им обоим нечем прикрыть наготу;
сознание/память воспроизводит увиденное
снова и снова
и деревенеет,
я щепка,
я никто.

(М. Эскина, Март–Апрель, 2022)

«Литературный европеец» в мартовском номере поместил «Письмо русских зарубежных писателей», в котором отчаяние от тягостной неизвестности переплетается с историческим оптимизмом:

«Эти строки пишутся, когда Украина еще сопротивляется. “Еще”, потому что никто не знает, будет ли она сопротивляться завтра... Мы, русские зарубежные писатели, с Украиной и теми украинцами, что героически сражаются с превосходящими силами московской орды».

Позднее издатель и главный редактор Владимир Батшев в заметке «Русские и советские (российские)» заявил следующее:

«Опять старая тема, старый вопрос, навязший в зубах – в чем разница.

Да очень простой ответ: мы – русские, живем в Европе, они – российские (советские) выродки, оккупанты, убийцы идут ордой из своей Азии.

Но когда в Украине или в Европе не видят разницы, и станцию метро “Площадь Льва Толстого” (и саму площадь тоже, наверно) в Киеве переименовывают, то я перестаю верить в победу добра над злом. Ибо подобное переименование – победа зла».

То есть здесь не просто категоричное осуждение войны, но и полное

несогласие с культурной политикой Украины – темой, безусловно, острой, но ее я не планирую здесь обсуждать.

В журнале «Мосты», выходящем тоже под редакцией В. Батшева, был опубликован ряд резко антивоенных материалов.

В Портале «Заметки по еврейской истории» печатаются иногда взаимно противоречивые тексты и идут ожесточенные дебаты. Но если, по аналогии с «Литературным европейцем» и «Мостами», рассматривать общую позицию издания, она выглядит как однозначно антивоенная. Первые публикации появились уже в феврале, 25-го (С. Баймухаметов) и 28-го (Э. Грайфер); резко антивоенные статьи публикуются с тех пор постоянно (не удержусь от ссылок на свои собственные или на яркую, хоть и спорную, работу М. Франк-Каменецкого).

«Эмигрантская лира» выступила со следующим заявлением от главного редактора:

«Не скрою, что решение о продолжении издания журнала “Эмигрантская лира” в условиях продолжающейся “специальной военной операции” в Украине далось нам непросто... Казалось бы, нелепо говорить о каком-то единении творческих людей в условиях небывалого разброда и раздора в умах после начала “спецоперации”. Но это только на первый взгляд.

Ничто не объединяет нас сейчас так сильно, как общий язык. Можно сказать и более сильно – русский язык, то единственное, что у всех нас, поэтов и читателей диаспоры и метрополии, осталось общим и незамутненным. Поэтому даже скомпрометированная людьми, далекими от поэзии, идея единства остается нашей конечной целью. Пусть даже не целью, а мечтой. Пускай на каких-то новых принципах, которые предстоит еще определить. Но так или иначе, мы не должны сдаваться и просто обязаны продолжать нашу работу над журналом».

Как и некоторые другие, это позиция весьма осторожная и скорее пацифистская, чем отражающая явную поддержку Украине, но все же какое-то слово сказано, за что журнал и попал в категорию «протестантов».

Куда более внятно позиционирует себя журнал «Времена», на обложке которого написано: «Украина! Мы с тобой в твоей борьбе!»

Журнал «Южное сияние», издаваемый в Одессе, конечно, не мог занимать провоенную позицию. Но поскольку выходит он редко, редакция заявила, что «оставаться в стороне от событий, происходящих в нашей стране, в нашем городе, “ЮС”, до этого момента подчеркнуто внесистемный, разумеется, не может, и в настоящее время идет работа над спецвыпуском журнала, в котором будут опубликованы стихи, проза, публицистика, посвященные войне».

А израильский журнал «Артикль», наоборот, не стремится к немедленной реакции.

«Этот номер начал готовиться совместно с одесским литературным объединением “Зеленая лампа” задолго до трагических событий февраля 2022. Литература плохо пишется под вой сирен, поэтому военные материалы в него почти не попали. И не скоро попадут. Понадобилось около пятидесяти лет осмысления, чтобы Лев Толстой смог написать “Войну и мир”. Быстро реагирует только журналистика, для настоящей литературы нужно время. Писатель носит опыт не на плечах, а в желудке – он успел его переварить».

Хочется спросить – а поэт где носит? Может, где-то выше? По крайней мере множество искренних стихов о войне было написано немедленно после ее начала.

Замечательный московский поэтический сайт *lito.ru* не просто сразу стал печатать антивоенные стихи, но каким-то образом продолжал делать это по крайней мере до 24 августа:

маме не дали выйти
 маму саму убили
 мама теперь под детской площадкой
 в неоттаявшей темноте под корнями качелей
 когда-то ярко и громко
 возносивших в самое небо
 ее чудесного сына
 крест
 мамы Марии
 сделан из пары тоненьких реек
 убийцы
 мамы Марии
 сказали, будто ее убили
 родные дети
 (О. Скорлупкина)

Этот сайт не вошел в обзор как «журнал», но отрадно знать, что он существует!

В таблице 3 приведены журналы, в которых никакой реакции на войну не наблюдалось. Как видим, эта группа – самая многочисленная: 23 наименования (послевоенные номера некоторых журналов на момент моего исследования еще не появились и в таблицу не включены).

Некоторые журналы было затруднительно классифицировать. Например, «Литкультпривет!» – нетипичное издание районного центра в Красноярском крае; прямой поддержки войны в нем не было, хотя по косвенным признакам журнал находится, скорее всего, в рамках господствующей государственной политики: например, районная администрация, которая не может не быть провоенной, преподносит главному редактору его портрет. Но оставляю сомнения в пользу журнала и считаю его «воздержавшимся».

Аналогична ситуация с журналом «Отчий край». В нем тоже не было прямых провоенных заявлений, но так как в журнале печатается

А. Проханов, журнал выдает премию З. Прилепину, – скорее всего, он носит вполне «патриотический» характер. Однако прямых призывов к «убийству через любовь» в духе приведенных выше цитат в нем не наблюдалось, так что он попадает в нейтральную категорию.

Таблица 3. Журналы, никак не отреагировавшие на начало войны

	Название	Кол-во вып. за год	Проверенный выпуск	Город издания
1	Дети Ра	12	3	Москва
2	Дружба Народов	12	6	Москва
3	Звезда	12	6	С.-Петербург
4	Знамя	12	6	Москва
5	Иностранная литература	12	6	Москва
6	Нева	12	7	С.-Петербург
7	Новая Юность	6	3	Москва
8	Новый Мир	12	6	Москва
9	Урал	12	6	Екатеринбург
10	Юность	12	3	Москва
11	Москва	12	6	Москва
12	Наш современник	12	3	Москва
13	Вопросы литературы	6	3	Москва
14	Аврора	6	2	С.-Петербург
15	Волга - XXI век	6	3	Саратов
16	Дальний Восток	12	3	Хабаровск
17	Дарьял	6	1	Владикавказ
18	Север	12	8	Петрозаводск
19	Дрон	2	1	Белгород
20	Литкультпривет!	12	8	Ингаш
21	Этажи	4	2	Москва
22	Отчий край	4	2	Волгоград
23	Литра	3	3	С.-Петербург

Подобная неопределенность, но с другой стороны спектра, наблюдается в журнале «Этажи». Он несравненно более интеллектуален и интернационален; в нем печатались А. Цветков, Б. Кенжеев, В. Гандельсман

и другие авторы вполне определенной репутации, но в заявлении редакции – ни слова о войне. В самих материалах мне удалось обнаружить единственный стих, который можно интерпретировать как антивоенный:

Синее небо горит в огне,
Желтое – стало ратным,
Не «на войне» говорю, «во мне»
Рушится безвозвратно –

Поле, ромашки, свист щеглов
В самом начале лета.
Господи, дай немного слов,
Чтобы как-то все это...
(М. Кабашилова)

Но мне не показалось, что это достаточно убедительно отражает позицию журнала в целом, и я поместил его в нейтральную категорию.

А с другими и таких колебаний не было. Издания, некогда составляющие славу «русского толстого литературного журнала» как уникального феномена – «Новый мир», «Знамя», «Нева», «Юность», «Звезда», – как в рот воды набрали. Войны нет; даже специальной операции, о которой можно было бы хотя бы стыдливо упомянуть, тоже нет. Есть «чистая литература», коей мы и кадим. Символично выглядит появившееся в мартовском номере «Москвы» стихотворение со следующими строками:

Есть высшая правда, есть высшая честь
Не знать жутких тайн мироздания,
И мы рождены, чтоб за стол этот сесть
Для выпивки и блекокотанья.
(М. Попов)

Вот они и не хотят знать жутких тайн перед их носом, «блекокочут» взамен.

Теперь можно свести основные факты в таблицу 4 (четыре вышеназванных журнала с неопределенной позицией в нее не попали).

Таблица 4. Распределение русскоязычных журналов по их отношению к войне

	Всего	%	В том числе русские издания	%
Поддержка войны	8	17	8	22
Осуждение войны	15	33	6	16
Умолчание	23	50	23	62
Всего	46	100	37	100

Наиболее интересен в ней последний столбец: 22% российских журналов войну явно поддержали, а еще 60% о ней умолчали. Эти две группы составляют 84% против тех 16%, которые войну осудили. Если, опять-таки, объединить два журнала («Новое Литературное Обозрение» и «Неприкосновенный запас») в один, учитывая их общего издателя, то доля «протестантов» сократится до 13,5%.

Печальная статистика. Аргумент, что, мол, люди боятся и не высказываются, ибо на них обрушатся жуткие кары, не вполне срабатывает – как видно, боятся не все: журналы никто (пока, во всяком случае) не закрывает. Конечно, если бы они активно печатали антивоенные материалы, ситуация была бы иной. Но даже разовый сигнал (не говоря уже об отчаянной смелости *lito.ru*) о том, что журнал стоит на ясной моральной позиции, мне кажется, многое значит для читателей. Это дает какой-то шанс, что в том далеком будущем, когда жизнь в стране «нормализуется», журнал сможет без большого стыда заявлять о своей миссии.

Но как быть с теми 23 журналами, которые просто промолчали? Как оценить это молчание? Что за ним стоит: страх или сознательный выбор именно в целях «сохранения лица» перед будущими поколениями? Заметьте, что молчат не только «либеральные» «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», но и «почвенники» – «Наш современник» и «Москва» (я, впрочем, сужу об их репутации, за редким исключением, по очень устаревшим данным 90-х годов, когда журналы резко размежевались и когда все ясно понимали, кто есть кто).

Жалкая позиция. Это как пройти мимо хулигана, избивающего женщину, и сделать вид, что ничего не замечаешь. Высшая форма трусости и конформизма. Высшая форма моральной индифферентности – ведь никто не поверит, что журнал «не заметил» войны и ему нечего сказать по этому поводу. Как после этого воспринимать лирику, прозу, публицистику в этом журнале? Если солгали в главном – почему не солгут во всем прочем?

Или читатель и не хочет, чтобы ему напоминали о войне (см. начало статьи), а литераторы, как наиболее продвинутые члены общества, именно это и имели в виду, поняв такое нежелание раньше других? Вряд ли – первый шок был сильным; усталость и отмежевание пришли позже. Значит, массовая трусость. Конечно, можно их судить по принципу «но ведь и не поддержали войну», как некоторые другие, хотя политически это было наиболее выгодно. Можно. Но не уверен, что нужно. По сути, я не знаю точно, что именно стоит за решением промолчать в каждом конкретном случае (это Галич знал хорошо). Представляю себе заседания редколлегий; мудрые речи, аргументы «за» и «против» – и, в подавляющем большинстве случаев, решение премудрого пескаря – «войны нет» и сказать нам по этому поводу нечего; *business as usual*.

И пока кто-то не может не о войне – они, высшая каста вершителей литературных судеб огромной страны, могут:

Попробуй-ка теперь не о войне.
Играет солнце в выбитом окне.
Бездомные зовут на допомогу.
Идет война, с ней ужас, боль и стыд.
Ребенок плачет, значит не убит.
Весна идет, солдат, весне дорогу!
(Р. Маркова. 23.03.22)

И пока для кого-то «нет тяжелей вины, чем быть прохожим», – они лишь отводят глаза в сторону и проходят:

Жизнь порвана надвое – до войны и теперь.
Что дальше, не знаем.
Видишь кадры: орки выбили дверь,
расстреляли людей за сараем.

Мы, живущие вне войны,
тоже страх ощущаем кожей.
Потому что нет тяжелей вины,
чем быть прохожим.
(Р. Маркова, 20.04.22)

И пока для кого-то слова умерли, они продолжают их нанизывать, думая, что слова все еще подлинны.

слово, которое нельзя называть
вспарывает картину мира
польхующим лезвием
ослепительным глитчем
его смертоносный луч
освещает значения старых знаков
находившиеся в тени
так вот что такое на самом деле
«можем повторить»
так вот что такое на самом деле
«у кого правда, тот и сильнее»
(О. Скорлупкина)

Какой хроматографией раззять,
расставить пятна слов; как перестать,
в глухой ночи всемирного психоза,
гармонии подспудного гипноза
наклеивать на разума стекло?
Что есть, то есть. Что было, то прошло,
и масса наших слов мертва отныне.
Нет времени на сорок лет в пустыне.
(В. Фет. Нет времени. 1 мая 2022)

Хорошая литература, к огромному сожалению, не воспитывает нацию, как не воспитывала ее и религия. Первое грандиозное разочарование на этот счет пришло в 1914 году, когда главные европейские державы, сразу после создания своих собственных великих литератур XIX века, принялись с остервенением уничтожать друг друга. Реакцией на это, в частности, стал модернизм, горькое фальшивое лекарство от невылеченной болезни бездумного убийственного конформизма. То, что и он не помог, стало ясно

в тридцатые-сороковые, когда ни изгнание «дегенеративного искусства» из стран тоталитаризма, ни его расцвет в странах демократии не убергли человечество ни от Освенцима, ни от Дрездена. Быть может, мельница и мелет, но очень-очень медленно. В целом за тысячи лет нравы смягчаются, если верить убедительной статистике С. Пинкера. Но какой процент в этом смягчении приходится на изящную словесность – не знает никто; может быть – совсем мизерный.

Однако, как бы то ни было, литература задает какие-то моральные ориентиры для тех, кто хочет на них равняться. Авторы платили за свои тексты огромную цену, часто – самую большую из возможных (недавнее нападение на Салмана Рушди тому последнее напоминание). И поведение писателей и издателей отражает состояние той части общества, которая должна посылать сигнал нуждающимся. Если сигнал не подается – это чрезвычайно много говорит об обществе. «Цену» почти никто платить не хочет – значит, не за что.

Недавние события в Америке, связанные со смертью Д. Флойда, показали, насколько конформистски и беспринципно общество (в частности, научное) может вести себя при малейшем на него давлении (я писал об этом неоднократно). Нынешние события в России показывают, по сути, то же самое, только по куда более важному поводу – по вопросу о жизни и смерти тысяч людей. В этом аспекте русская литература в ее отечественном изводе свое наиболее серьезное за последние три четверти века испытание проиграла с треском. Литературная же русская диаспора, насколько я могу судить, уцелела и продолжает нести «зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры» бескрайнего цифрового мира. Война обнажила и этот немаловажный факт, как и многое другое.

Якобы самостоятельный характер российской литературы заменился, за малым исключением, плоским сервизмом. Свобода личности в который раз скукожилась под давлением государства. Открытость миру в течение последних тридцати лет ни к чему существенному не привела. Народ поддерживает войну. Директор «Эрмитажа» поддерживает войну. Литературные журналы в подавляющем большинстве или молчат, или поддерживают войну. Мне трудно представить, какой именно «жалкий лепет оправдания» будет литературой позднее придуман, чтобы замять отвращение обманутого сына перед промотавшимся отцом. Если сын вообще почувствует себя обманутым, под влиянием той новой литературы, которой его уже начинают потчевать в школе и далее...

Я представляю себе, что этот текст читает какой-нибудь украинец и думает: «О чем это он? Какое мне дело до тонких отличий между литературными журналами в стране, солдаты которой каждый день убивают мирных жителей Украины и разрушают ее города? Да пропади они пропадом с их журналами вместе!» И мне легко понять такую позицию.

Но все же... Проходят годы, десятилетия. Из массы немцев, поляков, украинцев выделяются отдельные лица, попадающие в Аллею Праведников; картинка из черно-белой становится мозаичной и разноцветной, каковой жизнь всегда была и будет. И становится ясно, что старина Бёрк был прав.

* * *

Я благодарен Ларисе Вульфиной, Яне Кане, Евгению Берковичу, Геннадию Кацову, Владимиру Батшеву и Виктору Фету за ценные комментарии и замечания, послужившие повышению точности данного обзора.



Лазарь Мармур – родился в Ленинграде. В 1972 году закончил Кораблестроительный институт. Инженер-механик в области больших грузоподъемных машин. Имеет несколько патентов. Стихи пишет со школьных лет. Посещал литобъединения Давыдова и Горбовского. 30 лет назад эмигрировал в США. Публиковался в различных периодических изданиях. В 2021 году вышла новая книга стихов – «Лестница в небо».

Стихотворения

На этой улице костлявой,
Забытой и людьми, и славой,
Зимой – озябшей, сонной, слабой,
Я прожил много лет.
Мальчишка толстый, неуклюжий,
Я с половиной класса дружен,
Поскольку каждому был нужен
На алгебре ответ.

Как я читал, не зная скуки,
Все, до чего достанут руки!
Библиотечные старухи –
Молись, Господь, за них!
Но жизнь на книги не похожа.
За то, что я не вышел рожей,
Она меня судила строже
Ровесников моих.

Все так и было, так и было,
Все облетело, все остыло,
Остались от бывшего пыла
Лишь звезды в небесах.
Теперь все книжки на экране,
И алгебра давно в тумане,
Как в неоконченном романе
Кукушка при часах.

* * *

Если долго живешь, всем болезням открыт, как ветрам.
Для врачей твои годы – хворобе любой оправдание.
Если долго живешь, ценишь счастье вставать по утрам
И спешить в туалет, как на первое в жизни свидание.

Если долго живешь, разбираешь безгласный язык СМС.
Научившись молчать, к детям больше не лезешь с советами.
Понимаешь с трудом – перемена слагаемых мест
Не изменит итог в толстой книге со всеми ответами.

Если долго живешь, доживаешь до всех неизбежных потерь,
И на похоронах молодые глядят на тебя понимающе.
Если долго живешь, устаешь от неброских утех и потех,
Вспоминая все чаще ушедших родных и товарищей.

* * *

Поэт рождается в любви,
Пускай слепой и безответной.
Бросает Бог блесну: «Лови!» –
И счастлив он монетке медной.

И вожделенье, и позор,
И оскорбленье, и награда,
И взгляд, как смертный приговор...
Ему хватает даже взгляда.

Не экономя, небеса
Подбросят в топку вдохновенья...
Он вскочит ночью записать:
«Я помню чудное мгновенье».

* * *

Неважно, кто был прав, а кто умен,
Кто победил, кто пренебрег победой,
Кто был своим бессилием силен,
Наркотик вдохновения отведав.

Поэтам достаются корешки,
Невидимые сверху трезвым глазом.
Казалось бы – обычные стишки,
Но горло перехватывает сразу.

Памяти Давида Самойлова

Я его уже пережил,
Обошел по годам и датам,
Тоже пенсию заслужил,
Накопив на подкожный жир,
Чтобы сытым и небогатым

Продолжать свой незнатный путь,
Не гарцуя и не рискуя.
Если раньше не смог рискнуть,
То об этом теперь забудь,
По судьбе не своей тоскуя.

Ну а он, не считая лет,
Поднимался все выше, выше.
Им, Поэтам, предела нет,
Там другой необъятный свет...
Он не умер, он просто вышел

За пределы привычной тьмы.
Здесь остались стихи и мы.

Леонардо

Бог любопытства. Он всегда со мной.
Смышленный мальчик с чистыми глазами,
Следить готовый долгими часами
За разговором звезд над головой.

Пространство наполняется душой,
Приобретает глубину и форму.
И больше не дает руке проворной
Минутку передышки небольшой.

Как молния, натянута струна,
И сердце барабанит в перепонки,
И линия ложится тонко-тонко
На холст, на белый лист, на времена.

Лето в январе

1

Заберу океан на память,
Что смогу увезти,
Что он выплеснет мне на паперть
Из зеленой горсти.

На песке разойдется гривой,
Белопенною бахромой,
И тогда я, на год счастливый,
Увезу океан с собой.

2

Там, на Большой земле, снега
И ледяные берега,
Сосульки тонкая серьга,
Примета брошенного дома.

Полночи стылые ветра
Стучатся в окна со двора,
Синоптик сам дрожит с утра.
Зима. Как это все знакомо.

А здесь всегда тепло, светло,
И солнцем вымыто стекло,
И ничего не отцвело,
И полон пляж народу.

Похожи друг на друга дни,
Бездельем сотканы они.
Гневить нам, Боже сохрани,
Прекрасную погоду.

Здесь предвечернее тепло,
А там, как будто бы назло,
С утра все снегом занесло
И не дает надежды.

И выбирай не выбирай,
Там дом, здесь караван-сарай,
И если есть на свете рай,
То он, наверно, между.

3

Как он ворчлив, властитель вод,
Зеленоглазый, белопенный,
И равномерный, и степенный,
Переходящий постепенно
На горизонте в небосвод.

Под теплым небом голубым
Не грех побыть слегка ворчливым,
Катая волны терпеливо
На зависть озерцам сопливым
И прочим лужицам любым.

4

Мы возвращаемся домой,
На север крутятся колеса,
Нас дождь встречает бахромой
Холодной, призрачно-белесой.

Тепло осталось за спиной,
Шум океана, крики чаек.
Там, смены дней не различая,
Мы жизнью тешились иной.

А дом, наш старый, добрый дом,
Уже готов открыть нам двери
И, словно блудным детям веря,
Нас окружить своим теплом.

* * *

Упаси нас, Небо, от вождя,
От толпы, ему вопящей: «Слава!»
Все равно мне – слева или справа.
Упаси нас, Небо, от вождя.

Лысый, пегий – все равно какой,
Челку ли зачесывает набок,
Нищий или охренел от бабок,
Наплевать, мне все равно какой.

Там, где вождь, там правды ни на грош.
Что сегодня правда – будет ложью.
Так он обещаньями обложит –
Позабудешь, что такое грош.

Упаси нас, Господи, от них,
И другим не посылай их тоже.
Жизнь у нас не сладкая, быть может,
Все же лучше, чем вблизи от них.

* * *

Мы живем под боком у войны,
И за стенкой, кажется, стреляют.
Из окна развалины видны,
И дымок от взорванной стены,
Кажется, уже у нас летает.

Мы живем под боком у войны,
Только стенки толще океана.
И, конечно, нашей нет вины –
Все эти развалины видны
В матовом окне телеэкрана.

Мы живем под боком у войны.
И, надеюсь, нас никто не тронет.
Только вот, на что же мы годны,
Если там, без близких и родных,
Девочку убитую хоронят.

* * *

Надо возить крематории за собой
И называть их ласково, например «Ромашки».
Ты не волнуйся, Петька, ты же теперь герой,
Сам генерал написал так твоей мамашке.

А генералу тоже пришел кирдык.
Где они раздолбали его, кто знает.
Все вокруг суки, Петька, от каждого жди беды.
Жрать очень хочется, да старшина гоняет.

Холодно, страшно и не уйти в бега.
Чуть поотстанешь, сразу получишь в рыло.
Местная бабка, чистая Баба Яга,
Нам не дает курей и тычет вилы.



Александр Матлин -

инженер-строитель, специалист по морским портам и водным путям. В Москве публиковал сатирические рассказы и фельетоны в советской периодической печати. В популярной серии «Библиотека Крокодила» вышла его книжка «Выталкивающая сила». Гонорар за нее он истратил в 1974 году на отказ от советского гражданства и выездную визу. Он утверждает, что это были, как говорят в Америке, *“the best things money can buy”*. В США продолжал проектировать причалы и писать рассказы и стихи. Многие из них ходят по интернету, зачастую без имени автора. В 2010 году в Москве, в издательстве «Вагриус»,

вышла его книга «На троих с ЦРУ». В 2014 году в Нью-Йорке, в издательстве “MIR Collection”, вышла книга «2 = 1». В 2019 году в Чикаго, в издательстве “Bagriy Co” вышел сборник рассказов «Войти в реку времени».

Рассказы*

Анатомия третьего вида

Да, мой дорогой читатель, это неиссякаемая проблема и неразрешимый вопрос: на сколько полов (или, как теперь принято говорить, гендеров) делится человечество? Вы, наверно, думаете, что на два – мужской и женский. Я тоже так раньше считал. Но, оказывается, в современном западном либеральном мире их гораздо больше. Одни насчитывают шесть, другие – девять, иногда доходит до шестнадцати. Но все это, дамы и господа, вранье. На самом деле, существует всего три биологические разновидности человека: мужчина, женщина и политический деятель.

Чем отличаются друг от друга первые две, вам не надо объяснять. Если вы учились в школе в Америке, вы это постигли в третьем классе начальной школы на уроках сексуального образования, а если в России – то еще раньше, по рисункам на стенах общественных уборных. Особи третьего типа, при некотором сходстве с первыми двумя, отличаются тем, что у них отсутствует баланс между слуховым аппаратом и речевыми устройствами. Объясню, чтобы было понятнее: слуховой аппарат у них полностью атрофирован, и за счет этого гипертрофически развиты речевые органы

Вот как я дошел до этого открытия. Одним погожим утром я стоял на коленях перед своим домом и сажал цветы. Бушевала весна, всюю распевали пересмешники, и земля издавала запахи пробудившейся жизни. В общем, налицо была радость бытия. И тут рядом со мной на траву упала тень.

Я поднял голову и сразу узнал человека, который отбрасывал тень. Это был мистер Саркакис, кандидат в штатную палату представителей от нашего округа. Его нельзя было не узнать; его счастливое лицо уже

* Иллюстрации Вальдемара Крюгера.

несколько месяцев не покидало местных газет и телеканалов. Я сказал:

– А, это вы! Я вас знаю. Вы мистер Саркак Саркакис. Вы баллотируетесь в палату представителей нашего штата.

– Здравствуйте, – отвечал мистер Саркакис. – Разрешите представиться. Я Саркак Саркакис. Я баллотируюсь в палату представителей нашего штата. Приятно познакомиться.

Я понял, что мистер Саркакис туговат на ухо и прокричал;

– Как поживаете, мистер Саркакис?

– Я с вами полностью согласен, – с готовностью отвечал мой собеседник.

– Как ваш представитель в Конгрессе, я намерен продолжать бороться за бесплатное медицинское обслуживание граждан нашего штата, за бесплатное образование в колледжах, а также за дальнейшее повышение, одновременно с дальнейшим понижением...



Рядом с мистером Саркакисом, на полшага позади него, стоял белобрысый молодой человек с блокнотом, в который он что-то лихорадочно записывал, очевидно, речь своего патрона. Речь продолжалась довольно долго. Наконец, мистер Саркакис сделал вдох, и я, воспользовавшись паузой, спросил:

– Вы тоже живете в этом городе?

– Я считаю, что мы не должны допустить изменения климата, – сказал мистер Саркакис, ни на секунду не задумываясь. – Засорение окружающей среды в результате сжигания угля и нефти неизбежно приведет...

Следующие несколько минут он, видимо, развивал эту мысль, но я потерял нить его рассуждений, поскольку думал о том, в каком сочетании посадить цветы, и так и не узнал, к чему приведет сжигание угля и нефти. Неожиданно мистер Саркакис прервал свою речь и спросил:

– Надеюсь, вы меня поддержите на предстоящих выборах?

Вопрос застал меня врасплох. Немного помявшись, я сказал, вкладывая

в слова максимум такта:

– Понимаете, мистер Саркакис, я, вообще, голосую за другую партию, то есть за вашего оппонента, и поэтому не могу обещать...

– Прекрасно, – перебил меня мистер Саркакис. Я знал, что могу рассчитывать на ваш голос, поскольку вы, как и все жители нашего округа, глубоко обеспокоены растущим расизмом и белым супремом... суперма...

Тут он смешался, не в силах выговорить нужное слово, и переключился на другую тему.

– Вы совершенно справедливо отметили, что наша южная граница должна быть открыта для всех, кто бежит в Америку, чтобы сделать бесценный вклад в нашу экономику и мультикультуру...

– Ну, это вы бросьте, – сказал я, наконец решившись перебить кандидата в палату представителей. – Я ничего такого не отмечал.

– Совершенно верно! Я рад, что вы меня поддерживаете в этом вопросе, – сказал мистер Саркакис. – Надеюсь, вы не будете возражать, если мы поставим перед вашим домом плакат с моим именем и предвыборным призывом.

– Еще чего не хватало! – рассердился я. – Категорически возражаю!

– Прекрасно! – закричал мистер Саркакис. – Спасибо за поддержку!

Он схватил мою руку и начал ее трясти, источая возгласы признательности и восторга. Я в растерянности посмотрел на белобрысого секретаря. Тот на мгновение перестал писать и, не поднимая головы, сказал вполголоса:

– Не беспокойтесь.

Мистер Саркакис, наконец, отпустил мою руку, развернулся и в сопровождении белобрысого направился к соседнему дому. Я принялся дальше сажать цветы и через несколько минут забыл о назойливом мистере Саркакисе и его предвыборной кампании.

В один из тех же весенних дней, недели две спустя, я задержался на работе и, чтобы снять усталость, по пути домой зашел в бар. Похоже, что в этот день все жители нашего города захотели снять усталость, потому что бар был набит битком. С трудом протиснувшись сквозь потное, галдящее скопление мужчин и женщин, я нашел единственное свободное место за баром, кое-как вскарабкался на высокую табуретку и заказал свой любимый бурбон Бэйсил Хейденс. Честно говоря (только, между нами), я не различаю и одинаково люблю все виды виски, будь то скотч, или бурбон, или Канадский, или Ирландский, или даже Японский виски. Но признаться в этом было бы позорно. Уважающий себя человек должен иметь свой любимый виски. Это так же важно, как иметь свою любимую футбольную команду и своего любимого джазового музыканта. Поэтому, когда я, не притрагиваясь к меню (упаси Боже!), сказал бармену: «Бэйсил Хейденс», он посмотрел на меня с уважением.

- Не иначе как мы родственники, - услышал я над левым ухом. - Бэйсил Хейденс - мой любимый бурбон.

Я обернулся. Сосед слева, молодой, белобрысый парень, широко улыбаясь протянул мне руку и представился:

- Джеймс Махер. Зовите меня Джимми.

- Очень приятно, - сказал я, назвав себя по имени. - Вообще-то, мы с вами знакомы. Недавно вы приходили ко мне с мистером Саркакисом агитировать голосовать за него. Помните?

- Нет, конечно, - честно признался Джимми. - Мы делаем десятки таких визитов в день. Кроме того, я вообще не вижу, с кем разговаривает Саркакис. Я должен записывать.

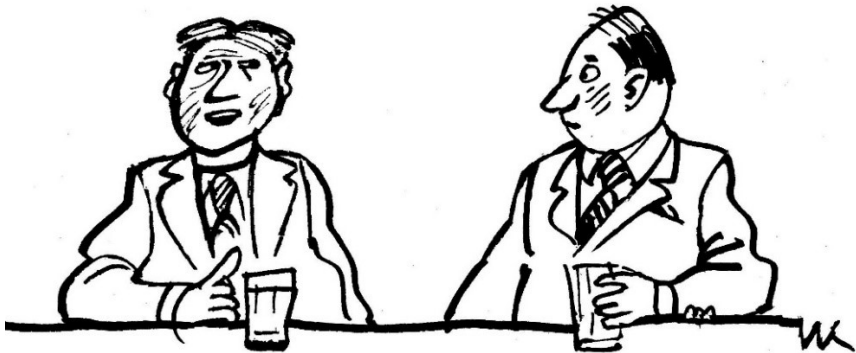
- Что же вы такое записываете, позвольте спросить?

- Как что? Беседы кандидата Саркакиса с народом. В конце дня в офисе я все переписываю в компьютер и сохраняю для потомства в нужном файле.

- Ого! - восхитился я. - Это должно занимать уйму времени! Надеюсь, он вам оплачивает вечерние часы?

- Конечно. Но на самом деле, только ему не говорите, это вообще не занимает времени. Мистер Саркакис всегда говорит одно и то же, и мне надо просто скопировать его текст в каждый адрес дома, который он посетил.

- Но ведь люди задают разные вопросы. Кстати, вам не кажется, что... как бы это сказать... ответы мистера Саркакиса не всегда соответствовали моим вопросам или комментариям?



- Вопросы и комментарии я не записываю - разъяснил Джимми. - Я записываю только то, что говорит мой босс. А вопросы и комментарии вписываю потом, так, чтобы они соответствовали его ответу. А поскольку ответы всегда одни и те же, то и вопросы получаются одинаковыми.

- Интересно, - заметил я. - А вам не кажется, что у человека, который будет читать ваши записи, может возникнуть подозрение в их правдивости?

- Бог с вами! - воскликнул Джимми. - Эти записи никогда никто не будет читать.

- Зачем же их создавать?

– Странный вопрос, – снисходительно заметил Джимми. – За что же иначе я буду получать зарплату?

Мы заказали по второму бурбону. Джимми, который оказался весьма словоохотливым молодым человеком, поведал мне свою нехитрую биографию. Он в прошлом году закончил колледж и получил степень бакалавра по какой-то невразумительной специальности под названием то ли «Общественные отношения», то ли «Политическая наука». Он нашел временную работу в предвыборной кампании Саркакиса и теперь набирается опыта для будущей карьеры в политике или социологии.

– Политикой какого толка вы собираетесь заниматься? – спросил я, выслушав рассказ своего собеседника. – Кто вы по убеждениям – либерал или консерватор?

– Я не понимаю вашего вопроса. – Джимми нахмурился. – Я не знаю, что такое убеждения и какие отношения они имеют к моей политической карьере. Работа есть работа. Если Саркакис победит, я останусь работать в его офисе. А если нет, тогда... посмотрим.

– А как вы считаете – он победит?

– Сомневаюсь.

– Почему?

– Потому что он идиот, – сказал Джимми, не проявляя эмоций. – Вы что, сами не видите?

– Значит, вы скоро останетесь без работы?

Тут мой собеседник повел себя как-то странно. Он начал загадочно улыбаться, ерзать на табуретке, оглядываться по сторонам, подмигивать и, наконец, сказал:

– Без работы я не останусь. Если Саркакис проиграет, пойду работать в офис его оппонента.

– Почему вы думаете, что он вас возьмет?

– Я знаю, что возьмет. Мы договорились.

Тут Джимми снова оглянулся по сторонам и сказал, понизив голос:

– Только никому не рассказывайте. Дело в том, что оппонента интересует кое-какая информация о кампании Саркакиса. Я ему в этом помогаю, чем могу, а он в знак благодарности обещал взять меня на работу.

– Ага. Значит ваш оппонент нравится вам больше, чем Саркакис?

– О, нет, что вы! Такой же идиот, если не хуже. Но работа есть работа. Теперь, кто бы из них не победил на выборах, работа мне обеспечена. Понятно?

Он расхохотался, искренне радуясь своей изобретательности, и я понял, что Джимми, несомненно, обладает качествами, нужными для успешной политической карьеры.

Прощаясь, мы обменялись телефонами, долго хлопали друг друга по плечам и клятвенно обещали в ближайшие дни созвониться и встретиться, чтобы выпить нашего любимого бурбона и поговорить о футболе.

С тех пор я никогда больше не видел Джимми и вскоре забыл о его существовании.

...С пугающей скоростью пронеслись годы. Много лет. Я состарился, заработал тяжелый радикулит и легкий диабет, но все еще был способен сажать цветы, стоя на коленях. И теперь, в этом состоянии, в один из жарких майских дней я возвращаюсь к вам, дорогой читатель.

Работа шла медленно, но успешно, и цветы уже складывались в правильный узор, когда на траву рядом со мной упала тень. Я поднял голову. Передо мной стоял элегантно одетый белокурый джентльмен, а рядом с ним, чуть позади – рыжеволосый молодой человек с блокнотом. Белокурый широко улыбался. Это был он – мой старый друг Джимми, слегка обрюзгший и располневший, но все еще безошибочно узнаваемый.

– Боже мой, Джимми! – закричал я, преодолевая шок. – Джимми Махер! Рад тебя видеть! Как поживаешь, старина?

– Здравствуйте – отвечал Джимми. – Разрешите представиться. Я Джеймс Махер. Я баллотируюсь в палату представителей штата от нашего округа. Приятно познакомиться.

– Джимми, ты что, не узнаешь меня?

– Я с вами полностью согласен, – с готовностью отвечал Джимми. – Как ваш представитель в конгрессе, я намерен продолжать бороться за бесплатное медицинское обслуживание граждан нашего штата, за бесплатное образование в колледжах, а также за дальнейшее повышение, одновременно с дальнейшим понижением...

Я понял, что в организме Джимми произошла мутация, и его анатомия претерпела необратимые изменения. Из обычного мужчины он превратился в особь третьего вида – в политического деятеля. Теряя надежду, я предпринял последнюю попытку вернуть Джимми в лоно создавшей его природы.

– Джимми, – ласково сказал я, – мы с тобой не виделись много лет. Давай зайдем в дом, выпьем наш любимый Бэйсил Хейденс, поговорим...

– Так же, как и вы, я считаю, что мы должны принять решительные меры против изменения климата на планете, – сказал Джимми, ни на секунду не задумываясь. – Засорение окружающей среды в результате сжигания угля и нефти неизбежно приведет...

Я бросил совок, плюнул и, не прощаясь с Джимми, пошел в дом выпить в одиночестве.

Зад к стенке

Позвонила Линда Гойберг из местной еврейской благотворительной организации «Семейное счастье».

– Привет! – говорит. – Тебе нужна помощь?

– Какая помощь?

– Любая помощь, – говорит Линда. – Ты же знаешь, это наша работа. Мы помогаем.

– Кому?

– Всем. Не только евреям. Всем, кто попросит.

– А кто просит?

– Никто не просит, – вздыхает Линда. – В этом проблема. Мы так без работы можем остаться.

– Какой ужас! – пугаюсь я. – Не знаю, чем тебе помочь, Линда. Вернее, не знаю, чем ты можешь мне помочь, чтобы я таким образом помог тебе.

– То-то и оно, – говорит Линда. – Евреи, вообще, народ привередливый. На них нет надежды, никто не просит помощи. Поэтому мы помогаем всем остальным – мексиканцам, китайцам, сирийцам, украинцам...

– Понимаю. Нелегальным иммигрантам, что ли?

– Такого слова нет, – говорит Линда. – Они теперь называются по-простому: «обездокументенные» граждане. Но с ними тоже трудно. Слишком много общественных организаций и групп хотят им помогать. Этим несчастным обездокументенных буквально рвут на части. На всех не хватает. Мы с нашим скромным бюджетом на выдерживаем конкуренции.

Линда снова вздохнула и окончательно закручинилась. Я говорю:

– Послушай, может, вам придумать какую-нибудь грандиозную программу? Таковую, чтобы все человечество растрогалось и начало делать пожертвования.

– От человечества не дождешься, – объясняет Линда. – Главное – чтобы наше федеральное правительство растрогалось. Это то, откуда деньги сочатся.

– Понятно. Значит, программа должна быть политически корректной. Например, «Защита обездокументенных граждан от изменения климата».

– Звучит красиво, – соглашается Линда. – Но безнадежно. Всю эту лакомую тематику уже расхватили. Кстати, ты мне напомнил. У нас есть одна программа, с которой ты можешь помочь. Ты родился в России?

– Вроде того. В Советском Союзе.

– Никогда не слышала. Это где-нибудь в Европе?

– Частично.

– Подходит. Сколько тебе лет?

– Ох, много, – вздохнул я. – Помирать пора.

– Замечательно! – неожиданно обрадовалась Линда. – Значит, ты жил во время Гражданской войны?

Я насторожился.

– Ты имеешь в виду войну Севера с Югом?

– Ах, нет, это я немного перепутала. Я имела в виду Мировую войну. Ты ее помнишь?

– Первую – нет. Вторую немного помню.

– Прекрасно! Значит, ты пережил Холокост. И теперь можешь в рамках

нашей просветительной программы для начальной школы выступить и рассказать детям, как ты его пережил.

– Ну, вообще-то, честно говоря, я его особенно не переживал. В то время я был ничтожно мал и жил в глухой деревне вдали от военных действий.

– Как ты туда попал?

– Эвакуировался вместе с семьей. И жил там, пока война не кончилась.

– Ну вот, значит, ты и есть жертва Холокоста. Ты спасся бегством от наступления нацистов. И теперь можешь с полным правом рассказывать детям про свое страшное детство. Как насчет следующего вторника в два тридцать?..

...В назначенный вторник Линда привезла меня в начальную школу имени Барака Обамы, запустила в спортивный зал и велела ждать. Зал был пуст. Он сверкал чистотой. На стенах, помимо Обамы, висели портреты Франклина Делано Рузвельта, Мартина Лютера Kinga и какой-то женщины с головой, замотанной в платок.

Открылись одновременно две двери, и четыре учительницы ввели в зал густую ораву детей, от которых у меня зарябило в глазах. Их было не меньше сотни. Меня поразило, что в такой небольшой округе, к которой относилась школа, так много рожают. Не иначе как экономят на презервативах, подумал я. Дети разом сели на пол, скрестив ноги, и уставились на меня. В их широко раскрытых глазах трепетало волнение людей, увидевших наяву живого птеродактиля. Старшая учительница, которая, возможно, была даже директором школы, ласково погладила меня по голове и сказала, обращаясь к детям:

– Это мистер Алекс. Он пережил Холокост и сейчас расскажет, как ему это удалось. Давайте похлопаем мистеру Алексу.

Дети дисциплинированно похлопали и затихли. Я сказал:

– Здравствуйте, дети. Сколько вам лет?

– Им всем по девять, – ответила за детей одна из учительниц. – Это третий класс.

– А мне еще больше, – бездарно пошутил я. – Если взять ваш возраст и умножить на ваше количество, то как раз получится мой возраст.

Учительницы в ужасе переглянулись. Дети никак не отреагировали на это известие, и я понял, что они еще не проходили умножение.

– Да, дети, я родился давно и, как видите, надолго, – сказал я, стараясь загладить глупую шутку и разжечь в себе воодушевление. – Но родился не в Америке, как все люди, а в другой стране, которая называлась Советский Союз. Теперь она называется Россия. Но это та же самая страна, как ее ни называй. Когда я был совсем маленький, на эту страну напала другая страна, Германия, которой правили нацисты. Получилась война.

Далее я рассказал детям, как моя семья вместе со мной, спасаясь от

нацистов, эвакуировалась далеко на восток и поселилась в маленькой глухой деревне, в убогой бревенчатой избе. В этой деревне не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации. Электричество по вечерам заменяли свечи. Водопровод заменяла речка в полумиле от деревни. Канализацию заменяли родные просторы. Я рассказал о том, как мы голодали, и как мне все время мучительно хотелось есть, а есть было нечего, и как деревенские мальчишки постоянно крали у нас все, что могли украсть, и как я пошел в школу, в первый класс, где меня дразнили евреем.



Дети слушали, затаив дыхание, а я продолжал говорить, удивляясь своей немеркнущей памяти. Неожиданно для себя я открыл, что воспоминания семилетнего ребенка отпечатываются в мозгу навек и не стираются временем.

В конце концов мои воспоминания исчерпались, я затих, и учительницы разрешили детям задавать вопросы. Взметнулось сразу не меньше полсотни рук. Пятьдесят пар глаз зажглись страстным желанием дойти до самой сути.

- Вот вы говорите, что вас в школе дразнили евреем, - сказал прыщавый, неряшливого вида пацаненок. - А почему вы не могли ходить в школу без ермолки, чтобы вас не дразнили? Вам что, родители не разрешали?

- А я и ходил без ермолки, - признался я. - У меня ее даже не было.

- Если так, то откуда они знали, что вы еврей? - не унимался прыщавый.

- Они не знали, - сказал я. - Я тоже не знал. Это просто было такое ругательство - еврей. Деревенские мальчишки друг друга тоже евреями

обзывали, когда ссорились.

Въедливый пацаненок явно не удовлетворился моим ответом, но продолжать диспут с ним я не мог. Надо было дать слово другим. Ближе всех ко мне сидела щупленькая рыжая девочка, которая смотрела на меня влюбленными глазами и тянула руку так, словно хотела достать до потолка. Я ее безжалостно проигнорировал и дал слово другой девочке, которая спросила с волнением:

– Почему в вашей деревне не было электричества – с целью охраны окружающей среды или в это время была забастовка работников электростанции?

– Электричество туда не провели, – разъяснил я. – Но жителей деревни это не беспокоило, потому что они все равно не знали, что такое электричество. А что касается окружающей среды, то с ней было все в порядке. Окружающую среду в этой деревне ничто не загрязняло, кроме лошадиного навоза. Следующий.

Рыженькая продолжала изо всех сил тянуть руку, но я опять не обратил на нее внимания и, чтобы не заподозрили в расизме, дал слово черной девочке.

– Вы сказали, что вам все время хотелось есть, – сказала девочка, и в ее голосе звучало неподдельное сочувствие. – А почему нельзя было просто заказать пиццу?

Этот вопрос вогнал меня в ступор, и я мучительно старался придумать, как на него ответить. Неожиданно выручила учительница.

– Дети, – сказала она, – пицца – не очень питательная еда. Конечно, она богата жирами и углеводами, но в ней недостает белков и растительных полифенолов, необходимых организму. Так что мистер Алекс правильно делал, что не заказывал пиццу.

– Спасибо, – сказал я учительнице за ее четкий, исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. И, чтобы окончательно оградить себя от подозрений в расизме, предоставил слово черному мальчику, тем более что его звали Алекс, как меня. Алекс оказался довольно агрессивным типом.

– Вот вы говорите, будто бы вы ходили в лес за грибами, – сказал он, явно стараясь уличить меня во лжи. – Зачем это надо было делать, если грибы продаются в любом супермаркете?

На мое счастье, опять вмешалась учительница.

– Ходить в лес за грибами – это аллегория, – сказала она. – Мы все знаем, что дикие грибы есть нельзя, так как ими можно отравиться и попасть в больницу. Когда мистер Алекс говорит, что он ходил в лес, он имеет в виду, что супермаркет, где продавали грибы, был очень далеко. Правильно, мистер Алекс?

– Да, конечно, – тоскливо согласился я. – Жуть как далеко. В другом измерении. Следующий.



Рыженькая девочка продолжала тянуть руку, и я, наконец, сжалился и предоставил ей возможность задать вопрос. Она радостно вскочила на ноги, открыла рот и вдруг оцепенела. Выражение ее лица начало меняться и за несколько секунд пронеслось через весь спектр человеческих эмоций, включая радость, испуг, смущение, отчаяние.

– Ну-ну, говори, – подбодрил я. – Что ты хотела спросить?

– Не знаю, – прошептала девочка. – Я забыла, как это называется.

– Ничего, потом вспомнишь, – успокоил я. – Следующий.

Поднялся толстый, чисто одетый мальчик, типичный отличник.

– У меня такой вопрос, – вежливо сказал отличник. – У вас в этой деревне были друзья?

– Конечно. Деревня была маленькая, поэтому там все были друзьями.

– Как вы с ними проводили время?

– По-разному. Главным образом, наше времяпрепровождение заключалось в том, что они меня били.

– За что? Они вас не любили?

– Отчего же. Очень любили. Били просто для удовольствия.

– Вы получали от этого удовольствие?

– Я – не очень. Но моим деревенским друзьям это нравилось.

Толстого отличника перебил другой мальчик:

– Вы играли в какие-нибудь игры? – спросил он, хмурясь и волнуясь от важности своего вопроса.

– А как же. В школе на переменах самая популярная игра называлась «зад к стенке». Какой-нибудь мальчик громко кричал «зад к стенке!», и все быстро прижимались задом к стене. А кто не успевал или потом отходил от стены, того били ногой по заду. Очень увлекательная игра.

– Зачем били? – не понял мальчик.

– Чтобы держал зад к стенке.

– А зачем держать зад к стенке?

– Чтобы не били ногой.

Дети понятливо закивали. Рыжая девочка вдруг снова повеселела, вскочила на ноги и закричала:

– Я вспомнила! Я вспомнила! Можно вопрос?

– Можно.

– У вас есть меланомы?

Я покрылся холодным потом. Учительницы встревожились и подбежали к девочке. Некоторое время они, сгрудившись над ней, о чем-то беспокойно шептались, а потом с облегчением оставили девочку в покое. Одна учительница подошла ко мне и вполголоса объяснила:

– Понимаете, это очень умная девочка, отличница. Она хотела вам сделать приятное и показать, что она знакома с еврейскими обычаями. Она имела в виду то ли менору, то ли мезузу. Перепутала слова. Так что, не беспокойтесь.

Прозвенел звонок. Дети вскочили и бросились из зала, стискиваясь в дверях. Я перевел дух.

На следующий день позвонила Линда Гойберг. Ее голос звенел от радости.

– Поздравляю с успехом! – кричала Линда. – Администрация школы и дети в восторге от твоего содержательного выступления. Они говорят, что благодаря тебе узнали много интересного про Холокост. Надеюсь, ты не откажешься выступить еще в одной школе?

– А как же, конечно. С удовольствием, – сказал я упавшим голосом.

– Прекрасно. Как насчет следующего вторника в два тридцать?

...Так моя жизнь наполнилась новым содержанием. Я стал регулярно посещать начальные школы и рассказывать детям про маленькую русскую деревню, где не было канализации и нельзя было заказать пиццу. Когда дело доходило до вопросов, первое, о чем меня просили дети, – рассказать об игре «зад к стенке». Их интересовали правила этой удивительной игры во всех деталях. Мне сказали, что теперь в начальных школах нашего графства дети на переменках играют в «зад к стенке». Правда, они ее переименовали, заменив слово «зад» другим, более привычным для школьников словом. Популярность игры растет, и в следующем году намечается турнир по «заду к стенке» между школами графства. Учителя школ и администрация отдела народного образования не возражают. Они считают, что игра «зад к стенке» повышает интеллект учащихся и отвлекает их от употребления наркотиков.

Моя популярность тоже растет. Среди школьников графства я известен как «Мистер Зад к стенке». Каждый день я получаю текстовые послания по телефону и почтовые открытки, где меня благодарят и желают здоровья. Одна девочка пожелала мне счастливого Холокоста. Я подозреваю, что это та самая рыженькая, которая путает слова. Благодаря мне агентство «Семейное счастье» получило большой грант и теперь процветает. Линду Гойберг повысили в должности. А я стал настоящей знаменитостью. Думаю, надо будет попросить администрацию отдела народного образования повесить мой портрет в гимнастическом зале рядом с портретом Барака Обамы.



Юрий Солодкин - родился и всю жизнь до отъезда в Америку прожил в Новосибирске. Прошел все ступени научного сотрудника - от аспиранта до доктора технических наук, профессора. В Америке с 1996 года. Работал в метрологической лаборатории в Ньюарке. Рифмованные строчки любил писать всегда, но только в Америке стал заниматься этим серьезно. В итоге в России вышло четыре поэтических сборника, книга прозы и восемь книжек стихов для детей. Кроме того, в журналах «Время и Место» и «Времена» и в интернет-журналах Берковича опубликованы очерки и эссе.

Шепчу несочиненные стихи...

Что высшее счастье поэта?
Над новой строкой маета,
И вдруг озарившая эта,
И в рифму упавшая та.

*

Во времени мы мчимся напрямик.
Мелькают друг за другом дни и ночи.
Ушедшее все больше сжато в миг,
Грядущее короче и короче.

*

Сильна природа и мудра,
И мощь, чудовищную крайне,
Она загнала внутрь ядра,
Да вот не удержала в тайне.

*

Что в будущем случится обозримом?
Спасем ли мир от смертного одра?
Уже бывало с Грецией и Римом,
Но там - без расщепления ядра.

*

До чего же виды хороши!
Был Создатель. Укрепляюсь в вере.
Нет, глаза не зеркало души,
А в нее распахнутые двери.

*

Все чаще подлость, реже честь,
И стресс ничем не снять.
Желание не знать, как есть,
Сильней желанья знать.

*

Одержимость державностью
Не утихла за давностью,
И за гранью приличия
Ощущенье величия.

*

Что в глубине души моей творится?
Бросаю в бой запас словарный мой.
Но все не то словами говорится,
И шевелю губами, как немой.

*

В пику всем благим идеям
Лицемер с прелюбодеем.

*

Ни с кем я не вступаю в бой,
Но сам с собой живу в борьбе.
А не борись я сам с собой,
Зачем тогда я сам себе.

*

Когда непониманье бьет ключом,
Как говорим – важнее, чем о чем.

*

Кто бы все расставил по местам
И сумел бы нас предостеречь,
По каким переходить мостам,
А какие, не жалея, сжечь.

*

В смартфоны наши с самого ранья
Ушаты выливаются вранья.
Невозмогу от злобы и от брани.
С ума не сходим, но уже на грани.

*

К каким бы ни прибегнуть мерам,
Политик будет лицемером.
А без таланта лицемера
Его немислима карьера.

*

За этим мигом быть иному мигу.
Какие в нем откроются штрихи?
Листаю ненаписанную книгу,
Шепчу несочиненные стихи.

*

Что приход в этот мир для меня означал?
Сколько радостей было моих и кручин!
Бесконечные поиски бесконечных начал.
Бесконечные следствия бесконечных причин.

*

Без смартфонов нам сегодня нельзя –
Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм.
А хотелось бы, как прежде, друзья,
Вас обнять и вам разлить по сто грамм.

*

Что жизнь сурова, разве это новость,
Но как бы подсластить ее суровость.

*

Считаешь удачи свои, неудачи,
Был ты прозорлив иль наивный простака,
И в каждый момент все могло быть иначе,
И в каждый момент было именно так.

*

Вершит Земля свои круги,
Старею незаметно я.
Вот и враги не все враги,
Вот и друзья не все друзья.

*

Чертит путь какое лекало?
Где, в какую сторону крен?
Раньше новое привлекало,
А теперь на кой оно хрен.

*

Теперь не жгут неверных на кострах,
Но дикость не уменьшилась, однако.
И до сих пор толпа внушает страх
Тем неразумным, мыслящим инако.

*

Предсказать не дано повороты судьбы.
Неспроста у судьбы окончание «бы».

*

Что за время настало,
Не сойти бы с ума.
Так начитанных мало,
А нагугленных – тьма.

*

Сплошь и рядом герлы, фрэндзы,
Хаи, баи, хэпши энды
И окей на дно сто раз.
Это русский новояз.

*

Задумываюсь я о многом,
Но не пойму себя, похоже.
Равны ли все мы перед Богом,
Иль Бог нас как-то метит все же?

*

Пока я не дойду до точки,
Пока живинка есть в лице,
Во мне рифмованные строчки
И многоточие в конце.

Ева и Лилит

1

Адам был первый и единственный
В неведомых библейских кущах.
Но тщетно замысел таинственный
Понять во временах текущих.

Постичь Творца – желанье вечное.
Нет для людей важнее дела.
Но и пространство бесконечное,
И вглубь не видится предела.

Он плана не имел подробного,
Но Богу быть хотелось Богом,
И сотворил себе подобного
Хоть частью, хоть каким-то боком.

Вселенной тайны непосильные,
Непостижимые вовеки.
Зачем на Землю мы посыльные?
Что Богом скрыто в человеке?

Но вот он есть – венец творения,
Живой, как рыба, зверь и птица.
Ему не избежать старения,
И должен он, как все, плодиться.

У Бога нет сомнений в способе,
Всему живому способ вedom.
И к сотворенью женской особи
Создатель приступает следом.

Вот изменения немногие,
И у Творца готова дама.
По той же самой технологии
Лилит создал Он для Адама.

2

Не знает Бог, что есть усталость,
Конечный близится момент.
Программу запустить осталось
И начинать эксперимент.

Где поместить их – не проблема.
Он Бог, и сам себе велит
Расположить в садах Эдема
Адама и его Лилит.

Есть в изобилии питанье,
На бодрость день, и ночь на сон.
Бог начинает испытанье.
Что сотворил в итоге Он?

Едят и пьют себе в усладу,
Лежат, наевшись, на траве.
Весь день слоняются по саду,
И только ветер в голове.

Разборкам нет конца и края.

- Я так хочу!
- Я так хочу!
- Ты кто такой?!
- Ты кто такая?!
- Да замолчи!
- Не замолчу!

Нет ни о чем у них заботы,
Ничто не требует труда,
А без усилий и работы
Не стать людьми им никогда.

Короче, недочетов много
В начальном варианте есть,
И это снова дело Бога,
Как их теперь Ему учесть.

3

Что изменить в Адаме новом?
А может, изменить среду
И поселить в краю суровом,
Чтоб добывал себе еду?

Отвергнута идея сходу.
Какой еще суровый край!
Не выжить в нем Адаму сроду.
Пока пусть остается рай.

Но в поведение Адама
Ввести поправку есть резон.
Иною быть должна программа,
С которой жизнь продолжит он.

Жить беззаботно не годится,
Работу надо дать уму,
И стимул должен быть трудиться,
Потребность мыслить самому.

Недужинный включился Разум,
Отличный ход придумал Он.
Проблемы все решились разом –
Включил Он мясо в рацион.

И даже если нет охоты,
Добычу надо добывать.
Ножи и копья для охоты
Нужны, чтоб зверя убивать.

Пусть понимает понемногу,
 Что в жизни обретает вес.
 Представить трудно даже Богу,
 Где остановится прогресс.

4

С Лилит сложней. Что делать с ней?
 С Адамом было все ясней.
 Лилит чуть что, кричит: «О Боже,
 Услышь меня! Я тоже, тоже!»

Что делать со строптивой бабой?
 Творец – специалист не слабый,
 Но тут расстроился вконец.
 Как быть, задумался Творец.

Ходил с идеями по кругу
 И понял – новую подругу
 Творить Адаму должен Он.
 И погрузил Адама в сон.

5

Жена к Адаму быть должна добра
 И мужа почитать почти как Бога.
 От копчика, а может, от ребра,
 Творец для Евы отщепил немного.

Он плоть от плоти сотворил ее
 И поселил их вместе на планете.
 И понеслось земное бытие –
 Семья, очаг и дети, дети, дети...

История людская непроста.
 Менялись поколения, эпохи.
 К Тебе взывал распятый сын с креста.
 Дела казались нестерпимо плохи.

Казалось, что необратимо зло,
 Но свет добра пронзал победно тучи.
 И гибли те, кому не повезло,
 И жили те, которые везучи.

К Тебе, Творец, все ближе мудрецы,
 Вникают в суть бердяевы и канты.
 В хайтеке чудеса творят спецы,
 Уже понятны гены, ядра, кванты.

Вот кто Ты есть, пока еще разлад, –
 Хашем, Аллах иль Троица святая?
 То тут, то там не жизнь, а сущий ад,
 И всем за верность обещанье рая.

6

А что Лилит? Чем завершилась драма?
Казалось бы, ушла в небытие.
Но ты ведь жизни не лишал ее.
Она детей имела от Адама.

Из века в век безропотные евы
Детей рожали, стерегли очаг.
Страх и печаль селились в их очах.
Ау, лилиты, затерялись где вы?

Огозвались лилиты наконец.
Пришла пора, и речь их зазвучала.
Твоя Лилит не зря была, Творец,
Она лишь не годилась для Начала.

Сейчас живем в иные времена.
Чудны, Господь, Твои свершенья эти.
В семье все чаще трудится жена,
А дома остаются муж и дети.

Приемлю мир, который есть как есть.
В нем Божьей волей воедино слиты
С адами и евы, и лилиты.
Любить друг друга выпала им честь.

Август, 2021 г.

Клаус

*Эту историю рассказал сын Мартина Бормана,
который стал священником, и к нему на исповедь
пришел бывший солдат вермахта.*

1

Он верный вермахта солдат
И не чета ущербным расам.
С евреями покончить разом
Он и готов, и даже рад.

Зловредный все ж они народ.
Еще и ненавистней стали,
Когда в Варшаве вдруг восстали
В тот памятный военный год.

Им не спастись на этот раз.
Убитых на земле навалом.
А тех, кто скрылся по подвалам,
Всех ликвидировать приказ.

Искоренить презренный род.
Хоть старики, хоть малолетки,
В подвалах все, как звери в клетке,
И всех до одного в расход.

2

Из дома вдруг на их пути
Наружу выскочила ловко
Девчушка лет пяти-шести.
В кудряшках детская головка.

И побежав не чуя ног,
Запнулась и упала сходу.
Девчушке Клаус встать помог,
Хотя заботлив не был сроду.

А обер-лейтенант со злом:
– Что, Клаус, стало жаль еврейку?
Сейчас зайдём мы в этот дом
И уничтожим всю семейку.

И не жалея ты ни о ком,
А то замешкался ты что-то.
Давай, проткни ее штыком.
Мне пулю тратить неохота.

И Клаус выполнил приказ.
Еврейка – значит, виновата.
И в изумленье пара глаз
Застыла, глядя на солдата.

Ни крик не прозвучал, ни стон,
Лишь только взгляд из вечной ночи.
Как приговор, увидел он
Распахнутые настезь очи.

3

А дальше что – не объяснить.
Ведь мы себя не знаем сами,
Но нас невидимая нить
Соединяет с небесами.

– Ты, Клаус, молодец. Вперед!
Еще домов осталась пара.
Никто от смерти не уйдет.
Их всех настигнет наша кара.

А ты как будто не в себе,
И побледнел вдруг почему ты?
Не мы виновны в их судьбе.
Они антихристы и плуты.

Шел обер, песню напевал
И вдруг замолк, застыл на месте.
Из дома рядом пуля мести
Его сразила наповал.

А Клаус думать сам отвык.
И обер-лейтенанту в тело
(Девчушка что ли так хотела?)

На этот раз вонзился штык.

4

И пять, и двадцать лет спустя
Покоя нет ни днем, ни ночью.
Штыком пронзенное дитя
Ему все видится воочью.

Просил он Бога, и не раз,
Простить его, но все напрасно.
И пару изумленных глаз
Он днем и ночью видит ясно.

На почте служит. Не женат.
Детей не может видеть рядом.
И на земле не жизнь, а ад,
И небеса пугают адом.

– Я был солдат. Мне был приказ.
И жизнь была совсем другая.
Но эта пара детских глаз
Пронзает взглядом не мигая.

О, как жесток ему урок!
Как непростимо согрешенье!
И развязавшийся шнурок
Вдруг подсказал ему решенье.

Он не дождался своего
Прощения на этом свете.
Нашли повешенным его.
Пред Богом он теперь в ответе.

Апрель, 2022 г.

Банальная поэма

(в пяти главах, с прологом и эпилогом)

Почти 70 лет ученые Гарварда наблюдали за группой из 800 человек, чтобы в итоге назвать пять составляющих счастливой и долгой жизни.

Пролог

Философы, мыслители, пророки
Во все века давали нам уроки.
Учили, что ж является основой
Счастливой жизни, долгой и здоровой.

1

Не избежать болезней никому,
Но как бы пережить их по уму.
Один совет есть у меня для друга –
Чтоб не терял рассудок от недуга.

2

Любовь не на словах, а от души,
И только с нею жизнь свою верши.
Как много силы у счастливых пар!
Ценнее нет, чем этот Божий дар.

3

На зло старайся не ответить злом.
Два этих зла завяжутся узлом.
Зло в наказание людям от природы.
Лишь доброта продлить умеет годы.

4

Пытайся чаще сам себя понять,
И на судьбу не торопись пенять.
Будь с собственной душой всегда в ладу.
Она поможет одолеть беду.

5

Пока ты жив, учиться есть чему.
Всю жизнь покоя не давай уму.
И знания, и опыт – нет важней
От самых первых до последних дней.

Эпилог

Да, истины банальны эти.
Зачем о них написан стих?
Своею сутью сделай их!
Нет ничего важней на свете.



Эльвира Фагель - родилась в Ленинграде. Всю сознательную жизнь до отъезда в США (1993 г.) прожила в Москве. Диплом инженера получила в МВТУ им. Баумана. Проработала во ВНИИМЕТМАШе 20 лет. Оказавшись в отказе после подачи заявления на постоянное место жительства в Израиль, была с работы уволена, но повезло: была принята в редакцию еврейского журнала «Советиш Геимланд» (после перестройки - «Еврейская Улица»), где работала 10 лет, вплоть до отъезда в США. По опубликованным в журнале работам была принята в Союз журналистов СССР.

Без родных могил

По очень узкой и быстрой литовской речке Уле мы пробираемся на байдарках между корягами, скрытыми под водой или вытарчивающимися, как скрюченные старушечьи пальцы, иногда проплываем, почти ложась на дно лодки, под поваленными деревьями, лавируем между завалами веток. Нас пять экипажей, а ведет нас в легкой маневренной «Таймени» наш «адмирал» Ковальчук. Командир наш многоопытный, бессменный вот уже много лет, и каждое лето он водит друзей - пешком ли, байдарками - но всегда в движение и на природе.

Река бежит между крутых, густо заросших безлюдных берегов, то сужаясь, то круто изгибаясь, то разбегаясь на два рукава. Наш кортеж в борьбе с препятствиями растянулся, мы не видим остальных лодок, и только «адмиральская» время от времени бесшумно отделяется от прибрежных низко опущенных к земле зарослей - это Ковальчук поджидает своих «овечек», чтобы предупредить об очередном завале и показать, с какой стороны выбрать обход. Лодка его, как всегда, нагружена больше других, по самые края бортов. Как-то так получается, что большая часть общественного скарба, по обыкновению, уходит к нему.

Наш экипаж - новички в байдарочном походе. Нас, всех троих, сильно занимают живописные берега, светлое струение воды у борта, громадные стрекозы и шустрые птички. Одна, маленькая, с желтыми перышками, долго «ведет» нашу лодку, как бы показывая, где подать вправо или влево, с какой стороны обойти мель. Она терпеливо покачивается на торчащей из воды ветке, пережидая, пока мы выровняем нос, и снова, после вынужденной остановки, разовьем скорость. Потом она покидает нас по своим птичьим делам, и мы прощаем глазами нашего добровольного лоцмана. Тут-то, зазевавшись, мы и садимся на корягу. Есть! - сквозь днище стремительно набегает вода: мы пропоролись. До дна, как и до берега, недалеко, опасности для жизни никакой, но неприятно: мы-таки проявились как дилетанты! Вытряхиваем пожитки на берег, вытаскиваем и переворачиваем лодку - сушить. Сушка да склейка - часа на два мы

отстанем от компании.

Вроде бы никто не видел нашей аварии, а Ковальчук тут как тут. Без лишних слов перегружает котлы в свою лодку – кажется, некуда, да как-то умещает, – деловито перечисляет: все ли есть для починки? Высчитывает и сообщает нам, через сколько километров высматривать стоянку, где к нашему прибытию уже будет готов обед. В обычной ситуации Леня чаще молчит, мягко посмеивается, говорит немного нараспев, глаза – хитрые. Но когда требуется принимать решение, становится твердым до категоричности, быстрым и даже суровым. Для меня остается загадкой – как он, проходя, как все мы, впервые по маршруту, так ориентируется на местности, безошибочно связывает время и расстояние, каким чутьем угадывает лучшие места для стоянки? Можно подумать, Ковальчук – деревенский житель. (Леонид Михайлович Ковальчук – заведующий одной из лабораторий Московского ЦНИИ строительных конструкций. Он – известный в своей области ученый, доктор технических наук, профессор, выпустивший на научную стезю десяток аспирантов.)

...Когда мы, несколько смущенные, под бравый приветствующий хор (первое боевое крещение!) выволакиваем лодку на берег у стоянки, от костра тянет вкусным, миски наготове, Ковальчук колдует над противнем, разогревая куски легкого. Это легкое в неимоверном количестве было закуплено «адмиралом» вчера в сельпо – дешевое объеденье! – (Ковальчук, обеспеченный материально самым благополучным образом, славится своим стремлением и умением экономить), сготовленное им же вне дежурства, поглощено в таком объеме, что сегодня о нем слышать не хотели. Но не выкидывать же оставшееся! И Леня, хитро поблескивая глазом, греет вчерашние остатки на костре, причмокивает, потягивает с наслаждением носом, приговаривает сочно и вкусно, как бы про себя, но так, что всем слышно. И вот уже даже насмешники, на все лады обыгравшие «тяжелое легкое», тянутся к противню с ложками. (Бережное отношение к еде осталось у Ковальчука с тех проклятых дней сорок первого, когда он, двенадцатилетний, ел траву, грыз кору, сосал лед, пытаюсь обмануть желудок, когда пухли ноги и уплывало сознание от голода... Я не смеюсь. Я помню, как маленькой, в сорок пятом, по утрам находила под подушкой кусочек хлеба, запрятанный папой с вечера. Я удивлялась, а в маминих глазах стояли слезы: наш папа пережил ленинградскую блокаду...)

На сегодня путешествие окончено. Мы располагаемся здесь, в уютной ложбине на два дня: командир наш объявляет грибные и ягодные заготовки. После завтрака отправляемся по чернику. Кроме обязательной сдачи нормы (какое варенье мы привезем в Москву!) все наедаются всласть, в этих местах можно набрать кружку сидя на месте. Дети так и делают – это видно по джинсам, безнадежно окрашенным сзади. Вообще-то нам везет в этот август с погодой. Ковальчук утверждает, что там, где он отдыхает, погода всегда стоит прекрасная (однако я предполагаю, что просто он любовно относится

к любым проявлениям природных возможностей). Но случаются и дожди. Вот и сегодня: быстро темнеет, будто наступает вечер, и становится очень тихо. Треск сучка под ногой раздаётся, как выстрел, в этой тишине и кажется зловещим. Даже травинки и ажур листвы выглядят неживыми в своей неподвижности. Замечаю, что отстаю от компании, да так, что голосов не слышу – может, они вязнут в сгущающейся темноте? Неожиданно углядываю Ковальчука, сидящего прямо на земле. Странноватая поза – сжатые плечи, напряжённая шея. От радости, что вижу живую душу в этом пострашневшем лесу, бросаюсь к нему: – Эй! Вскрикивает так, будто его вытолкнула пружина. Сразу обрушивается с неба вода, мы залезаем под разлапистую сосну. Конечно же, промокаем до нитки, но я ничего не чувствую и ничего не замечаю, потому что Леня, Леонид Михайлович Ковальчук, мой давний знакомый, впервые рассказывает мне, под ливень и гром, о своих родителях, о своём родном городе Умани, о самом страшном из его пятидесятисемилетней жизни.

* * *

Нельзя сказать, что 41-й семья Галкиных встретила в полном счастье и благополучии. Четвёртый год Клара Львовна управлялась с двумя детьми без мужа. Чёрные годы летописи нашей страны, тяжким бременем нагрузившие совесть поколений, задели и эту семью. В 1937 году Клара Львовна с восьмилетним Ленёшкой и четырнадцатилетней Адой проводила глазами Михаила Галкина на станции Кристиновка, в сорока километрах от Умани, куда кинулась с детьми и пакетом еды, узнав, что там пройдёт вагон с арестованными «врагами народа».

Война. Среди сумятицы первых дней, страха, предположений, растерянности уже слышны голоса, предостерегающие евреев: надо уходить в тыл. Но бабушка, чье образование не допускает до сознания новые проповеди «сверхчеловеков», не верит никаким предостережениям и уговорам, и Клара Львовна с детьми остается.

В середине июля в город вошли немцы. Уже в августе начались акции против евреев: через газету «Уманьский голос» было вменено обязательное ношение повязки с желтой звездой, следовали объявления о расстрелах по 20–40 человек, в сентябре фашисты собрали еврейских юношей, загнали в подвал Дома пионеров и пустили газ. Так уманьцы узнали о душегубках. В октябре разразился первый погром. Фашисты и полицаи врывались в дома евреев, грабили, убивали. Люди прятались в огородах, убегали – спасались. На этот раз беда обошла Галкиных. В ноябре погром повторился. Среди ночи, когда уже раздавались выстрелы, в дом Галкиных осторожно постучались. Надо открыть, это не враг, а значит – друг. Вошла Татьяна Антоновна Кацюбинская. С этой молчаливой, неприметной школьной преподавательницей украинской литературы Клару Львовну до войны связывала общая беда: муж Татьяны Антоновны был тоже, как и Михаил Галкин, в поезде, увозившем в тридцать седьмом на восток арестованных.

Объединяли двух жен бесплодные и безнадежные хлопоты и тоскливый страх за здоровье и жизнь мужей. И вот эта женщина, познавшая горечь отверженности и беспомощности, знающая, как безысходен страх, подумала о самых гонимых. И пришла спасать.

– Сегодня ночью проводится акция. Пойдемте.

Никто не видел, как в темноте трое вошли в дом Татьяны Антоновны. А та побежала за бабушкой. Леня помнит, как ждали они, как растягивались и замедлялись минуты и как потом побежали, понеслись стремительно, когда послышались причитания бабушки, торопливый, успокаивающий шепот Татьяны Антоновны, стук о забор пожитков, с которыми старушка никак не желала расстаться. А улица уже окрашивалась рассветом, появлялись люди, и кто-то указал рыскающим в азарте охоты полициям на дом Татьяны Антоновны. Клара с детьми кинулась в противотанковую щель (такие были нарыты возле каждого дома) с полуметровым слоем грязной воды, бабушка не захотела лезть в застоявшуюся жижу и погибла на месте. Трое Галкиных дождались, когда на улицах стихла стрельба и крики, и вернулись домой.

Очень скоро после этого погрома фашисты образовали еврейское гетто на территории старого базара и примыкавшего к нему района, населенного евреями. Дома гетто были набиты по несколько семей каждый, ни о каком продовольственном и медицинском снабжении властями не было и речи. Люди выменивали вещи, оставшиеся ценности на еду, пробираясь в город тайком через доску, выломанную в заборе гетто.

Леня помнит ухоженных, подтянутых, отутюженных немецких офицеров в гостинице, что одной стеной примыкала к гетто. Перед окнами этой гостиницы стояли голодные ребята гетто в надежде заработать кусочек съестного. Иногда удавалось за вычищенные сапоги получить корочку, чаще – побои, ругань и издевательский хохот. Татьяна Антоновна и ее четырнадцатилетний сын Петро иной раз приносили в гетто с трудом раздобытую еду, чаще глоток воды заменял завтрак, обед и ужин.

Немцы накладывали денежные контрибуции на гетто, за невыплату грозила смерть. Людям все труднее было собирать деньги. Дошла очередь до Галкиных. Где взять огромную сумму, когда не осталось ничего ценного? Если денег не будет, завтра расстрел.

В этом пошатнувшемся мире, ставшем вдруг жутким до нереальности, рушились для Клары Львовны, такой нужной до сих пор людям, все связи и знакомства, и жизнь крутой спиралью сходилась в одну точку – дети! На них замыкались ее душевные силы и отчаяние. Ночью Клара решила отправить сына к бывшей коллеге – врачу Марии Кравченко. О ней говорили, что живет хорошо, работает в той же клинике, имеет частную практику. Еще слышала Клара Львовна от Татьяны Кацубинской, что вроде бы прячет Мария раненого красноармейца. Через ночной город прокрался Леня к дому Кравченко, давясь слезами, передал мольбу матери и вернулся

с требуемой суммой.

– Если останешься жив, сделай все, чтобы вернуть долг Марии. Она спасла нам жизнь, – так сказала мама.

(В первое же лето после освобождения Украины Леня все заработанные в поле денежки завернул в тряпицу и отправился в Умань. Мария Кравченко выслушала Ленькину историю, молча повздыхала, вернула деньги со словами: «Учись, Леня, встань на ноги, тогда сочтемся, а деньги тебе сейчас пригодятся». В 1954 году, инженером, он приехал в Умань из Москвы, но Кравченко там уже не было, и никто не знал, куда она переехала. А спустя еще несколько лет кандидат наук Леонид Михайлович Ковальчук, случайно узнав, что Кравченко живет в Москве, с женой пришел к Марии Васильевне. Хозяйке была подарена только что вышедшая книга – монография с авторской надписью. Тогда Леонид и увидел у Марии медаль «Партизану Отечественной Войны» I степени.)

...Прошло несколько недель. Однажды вечером в гетто вошла женщина, укутанная темным платком, с желтой звездой на нарукавной повязке. Снова Татьяна Кацюбинская, смертельно рискуя собой, шла спасать Галкиных – узнала о готовящейся акции. Выходили из гетто, ожидая окрика или пули, укрылись на чердаке дома Кацюбинских. Три дня жили там, замирая от страха за себя и хозяев – знали о приговоре тем, кто прячет, спасает, сочувствует евреям. Татьяна изо всех сил старалась подбодрить своих жильцов, делилась едой, скудеющей с каждым днем. Прокормить еще троих даже в первые месяцы оккупации было сложно. И Клара Львовна сознавала это с нарастающим ужасом. Наконец она решилась, и ночью, тайком от хозяйки, трое вышли из дома и сели на пустыре среди бурьяна. Когда рассвело, Клара оставила детей ждать: «Пойду разведать...» Вернулась довольно скоро, лицо ее было светло и спокойно, как у человека, определившего свою судьбу, уставшего страшиться, отреченного от жизни.

– Убивают детей и стариков. Здоровых взрослых гонят на работы. Мы с Адой пойдем, а ты, Леня, постарайся спастись.

Она не добавила того, что было яснее ясного: с нее и восемнадцатилетней Ады можно было писать портрет библейской Рахили, они и шагу не ступили бы среди людей. Без них у Леньки есть шанс спастись: остренький носик, голубые глаза, темно-русые волосы – на еврея похож не больше, чем любой украинец или русский. Они ушли – на страдание и смерть, – а Леня остался. Самые близкие и родные, прибежище и утешение во всех его бедах и страхах, не могли ему больше ничем помочь, и отныне он должен был все решать и действовать сам. Не сразу он смог к этому привыкнуть. Он бродил по городу час и другой, не зная, что же делать и куда податься. И пошел... в гетто. На рыночной площади он увидел разрушенные халупы и всюду – трупы. Наткнулся на тело девочки с их улицы, в разорванной рубашонке, со вспоротым животом. Среди мертвых ходили, стаскивая их в кучи, живые – полицаи. Один прикрикнул на Леню:

«Брысь! Уже все что можно растаскали без тебя! Пошел, пока цел!» Теперь ноги понесли его к родному дому. Встретил Петра Кацюбинского. «Подожди здесь, спрошу у мамы, что делать». Пока ждал, подошли две одноклассницы: «Как, не в гетто?!» – и побежали за полицаем.

– Смотри-ка, живой жиденок! – полицай прихватил лапшей ворот рубашки, от души отвесил оплеуху и потащил в полицейский участок. Там собирали тех, кто спасся от погрома.

Наутро всех вывели на улицу, построили, немецкий офицер был готов вести колонну на расстрел. Вдруг из глазающей толпы кинулась маленькая пожилая женщина, быстро-быстро залопотала по-немецки, с жаром тыкая в Ленькину грудь. Это мальчика увидела в колонне обреченных его школьная учительница немецкого языка Галина Павловна. Офицер внимательно посмотрел на Галкина, подумал и толкнул его обратно в участок. Колонна ушла, а решением Ленькиной судьбы стал заниматься дежурный офицер. Галина Павловна, подрагивая мелкими буклями и для убедительности прижимая усохшие ручки к груди, доказывала, что знает эту семью хорошо много лет, что все они, а значит, и этот мальчик – чистейшие украинцы и что попал он сюда по недоразумению. Немец пунктуально составил протокол, но, поставив точку, потребовал еще двух свидетелей, готовых вместе с Галиной Павловной подтвердить Ленькину «невиновность». Этого требовала немецкая обстоятельность. Леня сидел, уставившись в пол, понимая, что решается его судьба, улавливая отдельные слова, но все же смысл происходящего не вполне доходил до его сознания.

(Это потом, несколько лет спустя, когда ежеминутный страх отпустит его сердце, когда улягутся в хронологический ряд все события тех дней, когда память восстановит все подробности, оставшиеся вроде бы за пределами внимания, когда значимость и моральная ценность слов и поступков займут свои места, он с благодарностью и тоской поймет, что старая учительница ставила на карту свою жизнь ради Ленькиной.)

В соседней комнате, за разговорами, коротали время в ожидании раздачи продуктового пайка обласканные твердым режимом жены полицаяев, местных хранителей порядка. Туда и влетела Галина Павловна в поисках двух свидетелей. Смог бы Плевако, стоя на краю бездны и рискуя каждую секунду туда рухнуть, произнести такую зажигательную речь?

– Гляньте, женщины! Готова пролиться украинская кровь! На наших глазах погибает безвинное дитя украинской земли, несчастный сирота!..

Старая учительница так разжалобила сытых теток, что к глазам потянулись платочки, и двое подписали протокол, на сегодня спасающий Леню от смерти. Жалость к замурзанному худышке была столь искусно вызвана и подогрета, что одна из женщин объявила перед всей публикой, что берет сироту, у которого «при бомбежке погибла вся семья», к себе. «Благодетельница» оказалась женой начальника уманьской украинской полиции.

Пока оформлялось Ленино «усыновление», его отправили в детский дом, куда были собраны детишки, оставшиеся без родителей, большей частью еврейские. По мере укрепления немецких порядков ребят небольшими группами увозили, объявлялось: в другие детские дома. Но однажды на рассвете вернулся один из увезенных, весь в крови, и рассказал, что их расстреливали, он уцелел случайно и, глубокой ночью выбравшись из-под трупов, прибежал предупредить детдомовцев. Ребята стали понемногу разбегаться.

(Приехав после освобождения Умани, Леонид узнал, что двенадцать еврейских детишек отвела в подвал своего дома и постепенно переправила в безопасные места Татьяна Антоновна. «Человек, одержимый интернациональным долгом», скажет о ней Леонид Михайлович Ковальчук.)

Два месяца Леня жил в доме начальника полиции. Два месяца в этом «благополучном» доме растила ожидание беды душа мальчишки. И однажды случилось то, что рано или поздно должно было случиться: в сенях Леня столкнулся – глаза в глаза – с Адиным соучеником в форме полицая. Снова смерть дохнула ему в лицо. Ночью он не мог заснуть, тихонько подкрался к спальне хозяев и услышал разговор:

– Когда сдашь жиденка?

– Подожди пока, вот в воскресенье вечером поведут в расход партию, возьму и его, убью своими руками змееныша.

Теперь не оставалось ни сомнения, ни надежды, ни времени.

К этой поре Леня уже слышал слова «линия фронта». Там, за этой линией – советские люди и советские законы, надо только перешагнуть эту линию, и все кошмары кончатся. Но и то он понимал, что любой человек без документов здесь, на оккупированной земле, может оказаться смертником. Что же делать? Хоть какую бы бумажку, удостоверяющую личность, справку... И вот Леня вырывает из хозяйской тетради, обычной ученической тетрадки в клеточку, лист и пишет: «Справка. Дана...» Нет, конечно же, нельзя писать – Галкину! Придумывает фамилию, перебирает знакомые. ...Вот! «...Ковальчуку Леониду Михайловичу, что он едет в Полтаву на постоянное место жительства к своей тете Марии Петровне Ковальчук».

Этот наивный документ, написанный на вырванном клетчатом листке детской рукой, стал первым свидетельством его личности, а потом основой для официального – сперва до конца войны, а потом на всю оставшуюся жизнь...

Трое суток шел он от Умани к Полтаве, где думал достичь линию фронта. Голод расшатывал под его ногами землю. Австрийский врач-офицер, ехавший в возке к Полтаве и остановившийся пообедать на обочине дороги, увидел голодные глаза, дал кусок хлеба. Осмелевший

Ленька попросил подвезти. Губа поднялась в брезгливой grimase, офицер пощелкал пальцами: «А вошка есть?» Ленька принялся горячо уверять, что вшей нет, в доказательство выворачивая наизнанку рубашку. Австриец разрешил пристроиться на краю возка. Ехали полдня и вдруг увидели толпу изможденных теней с лопатами и носилками – это заключенные строили немцам дорогу.

– Клара, посмотри!

Выпрямились и застыли две женские фигуры. Метнулись страх и изумление в глазах матери, немой крик перехватил Ленькино горло – так состоялась последняя встреча, последнее прощанье с мамой и сестрой. (Потом он узнал, что лагерь ликвидировали, уничтожив всех до единого в один день в сорок втором.)

С австрийцем Леня доехал до переправы через Днепр, дальше было нельзя: требовалось предъявлять документы. На берегу увидел обоз из пустых подвод – это немцы обязали крестьян доставить к фронту гужевого транспорт. Поговорил с обросшими мужиками, и один из них с удовольствием передал свою подводу Лене, а сам отправился назад восвояси. Среди обозников Леня познакомился с молодым красноармейцем, бежавшим из плена. Саша был одержим одним желанием – перебраться к своим и снова бить фашистов. Уже на следующий день после того как под Харьковом, куда отошла линия фронта, были сданы подводы, а немцы отпустили по домам крестьян, выдав справки всем, в том числе Леониду Ковальчуку, Ленька с ужасом увидел в колонне военнопленных Сашу. Тогда он понял, что не сможет перейти фронт.

...Дальше все было, как у всех советских людей, переживших оккупацию: голод и холод, неприкаянность, работа до изнеможения за кусок хлеба в деревнях. Он выдержал и выжил первую зиму, а потом ему повезло: его подобрала, выходила, пригрела в деревне Староселье Грушевского района украинская крестьянка тетя Соня Плахота. Эту женщину Леня считает второй матерью, она, зная всю его подноготную, кормила, воспитывала, поставила на ноги, отправила учиться сначала в школу, а потом в институт (на этом настаивала), так как хотела для своего питомца только высшего образования. До последних ее дней Леонид платил тете Соне сыновней заботой и преданностью.

* * *

1973 год. Доктор наук, профессор Ковальчук впервые выехал по служебным делам за границу. Случилось так, что оборудование для НИИ, в чьей комиссии по приемке решающее слово принадлежало Леониду Михайловичу, поставляла западногерманская фирма. Семнадцать тысяч километров за 40 дней по всей Западной Германии проехал обласканный фирмачами профессор, выступал с докладом в Мюнхенском университете, принимался был по высшему разряду, жил в самых фешенебельных

гостиницах. Ему почтительно внимали и кланялись дельцы и инженеры, в каждом городе его встречал врач подлечить воспалившийся палец (по телефону передавалась история болезни), а при отъезде на родину глава фирмы преподнес «маленький презент уважаемому профессору» – счет на 5600 марок за лечение, картинно порванный на клочки тут же, на глазах восхищенной публики. И все это время болезненно сжималось сердце внешне невозмутимого, сдержанного, немногословного ученого при виде ухоженных, подтянутых, отчужденных немцев с седыми висками, с военной выправкой, которые вполне могли в сорок первом пинать детей в лицо начищенным сапогом при выходе из гостиницы у стен гетто, бить палкой его мать и сестру, душить газом еврейских парней, расстреливать детей, стариков, женщин. И неожиданное продление на три дня командировки, такой приятной для всех членов комиссии, было для Ковальчука настоящим ударом, вызвавшим приступ сердечной боли, потому что он не дни, а часы пребывания в этой стране отмечал в своем блокноте.

Были потом еще поездки и в ФРГ, и в Швецию, но та, первая, вошла в его память страшным сном, ибо там было два человека: сорокачетырехлетний ученый Леонид Михайлович Ковальчук, корректный, твердый и благожелательный, и до смерти запуганный мальчишка двенадцати лет из еврейского гетто Ленька Галкин.

* * *

Выросли у моего давнего друга Ковальчука двое крепких сыновей. Они молоды – им еще далеко до возраста Христа. Они учатся – в институте, аспирантуре, развлекаются, влюбляются, словом, вовсю живут. Смотрят вперед, и им не хочется оглядываться, события сорокалетней давности для них – история. Возможно, поэтому Леонид Михайлович рассказал мне о своем далеком детстве, о мученической смерти близких: должен же кто-нибудь понять, как тяжело жить без того, чтобы не склонить голову перед родными могилами, на надгробии которых высечено «Галкины».

Признаюсь, я не единожды выпрашивала подробности, еще и еще выслушивала детали. Замечая, как тяжелели веки и уходил внутрь взгляд, как становилось судорожным дыхание и как тайком он снимал с ладони таблетку нитроглицерина, я чувствовала себя так, как, наверно, чувствовал бы себя хирург, оперирующий без наркоза, с той разницей, что он-то лечил бы, а что могу я? – разве что призвать память старшего и внимание младшего поколений к тому, что все мы обязаны знать и помнить.



Виктор Фет – родился в 1955 г. в Кривом Роге (Украина), вырос в Новосибирском Академгородке. Окончил Новосибирский университет, аспирантуру Зоологического института (С.-Петербург). В 1976–1988 гг. работал в заповедниках Туркмении. С 1988 г. в США; с 1995-го преподает биологию в Университете Маршалла (Западная Виргиния). Специалист по скорпионам. Автор статей и книг по зоологии, эволюции, истории науки; автор эссе о творчестве Кэрролла, Набокова, Евгения Шварца. Стихи публиковались в основном в периодике США и Германии; изданы восемь книг стихов, в том числе: «Многое неясно» (2004), «Известное

немногим» (2013), «По эту сторону» (2016), «Вскипает лава» (2022), «Над бездной» (2022). Первым (1975) перевел на русский язык поэму Кэрролла «Охота на Снарка». Составитель сборников «День русской зарубежной поэзии» (Франкфурт, 2019–2022).

На северном краю Карадениза

Стихи июля – августа 2022 года

Пусть

Пусть не позорно онеметь
по-русски в страшную годину,
когда с лица земли стереть
Россия хочет Украину,

но я умолкнуть не могу,
мои слова в надежном месте,
я их не уступлю врагу
свободы, совести и чести.

Покуда тьма объемлет свет,
мои уста не замолчали;
здесь выбора иного нет –
и, верно, не было в начале.

Глоток

Я думаю, что где-то есть исток
и разума, и языка.
А значит, мы дойдем до родника
и зачерпнем слова, которые пока
не встали горла поперек.
Ведь каждый нынешний глоток –
и вдох, и выдох – есть усилие, ожог,
раствор Люголя. Детские глаза,
открыты миру, отражают боль, –
в них свет и тьма, и Гоголь, и Люголь,
и тютчевская майская гроза,
и Блок со скифами, и взрослых разговоров

подслушанный туман: там кто-то воевал
в чужих краях; там, где на горный перевал,
как Ганнибал, взбирается Суворов
в Швейцарских Альпах. Эти имена
и камни трескаются с каждым годом,
своим потоком, как весенний сель,
смывая русла завоеванных земель,
горя в гортани сладким йодом.

Ушла моя безумная страна,
застряв в мозгу, как рыба кость.
Люголь иссушит душу. Что осталось?
От книг есть память; и от колоса есть ость;
от взорванного храма есть стена;
фантомные слова, слепая жалость,
глоток надежды, бешеная злость
и йодистого калия усталость.

Разговоры

Возможно, время перестало течь,
задержано потоком встречным,
а все, что мы считали вечным,
распалось на куски, как наша речь:
в ней нет ни смысла, ни опоры,
но все еще во всех краях земли
бездумные, пустые разговоры
ведут, как мы вели.

Я онемею от бесстыдства зла,
где вечность наступила и прошла
поблизости от входа в Дантов ад,
не освещенный фонарями;
где под обломками имперских колоннад
все слышится слепых безумцев смех;
где я оглохну от молчанья тех,
кого считал друзьями.

Август

Вот август наступил; но время тупит нас
об оселок судьбы, о кожаный ремень;
где клекот новостей и Эвересты фраз,
вливающихся в уши каждый день,
коробят мозг, распарывают душу,
как бритва, лезвие, атбмный нож
у сумасшедшего в трясущихся руках;
где Галичем описанная вошь
царит на сумрачных материках
и опоясывает ледяную сушу
гигантским призраком Теночтитлана.

Ох, далеко забросила Светлана
языческий гадальный башмачок;
в ночи не унимается сверчок,
твердящий про скрывайся и молчи,
предшественник библейской саранчи.

Так августа сгоревшие останки
 слагались в сны, пронизанные светом,
 куда Прагу занимали танки
 одесским безмятежным детским летом,
 где луч на воронцовском маяке
 ждет караваны южного ленд-лиза
 от кромки Ойкумены вдалеке,
 на северном краю Карадениза.

Страница

Стих – порожденье книжки записной,
 внутри ее координатных сеток
 он, как дыхание, всегда со мной
 предсуществует за пространством клеток.
 А строчками линованными мне
 писать всегда неловко: в их длине
 таится приглашение лукаво
 заполнить бланк, меж линий втиснуть речь,
 длиной строки просторы пересечь,
 пройти весь материк слева направо,
 где под ногами – ледяная глина;
 от Бреста добрести до Сахалина,
 на новую строку переместиться,
 как пишущей машинки бегунок,
 и заново пуститься на восток.

Но клетчатая дивная страница
 нас возвращает к той игре, где мы,
 в сибирских днях застряв среди зимы,
 на арифметике, в четвертом или третьем,
 топили крейсера в морском бою,
 гордясь своей страной и столетьем.

Я рисовал историю мою;
 там крестиков и ноликов гурьба
 участников ее обозначала:
 и ноль правителя, и крест раба;
 и лист мой был расчерчен от начала
 и до конца. Но умное перо
 все в тех же школьных клетках рисовало
 и аз, и юс, и веда, и добро,
 и амперсанд, и альфу, и омегу,
 и по имперскому чертило снегу
 мой первый, но отважный перевод,
 мой текст, непредусмотренный программой,
 где дух, я думаю, витал тот самый:
 из книги Бытия над тьмою вод.

Так складывались строки несерьезно;
 и солнечно им было, и морозно,
 и рифма рифму зацепляла плотно,
 передвигаясь, как речной паром;
 и Пушкин с Маяковским, беззаботно
 перекликаясь, сосуществовали,
 и карандаш с резинкою в пенале
 мирился с ручкой и стальным пером.

Так вот откуда сила наших фраз:
их пестует незыблемое детство;
поэзия – единственное средство,
пока еще доступное для нас,
туда вернуться, выучив уроки,
с кусочком мела снова встать к доске,
и вывести на новом языке
еще несуществующие строки.

Баллада

Уходит эпоха, как след на песке,
и все это видно в таком далеке,
что впору с сынами Эола
отыскивать формы глагола
на греческом и на латыни
среди бесконечной пустыни.

Отсюда одна только тема видна:
как ныне собирается сам сатана
с вальпургиевым легионом
скакать по полям опаленным;
но чуда Христова в Гадарской стране
никто не увидит на этой войне.

И псы фараоновы сходят с ума,
и их извергает геенна сама,
они пустотелы и бодрь:
их тьмы, легионы, леодры;
за ними фертштееров верных тьмы тем
выходят из мрака пещерных систем.

Их мозг распирает трусливая спесь,
и мир наполняет горячая взвесь,
смесь Молотова-Риббентропа;
во сне догорает Европа;
но взгляды отводятся мрачно,
и молвят: «Не все однозначно».

Чье страстное слово взорвет забвенье?
Кто вырвет из камня и меч, и копье?
Праца поразит исполина
иль меткий удар джавелина?
И мерзкое марево ада
прорвет ли простая баллада?

Тростник

«Потом напишешь ты. Сначала все прочти», –
сказал мудрец; и верно, мы читали
на не напрасно пройденном пути
все, что хотели и о чем мечтали.
Прочли не все, но дело же не в этом:
покуда тьма сгущается над светом,
смысл прежних слов стирается, а новый
еще не найден. Ныне каждый миг
в печи безвременья сжигает горы книг.

Когда-то в древние эпохи мне
 мой стилос дал арундо тростниковый,
 и флейту он же дал, и в них моя природа;
 а ведь другой у нас и не было и нет,
 и, кажется, она погибла на войне;
 но я уже давно провел немало лет
 в сухих горах у крепости Нимрода;
 там видно с козьей тропочки, со склона:
 у родников, неопытен и нищ,
 растет иной язык от прежних корневищ
 в пустыне на руинах Вавилона.

Ханаан

По краю неизученного мира
 мы плыли на восток вдоль берега до Тира,
 когда там царствовал Хирам;
 ливанский кедр везли в страну отцов,
 где ремонтировали храм
 и воздвигалось множество дворцов.
 Мы со стихиею боролись злою,
 могли погибнуть каждый час;
 но кедры пахли весело для нас
 своей божественной смолою.

Читай на обороте портолана
 (старинная береговая карта;
 их продают в святилище Мелькарта):
 там нет уже ни гота, ни алана,
 и Рим ушел, и нету Цареграда;
 но ясно вижу я издалека,
 что поднялась иная сила,
 и адским кораблям поставлена преграда,
 где плакала над сыном мать Ахилла
 на дальнем острове Левка.

Там, видимый до горизонта,
 поднялся вал разгневанного Понта,
 разрушен Карфаген, и ветер носит прах.
 Нам снятся войн обугленные лики
 на побережии безводной Мармарики,
 где не было царицы Таиах,
 но помнят имя Соломона.
 Уехали вандалы и сефарды,
 но кто-то там еще играет в нарды
 и бросил в чай щепотку кардамона.

Пустыня

Единственные верные слова
 и рифмы найдены до нас; но ныне
 они летят в нахлынувшей пустыне,
 как некие бывшие существа.
 Их лет поденный краток и жесток;
 тела их бьются в ветровой щиток;
 и память всходит звездными путями
 для многих, кто пустыню пересек.

Слова мои сливаются в октаву,
 хотя и рифма метит наугад,
 петляя между каменных громад,
 как где-то в Заилийском Алатау
 безумных сорок лет тому назад
 я шел тропой таинственной и южной,
 и цель моя тогда казалась нужной,
 и я не знал, что шел дорогой в ад.
 Но рухнули события, и страны
 ушли в платоновские котлованы,
 где царствуют адепты новой веры,
 степей новороссийских палачи,
 чьи души мертвые, разбросаны в ночи,
 как огоньки месторождений серы,
 как пламя от урановой свечи,
 видны в артиллерийские экраны.

Так где же разорвать маршрут проклятый?
 В каком краю припасть к живой воде,
 пусть замутненной и солоноватой?
 Мне говорят, что далее – нигде
 и никакими нашими судьбами.
 Вниз по ущелью виден океан.
 Но тех, кто продолжает быть рабами,
 пустыня не пускает в Ханаан.

Где ангелы?

Кончается эпоха,
 Кончается лафа.
 Но что особо плохо –
 Кончается строфа.

Возможно, иллюзорна
 Эмоция певца,
 Но мысли не позорно
 Продумать до конца.

Слова почти истлели,
 Молчит девятый чин:
 Они не видят цели
 Без следствий и причин.

Боюсь, непоправимы
 И мысли, и дела:
 Устали серафимы,
 Сложившие крыла.

Нас приостановили,
 Оценивая риск;
 И в глине, как в могиле,
 Застыл гончарный диск.

Мир ягодою спелой,
 Подгнившею с боков,
 Замерз в пучине белой
 Во глубине веков.

Огозвана частица,
Отставлена волна,
Мгновение не длится,
Жизнь пересечена.

Но где-то за пределом
Господняя рука
Владеть душой и телом
Пытается пока.

Майнкрафт

Нам Урания шепчет: честь не урони,
смысл и разум под смерча дыханьем храни;
но вернутся в халдейский ли Ур они?
Мы выходим на новые уровни,

где шахтерское дело и слово
уицраоры курируют снова;
Даниила Андреева ады
не вмещаются в строки баллады.

Я черкну на еще несгоревшем листке:
роза мира увяла на черном песке,
и засохнут небесные розы
от такой вулканической дозы.

Шар земной заключается в цепи,
где пылают донбасские крепки
из платоновского котлована

и всплывают из каменноугольной тьмы
те слова, что доселе не слышали мы:
лонгарина, рошпан, марчевана.

Я сам не знал

Я сам не знал тех слов, что мне пришли
на уровне известной мне земли
на ум и на язык, еще живой,
но умирающий ежеминутно
и возрождающийся в тот же миг.

И я листал страницы древних книг,
и заполнял свой полевой дневник,
и в словари заглядывал уютно;
но ветер дул, и лился тусклый свет
на мглистые бескрайние равнины.

Мои слова брели по краю льдины,
как Хансен, только через сотню лет;
с колен Творца сползал шотландский плед,
и понял я, что наши сны едины.

Слова

Я отпустил беззвучные слова,
они стрекочами вернулись на ладони,
их скорбный взгляд чем глубже, тем бездонней,
в них память дней осмысленных жива;
так опускаются и всходят сны:
из высоты, из глубины.

Порой они приобретают звуки
и формируют ткани языка,
и только стоит протянуть к ним руки,
как нужность слов становится легка.
Они встают далеким силуэтом,
как остовы неразрушимых фраз,
и речь, рождающаяся при этом,
течет сквозь нас, не покидая нас.

Сон

Мне приснилась маленькая сова,
говорившая правильные слова,
но у сов другой аппарат речевой,
и поэтому трудно болтать с совой.
Я услышал, что птицы в целом глупы,
что она – единственная из толпы,
что с людьми хотела бы жить и петь,
и что если я куплю ее за гроши,
то она хотела бы посмотреть,
как устроено все у людской души.

Я во сне ей спешил рассказать о нас,
подбирая простые осколки фраз,
без метафор и всяческих идиом;
я хотел в двух словах объяснить сове,
что мы делаем здесь и куда идем,
что там есть в человеческой голове,
что есть разум и как он возник на свет,
как сигнал прорывается через шум,
почему мы считаем, что наш странный ум –
результат развития многих лет,
и что значит жить не в процессе сна,
а на самом деле и наяву.

Я не знаю, что поняла она;
я проснулся, но не позабыл сову.
И когда замрет тиканье часов,
я опять в тот сон бережно войду,
где сидит синклит многомудрых сов
за столом, накрытым не в моем саду.

Книги

Я заполняю строчки дневника,
как полагается в моей науке;
пусть сохранит особая строка
том Заболоцкого с поэмой о Рубруке,

приобретенный мною в Казахстане,
в семидесятых. Помните, как были
мы счастливы, когда в степи, в горах,
в далеких селах книги находили,
к ним добираясь в глинистом тумане
на наших полевых грузовиках,
пересекая жаркие равнины?
Так археолог роется в могиле
и извлекает из кургана прах
и золото. Мне снятся магазины
те, книжные, в степи, до сей поры.

Сейчас доступны книги, как в раю;
я их сгружаю с облака в свою
расширенную память; но не знаю,
когда и что теперь я прочитаю,
когда сменились правила игры.

Уходит, испаряясь, каждый миг,
и нету времени для наших книг.

Диагноз

Нет, я молчанием иных
не удивлен уже – однако
оно, как метастазы рака,
проникло в полость тел больных
и поразило хрупкий разум,
подобно губчатым возбудителям.
Никто не знает, сколько лет
теперь понадобится, чтобы
восстановить иммунитет
на фоне немоты и злобы.

Здесь нет пригодной хирургии;
да и возможна ли она
на этой ненадежной базе?
Здесь гены надобны другие,
не сгнившие в эпохи сна.
Язык не вырвет серафим;
душа доступности режим
изменит, не желая связи
с подобным духом или телом,
как ангел мой в халате белом.

Маршрут

Наши образы и слова
из грядущего не видны:
мы не знаем, что за листва
золотые им шепчет сны.

И из прошлого не видны
очертания наших фраз:
луч оттуда, как свет луны
отраженный, питает нас.

На опасном лезвии лет
их преимственность не прерви:
это наш единственный свет,
сохраняющийся в крови.

В опускающейся ночи
пробивай по карте маршрут
в дни, куда доходят лучи
и частицы в крови бегут.

Сновидение

Стоит и отражается в воде
тот город (может быть, Одесса), где
я море увидел впервые; мне
он снова в повторяющемся сне
привиделся, как начатый эскиз.

Там есть один бульвар, ведущий вниз
(наверно, к морю); там же есть один
мне хорошо известный магазин,
букинистический. Я в нем бывал не раз,
хотя мои визиты были кратки;
я в разных книгах оставлял закладки,
как в детстве было принято у нас.

Я делал записи в своем блокноте;
там, в этом сне, мне снилось, что я сплю,
и я летал над городом, и даже
я в головокружительном полете,
похоже, делал мертвую петлю,
как Уточкин при высшем пилотаже,
но не используя аэроплана.

И мне порою это было странно;
я спрашивал толпящихся вокруг:
сон это или нет? Они молчали
и опускали взгляд; тогда я вдруг
знал: это сон. Так вот: в том самом книжном,
куда я возвращаюсь неизбежно
и осенью, и слякотной зимой,
я отыскал среди томов старинных
две книжки рукописных дневников
в потертых черных переплетках; текст
был почерком написан, мне знакомым,
и понял я, что почерк это мой.

Я жизни той не помню ни минуты –
ни рукописей, ни квартир, ни лет.
Что с книжками? Купить? Но денег нет:
я в местном банке не менял валюты.
Занять? Не отвечает телефон.
Украсть? Кладу в портфель; но мысль меня
пронзает новая: что, если это сон?

Я просыпаюсь, и при свете дня
мне говорят, что это наяву.
И я открыл портфель, но дневники
исчезли. И я снова засыпаю,
пытаясь удержаться на плаву,
покуда берега недалеки,
и вновь мечтаю, что перечитаю
две книжечки, приснившиеся мне.

Два старых неизвестных дневника
хранятся в памяти моей, пока
я возвращаюсь в город в давнем сне
и снова забегая в магазины,
где продаются дивные картины
и книги, пережившие века.



Анатолий Цукерман -

родился в Советском Союзе, окончил Московский Архитектурный Институт, работал архитектором в Москве. Эмигрировал в США в 1973 году. Окончил Школу Дизайна Гарвардского Университета, получил лицензию архитектора. В 90-х годах работал архитектором и переводчиком с американскими компаниями в Москве; был участником конференции в Центре Горбачева. Организовал литературные чтения в библиотеке г. Ньютон, Массачусетс. Издал двуязычные книги поэзии «Мост», «Ответственное искусство» и «Двуязычие/Bilingualism». а также книгу рассказов

«Город новой судьбы» на английском языке (*The City of Newdoom, 2015, Amazon, Anatol Zuckerman*).

Воскрешение Марины Цветаевой

Одна из самых трагических фигур российской поэзии, Марина Цветаева обладала уникальным талантом стихосложения, по силе схожим только с талантом Маяковского. Другие поэты принадлежали к разным группам и стилям, а Цветаева не принадлежала ни к чему, металась между Востоком и Западом, не уживалась ни с кем и создала свой собственный поэтический стиль. Такой душевный настрой близок и мне, эмигранту, летающему между Америкой и Россией в тщетной попытке их объединить.

Поэтому я решил воскресить музыку цветаевской поэзии в английском языке. Задача не из легких. Насколько я преуспел в этом предприятии, судить не мне, но я должен представить мою работу на суд читателя. Прежде всего, мое запоздалое письмо Марине.

Анатолий – Марине

*Гетто избраннычества! Вал и ров.
Поцяды не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты – жиды!*

Марина Цветаева

Мятущаяся между двумя врагами,
Из одного гнезда,
Марина Ивановна, постойте, я с вами
В знакомые нам места.

Цветы соберем и надежды посеем,
Повечеряем во мгле.
Не надо отдельной петли на шею,
Когда вся страна в петле.

Правда всегда карается смертью,
Где бы ни бегать по нашей земле,
Где ни пускать бы мечты по ветру –
В Париже, в Бостоне или в Москве.

Свобода любить и свобода слова
 Запрещены у верховных воров.
 Жидов и поэтов справа и слева
 Бьют на улицах всех городов.

Стихи и таланты купили за деньги,
 Сняли с гвоздя Советский Союз.
 Но мы этот гвоздь вырвем из стенки,
 Чтобы на нем никто не повис.

Я Вас поцелую, а Вы заплачете,
 Соединимся, как Бог велел,
 Снова сплетем запоздалое счастье
 Из наших снова оживших тел.

А небо в Елабуге будет сине,
 И я узнаю в толпе облаков
 Ваше лицо, как мое спасенье,
 С теплой улыбкой Ваших стихов.

В Москве стоят памятники Пушкину, Лермонтову, Маяковскому; наконец-то поставили памятник Цветаевой в Борисоглебском переулке. Пушкина и Лермонтова убили на дуэли, Есенин повесился, Маяковский застрелился, Мандельштам умер в Сучанском лагере; Цветаева повесилась на том самом гвозде, который теперь приезжают потрогать люди со всего мира. Маяковский был коммунистом, как и муж Цветаевой Сергей Эфрон, но Маяковскому поставили большой памятник, а Эфрона расстреляли. Именем Маяковского назвали центральную площадь в Москве, а площади Цветаевой в Москве нет. Предлагаю переименовать Борисоглебский переулок в улицу Цветаевой.

Между тем в Америке продолжается убийство Марининых стихов при помощи прозы. Вместо перевода идет их пересказ, да и то не совсем аккуратный. Зачем называть пересказ переводом и присваивать имя великих русских поэтов своим упражнениям? Затем, что англоязычные поэты сами так пишут стихи: разбивают прозу на короткие строчки и называют это поэзией.

Когда я говорю им о музыке человеческой речи, они смотрят на меня, как будто у меня две головы на плечах – одна музыкальная, другая литературная. И кто привел этого парня в наш «садик»? Какая музыка? Хочешь музыку – бери Гамлетову флейту, играй на здоровье! Это касается не только Цветаевой – происходит планомерное искажение русской поэзии, от Пушкина до Окуджавы. И такие литературные преступления не только не наказываются, но печатаются, поощряются и прославляются!

Интересно, что наши пересказчики не осмеливаются делать это с «Онегиным». Среди трех десятков англоязычного «Онегина» есть только один дословный пересказ – принадлежащий Набокову, – да и тот заклемен и отвержен. Почему же печатаются бездарные пересказы Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама и других великих?

А кто в Америке читает русские стихи? Русские эмигранты читают, но им не интересны английские переводы. Американские академики читают, но они не хотят или не умеют переводить в рифму, соблюдая размер оригиналов. А кто будет их проверять? Другие академики, которые тоже не хотят и не умеют.

Пересказчики грабят российских поэтов,
Убивают музыку их стихов.
Их надо бы высечь публично за это,
А их публикуют до потолков!

Эти евнухи знают все про любовь
И толкуют об этом, как женщины.
Но не могут любить за пределами слов,
Только смотрят в замочные скважины.

Читательским массам объясняют ситуацию. Да, была такая русская поэтесса Марина Цветаева, она страдала, тосковала по родине, покончила с собой. Это мы понять можем. Россия – страшная страна, там была ужасная революция, Цветаева от нее пострадала, все ясно, политически грамотно; а кому нужны рифмы и ритмы?

В одной из статей говорится, что Цветаева была великим русским поэтом, но ее стихи трудно понимать и еще труднее переводить. Ко мне это заявление пришло слишком поздно, я ее стихи уже перевел.

Современным американцам либо лень переводить, либо просто у них нет музыкального слуха. Для маскировки своей импотенции они проповедуют новую теорию английского языка, который, якобы, не был создан для рифмовки стихов. Эта смехотворная теория опровергается всей историей английской поэзии, от Шекспира до Фроста, но упрямо повторяется нашими пересказчиками.

Открываем книгу *Elaine Feinstein "Marina Tsvetaeva. Selected poems"*, изданную четыре раза – в 1971, 1981, 1986 и 1993-м годах. Восемь славистов прислали переводчице 49 дословных пересказов Марины Цветаевой. Осталось только перевести. Читаем результат.

Homesickness! That long
exposed wariness!
It's all the same to me now
Where I am altogether lonely

or what stones I wander over
home with a shopping bag to
a house that is no more mine
than a hospital or a barracks.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

Тут потеряна не только рифма, но и ритм. Не в лад, не в склад и невпопад. Это перевод типа «Раз, два, три, четыре, пять, вышел погулять зайчик с большими ушами». Сравните с моим переводом:

Longing for motherland! Long
Ago discredited nightmare!
Where to be absolutely alone
I absolutely don't care!

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой

What kind of stones to walk on
Dragging a flea market bag
To a house that doesn't know it's mine,
Like a hospital or a barrack.

Быть. По каким камням домой
Брести с кошелюко базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

И еще одно убийство Цветаевой из той же книги. Приведу фрагмент стихотворения «Попытка ревности».

How is your life with the other one,
Simpler, isn't it? One stroke of the oar
Then a long coastline, and soon
Even the memory of me

Как живется вам с другою, –
Проще ведь? – Удар весла! –
Линией берегового
Скоро ль память отошла

will be a floating island
(in the sky, not on the waters):
spirits, spirits, you will be
sisters, and never lovers.

Обо мне, плывучем острове
(По небу – не по водам!)
Души, души! – быть вам сестрами,
Не любовницами – вам!

Снова зайчик с большими ушами. Сравните с моим переводом этих двух четверостиший.

How are you with another,
Isn't it simpler? – Pull an oar! –
Like a fading out shore
How long did you remember

Как живется вам с другою,
Проще ведь? – Удар весла! –
Линией берегового
Скоро ль память отошла

Me, the floating island, for?
(In the skies, not on the waters!)
Souls, souls! You'll be sisters,
Not the lovers anymore!

Обо мне, плывучем острове
(По небу – не по водам!)
Души, души! – быть вам сестрами,
Не любовницами – вам!

Я несколько лет был членом ALTA (*American Literary Translators Association*), но все члены переводили российских поэтов, пренебрегая рифмой и размером оригиналов, – так легче. Я предлагаю переименовать эту организацию так: ALTA (*American Lazy Transaction Association*), по-русски: АЛАП (Ассоциация Ленивых Американских Пересказчиков).

Вспомним знаменитые слова Роберта Фроста: “*Translating without rhyme is like playing tennis without a net*” (Переводить без рифмы – все равно что играть в теннис без сетки). Давайте, для потехи, перескажем одно четверостишие из знаменитого стихотворения Фроста:

The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Лес очень красивый, темный и густой,
но мне нужно хранить свои обещания,
и долго ехать, прежде чем лечь спать,
и долго ехать, прежде чем лечь спать.

Тут все понятно: Фрост устал, он хочет отдохнуть в красивом лесу или даже, не дай Бог, умереть там, но не может себе этого позволить – он должен жить, чтобы выдержать свои обещания. А при чем тут рифма “*deep*”, “*keep*”, “*sleep*”? Да это так, для украшения, подсластить горькую правду. Простим

старика, он старомодный. Модный американский поэт Т. С. Элиот пытался убедить Фроста бросить такие глупости, но Фрост остался верен своему стилю. Между прочим, в наше время этот стиль, как одежда, снова становится модным.

Теперь почитаем мой перевод стихотворения Цветаевой, над которым я трудился много лет:

Longing for motherland! Long
Ago discredited nightmare!
Where to be absolutely alone
I absolutely don't care!

What kind of stones to walk on
Dragging a flea market bag
To a house that doesn't know it's mine,
Like a hospital or a barrack.

I do not care in what kind of faces
To bristle – a captive lioness,
What kind of human assemblies
To be expelled from – always –

Into myself, the prison of my senses,
Like a Kamchatka floating bear,
Where not to be accepted by good citizens,
Where to be humbled – I don't care!

Neither I'd fall for my native tongue,
Its nurturing milky feel.
What do I care in what kind of sound
To be misconstrued by people!

(By readers of endless papers,
Gossiping gobblers and drinkers...)
They are of the current years,
But I am of many centuries!

To me, stupefied like a lone pole,
Left from the alley of trees,
All are the same – I don't care at all,
And maybe the deepest sameness –

The most native one – is my past.
Because all my omens and dates
Were blown away like dust:
My soul was born – some place.

My country forsook me so
That even the sleuth of a highest rank
Who searches the length of my soul –
Will not discover my birthmark.

Any home is strange, any temple is void
To me, I am free and alone,
But if a bush would stand on the road,
Or maybe even a rowan...

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно –
Где совершенно одинокой

Быть. По каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц ощетиливаться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть выгесненной – непременно –

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведем без льдины
Где не ужитья (и не тпуть!),
Где унижаться – мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья – он,
А я – до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все – равны, мне всё – равно,
И, может быть, всего равнее –

Роднее бывшее – всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло:
Душа, родившаяся – где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек!
Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...

Цветаева написала это в 1934 году – за семь лет до того, как затравленная, отверженная на Западе и на Востоке она покончила с собой в Елабуге; через четыре года после того, как Маяковский выстрелил себе в сердце в Москве; за четыре года до того, как Мандельштам умер от истощения в Сучане. Все они погибли на Востоке, но наши пересказчики продолжают убивать их поэзию на Западе.

Вот стихотворение Цветаевой «Эмигрант»:

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами
 Дамами, Думами,
 Не слюбившись с вами, не сбившись с вами,
 Неким –
 Шуманом пронося под полой весну:
 Выше! из виду!
 Соловьиным тремоло на весу –
 Некий – избранный.

Боязливейший, ибо взяв на дыб –
 Ноги лижете!
 Заблудившийся между грьж и глыб
 Бог в блудилище.

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь
 Не отвыкший... Виселиц
 Не принявший... В рвани валют и виз
 Беги – выходец.

А вот то же стихотворение в переводе Мэри Джейн Вайт, без рифмы и ритма Цветаевой, но с изобретением переводчицы.

An Emigrant

Here among you: your lodgings, your lucre, your smoke,
 Your ladies, your Legislatures,
 Having not got used to you, having not been blunted by you
 Like a certain –
 Schumann scudding along with spring on the sly:
 From above! and beyond!
 Like a nightingale's suspended tremolo –
 A certain one – is chosen.

The most timorous one, and having stretched him on the rack –
 You lick his feet!
 Having lost his way among your hernias and love-handles
 God is left to wander among your lechers.
 Superfluous! Embroidered! Walk-out! Upstart! Uppity
 And not grown out of it... Unwilling to submit
 To the gallows... Among your riot of currencies and visas
 An exile from Vega – from a distant star.

При чем тут звезда Вега? У Цветаевой нет никаких звезд. Сравните с моим переводом:

An Emigrant

Here, among you, with homes, monies, smokes
Dames, Thoughts,
Unloved, separated, severed,
Like some

Shumann carrying spring under a coat:
Higher! Above the vision!
A nightingale tremolo on the spot -
Alien - chosen.

Tortured, scared out of his wits -
Then you lick his shoes!
Lost between ruptures and rocks
God in a whorehouse.

Stranger! Superior! Challenged! Banished!
Not forgetting... Rejecting Gallows
Lost between in visas and bonds
Run, - ravenous.

Я долго искал достойные переводы Цветаевой на английский язык. Есть сборник *"Marina Tsoetaeva in English"*. Я выбрал лучшие - Ильи Шамбата, - но и он «оживил» Цветаеву лишь наполовину. Спасибо и на том. Вот один из его переводов («Моим стихам, написанным так рано...»).

These my poems, written so early,
That I did not know then I was a poet,
Which having tore, like droplets from a fountain,
Like sparks from a rocket,

Into a sanctuary, where there is sleep and incense,
Like little devils having burst,
These my poems about youth and about death,
This unread verse!

Scattered through shops in piles of dust
Where nobody picked them up or does,
These my poems, like precious wine,
Will have their time.

Тут в каждом четверостишии рифмуются только две строки из четырех - значит, Цветаева здесь полурифмованная, то есть полуживая. Есть в поэзии неписаное правило: начал рифмовать - рифмуй все, до конца, а то получается колбаса с гвоздями. Неужели так трудно зарифмовать все четыре строки?

Попробуем.

So early written were my poems,
When I knew not that I was poet,
My poems sprayed like fountain drops
Like sparks from a loose rocket,

Моим стихам, написанным так рано,
что и не знала я, что я - поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

That broke like raging little devils
 Unto a sacred sleepy set,
 My verse about youth and death -
 My poems were unread!

Ворвавшись, как маленькие черти,
 В святилище, где сон и фимиам,
 Моим стихам о юности и смерти
 - Нечитанным стихам! -

Abandoned in the dusty markets
 (Where nobody would ever touch them),
 My poems, like enchanted wines,
 Will have their time.

Разбросанным в пыли по магазинам
 (Где их никто не брал и не берет!),
 Моим стихам, как драгоценным винам,
 Настанет свой черед.

Вот еще один мой перевод:

The same youth, the same rugs,
 The same nights at a bonfire...
 My heavenly lyre of the highest rings
 Is a sister to your guitar.

Та ж молодость, и те же дыры,
 И те же ночи у костра...
 Моя божественная лира
 С твоей гитарою - сестра.

The same gift was given to us
 For blowing blizzards in souls.
 The same title - the burglar of hearts
 Was put in our different cradles!

Нам дар один на долю выпал:
 Кружить по душам, как метель.
 - Грабительница душ! - Сей титул
 И мне опущен в колыбель!

When you wring your hands in distress,
 You are not one in the fog of days
 Attempting to lure young princes
 With the Gypsy's brew of farewells.

В тоске заламывая руки,
 Знай: не одна в тумане дней
 Цыганским варевом разлуки
 Дурманишь молодых князей.

Know: you aren't the only who dares
 To long for a jealous knife,
 Know that we are sisters
 In the greatest vileness of love.

Знай: не одна на ножик вострый
 Глядишь с томлением в крови, -
 Знай, что еще одна... - Что сестры
 В великой низости любви.

Лучшее, что я мог найти в английских переводах Цветаевой, был сборник "*Tsvetaeva, Marina (1892 - 1941) Twenty Four*". Но и он часто теряет ритму и размер Цветаевой.

В противовес ему приведу мой перевод очень сложного стихотворения Цветаевой «Попытка ревности».

Attempted jealousy

How are you with another,
 Isn't it simpler? - Pull an oar! -
 Like a fading out shore
 How long did you remember

Me, the floating island, for?
 (In the skies, not on the waters!)
 Souls, souls! You'll be sisters,
 Not the lovers anymore!

How are you with a woman
 Simple? Not divine?
 You, who threw czarina down,
 Abdicator of the crown,

Попытка ревности

Как живется вам с другою,
 Проще ведь? - Удар весла! -
 Линией берегового
 Скоро ль память отошла

Обо мне, плывучем острове
 (Пó небу - не по водам!)
 Души, души! - быть вам сестрами,
 Не любовницами - вам!

Как живется вам с простою
 Женщиною? Без божества?
 Государыню с престола
 Свергши (с оного сошед),

How are you doing, striving,
Shivering? And getting up?
Taxed by your immortal trivia,
How are you, my poor chap?

“Had enough of fits and shortage!
Now I will rent a house.”
How are you – with an average,
You, the hero I chose!

Are your dinners more delicious?
When fed up, don't come and cry.
w are you with a semblance –
You, who vanquished my Sinai!

How are you with a solid,
Unpretentious? Like her ribs?
Doesn't shame beat up your forehead
With the Zeuses' whips?

How are you living, prosperous?
Faring nicely? Sing and chat?
With an ulcer of your conscience
How struggles my poor chap?

How manage you the market
Goods? Are taxes high?
After the Carrara marble
How live you with a grime

Of gypsum? (God, of stones
Carved, and crashed to grit!)
How are you with a thousandth –
You who knew Lilith!

Are you sick of market wholeness?
You who're tired of magic spells,
How are you with an earnest
Woman's love with no sixth sense?

Oh, you clutch your head?
So happy?
In a shallow ravine,
How are you, dear? As bad
As I am with other men?

Как живется вам – хлопочется –
Ежится? Встается – как?
С пошшиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

«Судорог да перебоев –
Хватит! Дом себе найму».
Как живется вам с любовью –
Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее –
Снедь? Приесся – не пеняй...
Как живется вам с подобием –
Вам, поправшему Синай?

Как живется вам с чужою,
Здепнею? Ребром – люба?
Стыд Зевесовой вождою
Не охлестывает лба?

Как живется вам – здоровится –
Можется? Поется – как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?

Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог – и начисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной –
Вам, познавшему Лилит!

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых

Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин –
Как живется, милый? Тяжче ли –
Так же ли, как мне с другим?

Ладно, почитаем что-нибудь попроще – «Приметы» Цветаевой из цикла «После России». Тут простой трехстопный ямб, деваться переводчику некуда. Я стараюсь придерживаться числа слогов оригинала (см. цифры в конце каждой строки), чтобы прежде всего сохранить размер, а потом избрести и рифму, пусть не всегда идеальную:

Omens

As if I carried a mountain – 9
 That's how my body aches! 6
 I know love by a happy pain 9
 Along all my body's length. 6

As if a field was plowed inside me 10
 Open to raging squalls. 6
 I know love by my distant sighting 10
 Of all and everything close. 7

As if a burrow black as tar 9
 Was dug in my depth. 5
 I know love by a moaning scar, 9
 Along all my body's length. 6

Like a Hun with a horse's mane 8
 I'm swirled with a breeze: 5
 I know love by a sudden strain 9
 Of my most reliable strings 7

In my throat were rust and salt 8
 Live in the throat's clefts. 6
 I know love by a split, 7
 No! – by a trill – 4
 Along my body's length! 6

Приметы

Точно гору несла в подоле – 9
 Всего тела боль! 5
 Я любовь узнаю по боли 9
 Всего тела вдоль. 5

Точно поле во мне разъяли 9
 Для любой грозы. 5
 Я любовь узнаю по дали 9
 Всех и вся вблизи. 5

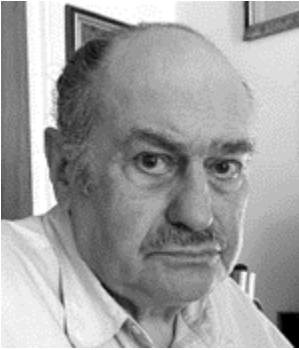
Точно нору во мне прорыли 9
 До основ, где смоль, 5
 Я любовь узнаю по жиле, 9
 Всего тела вдоль 5

Стонущей. Сквозняком как гривой 9
 Овеваясь, гунн: 5
 Я любовь узнаю по срыву 9
 Самых верных струн 5

Горловых, – горловых ущелий 9
 Ржавь, живая соль. 5
 Я любовь узнаю по щели, 9
 Нет! – по трели 4
 Всего тела вдоль! 5

Я не знаю более сильного эротического стихотворения, чем это.

К сожалению, Цветаева должна была бросить эротику и погрузиться в чуждую ей политику.



Виктор Штильбанс – родился

в 1941 г. в Кемерово, в эвакуации. С 1944 года – в Ленинграде. В 1964-м окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт. С 1965-го по 1970 год работал младшим научным сотрудником в Военно-медицинской академии им. Кирова. В 1970-м был арестован и осужден за антисоветскую сионистскую деятельность; освобожден по отбытии срока наказания в 1971 году; реабилитирован в 1990 году. С 1971-го по 1995 год работал врачом. В 1992-м защитил кандидатскую диссертацию. С 1995 года живет в США, в Нью-Йорке. В 1998-м закончил годичную

школу цитотехнологов и с 1998-го по 2015 годы трудился в качестве лаборанта, совмещая это с научной работой на общественных началах в медицинской школе Маунт Синай. С 2015 года – на пенсии. Женат, есть сын и четверо внуков.

Самолетное дело в судьбе советских евреев

Описываемые события происходили давно, более полувека тому назад, и мало кто сейчас знает о них. Толчком для этих событий послужило то, что власти тогдашнего СССР активно противились выезду евреев на постоянное жительство в Израиль. Такое желание тогда расценивалось чуть ли не как помыслы об измене Родине, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В основу предлагаемого очерка положен доклад автора этих строк на 71-й сессии Миллбурнского литературного клуба 9 января 2022 года. Представленный здесь материал не является единственным источником информации по затронутой теме, а освещает точку зрения автора – одного из участников тех событий. В Израиле вышли книги ныне покойного Гилеля Бутмана, Иосифа Менделевича, опубликованы статьи многих авторов, из которых мне наиболее близки (не только на основе личной дружбы, но и по существу) работы Ильи Слосмана; сняты полудокументальный-полухудожественный фильм Анат Кузнецовой-Залмансон, – ценность его в том, что в нем сохранен дух того времени, – а также документальный фильм (А.Разгон).

Свое изложение событий и их трактовку начну с описания нашего душевного состояния и нашей жизни в Советском Союзе то время – в конце 60-х годов XX века. Мы жили в эпоху государственного антисемитизма в стране (и он воспринимался нами как данность) и оголтелого разжигания ненависти к еврейскому государству. Никто из моего окружения и не помышлял о борьбе за равноправие. Однако мы не называли СССР Родиной, мы говорили – «эта страна». Мы мечтали уехать из этой страны, основой национальной политики которой были этноцид евреев и тотальная русификация всей жизни. Характерно, что в тот период на смену прав наций на самоопределение (которого никто не отменял) пришла политика ограниченного суверенитета стран социалистического лагеря, явившаяся

ответом на события в Чехословакии и ряде других стран народной демократии, не желавших идти в фарватере курса Советского Союза, по самоубийственному пути.

Желание уехать из СССР было постоянным и всеохватывающим. Изучение иврита и еврейской истории было подготовкой к отъезду. Через моего друга Владика Кнопова я попал в один из ленинградских кружков (разумеется, нелегальных), где изучали иврит и еврейскую историю. Руководителем-организатором кружка был Гилель Бутман. Он приходил на занятия, интересовался тем, как идут дела. Иврит преподавал Илья Элинсон, сын писателя-переводчика Белова (это его псевдоним). Материал по истории еврейского народа в древнее время лектор излагал в соответствии с Торой или Библией. Я привел на эти занятия своего товарища Илью Слосмана. Его успехи в освоении языка были значительно лучше моих.

Во время одного из занятий Гилель спросил меня, хочу ли я активно помогать учебному процессу. Я согласился, но сказал, что мой уровень знания изучаемых предметов пока не позволяет быть «морэ» – учителем. «Для начала вступай в нашу организацию, а потом найдешь себе дело», – предложил Бутман. На ближайшем заседании его группы меня и Кнопова приняли в ленинградскую сионистскую организацию (естественно, нелегальную). Это было осенью 1969 года. Организация имела все необходимые для репрессий со стороны КГБ атрибуты: временные программу и устав, члены ее платили ежемесячные взносы. Она состояла из низовых групп и Комитета, образованного их руководителями. При Комитете был редакционно-издательский отдел, выпускавший журнал «Итон» (газета, иврит). Задачами организации, составляющими временную программу, были борьба за разрешение на выезд в Израиль и борьба с насильственной ассимиляцией. Для выполнения первой задачи подавались заявления в ОВИР (Отдел виз и разрешений) с просьбой о разрешении на выезд. Эти просьбы в то время почти всегда заканчивались отказом и потерей работы, чему предшествовало собрание по месту работы, на котором заявителя буквально шельмовали.

Члены организации составляли, подписывали и отправляли в различные инстанции письма-жалобы на отказы в разрешении выезда, проводили мирные пикеты и демонстрации протеста. Эти действия пресекались Органами, с их участниками проводили беседы-запугивания. Выполнение второй задачи – борьбы с насильственной ассимиляцией, состоящей, в частности, в уничтожении еврейской культуры на всей территории СССР, – включало распространение еврейской литературы, изучение истории евреев и иврита, что должно было пробуждать еврейское самосознание.

Вскоре я стал библиотекарем в нашей группе и распределял среди ее членов брошюры и книги, находившиеся у меня. Органами эта литература

была признана антисоветской. Это были роман Леона Юриса «Исход», книги Самуила Галкина и, наконец, самое «антисоветское» издание – журнал «Итон», с письмами тех, кому было отказано в разрешении выезда (так называемых «отказников»), в различные высокие инстанции с просьбами и требованиями пересмотра решения по их делу.

* * *

Выехать из СССР легально мне представлялось практически невозможным. Мне приходили в голову и отменялись как нереальные различные способы побега из страны. И, видимо, не только мне. Как-то весной 1970 года Гилель Бутман спросил о приемлемости для меня нелегального выезда из СССР. Это совпадало с моими желаниями, и – чего греха таить – я постеснялся отказаться. Он сказал, что речь идет об одноразовой возможности, которая больше не повторится, и пояснил, что имеется в виду захват самолета. Признаюсь, мне стало страшно.

На мои утверждения, что это нереально, Гилель возразил, что техническая сторона дела уже решена, нужно мое принципиальное согласие бежать из СССР в качестве пассажира самолета. Я подтвердил свое согласие. Потом было еще несколько бесед с Бутманом, и на мой вопрос, угрожают ли наши действия жизни пилотов, он ответил, что не более, чем нашим жизням. Этот ответ меня удовлетворил. Полет должен был формально представляться как увеселительная поездка на свадьбу одного из членов нашей организации. Поэтому вся эта затея получила название «Операция Свадьба». План Гилеля о технике устранения экипажа от управления самолетом (о нашем пилоте, способном вести и посадить самолет в нужном нам месте, Гилель говорил мне раньше) показался мне невыполнимым: уговоры, угрозы и попытки связать пилотов, – все это казалось нереальным. Нереальным, на мой взгляд, было и временное выведение пилотов из строя путем наркоза закисью азота или введения им внутримышечно амизила – препарата, нарушающего адекватную психическую деятельность на короткий срок. Разговоры на эту тему я воспринимал как пустую болтовню.

Наш отлет по маршруту Ленинград – Мурманск был назначен на 2 мая 1970 года. Я был уверен, что во время полета ничего не произойдет – слетаем туда и обратно, опоздаю на один день на работу. И я уже представлял, как буду оправдываться за прогул. Однако дальнейшие события развивались иначе.

* * *

В начале апреля 1970 года состоялась конференция нашей организации, на которой присутствовали примерно 20 делегатов. В мою и моего товарища Владика Кнопва задачу входило накормить участников конференции и наблюдать, нет ли за нами слежки. С приготовлением бутербродов мы справились, а с контрразведывательной работой, по-видимому, нет. Ничего

подозрительного мы не обнаружили. Основными вопросами конференции были: принятие программы, основные пункты которой – борьба с ассимиляцией и борьба за выезд в Израиль – уже давно практически осуществлялись; принятие устава, по которому членам организации запрещалось участие в деятельности антисоветских организаций. Тем самым подчеркивалось, что мы хотим только получить разрешение на выезд из СССР, не покушаясь ни на его государственное устройство, ни на что другое. И вдруг прозвучал вопрос об организуемом Бутманом захвате самолета и бегстве на нем за границу. Я не помню, кто вынес этот вопрос на обсуждение. Участники конференции были шокированы. Бутман был крайне недоволен произошедшим. Однако коллективный разум оказался сильнее логики нескольких сторонников Гилеля. Участники конференции предложили прекратить все рассуждения на эту тему и отказаться от идеи угона самолета. Но Гилель добился уступки – он потребовал запросить разрешения израильских спецслужб на угон самолета. Невольно встает вопрос, хотел ли он действительно втянуть руководство Израиля в это дело или поступал так в силу своего патологического честолюбия. Я склоняюсь в пользу последнего. На запрос пришел отрицательный ответ. После этого Гилель сказал мне и Кнопову – думаю, что и остальным предполагаемым участникам операции, – чтобы мы забыли обо всех разговорах на самолетную тему. Надо сказать, что я вздохнул с облегчением.

* * *

Все остальное, что касается попытки захвата самолета, я знаю из материалов дела, с которым ознакомился в качестве обвиняемого по ст.ст. (так на их языке обозначалось множественное число от слова «статья») 70, часть 1, и 72 УК РСФСР. Поясню содержание статей: 70 – антисоветская агитация и пропаганда и пропаганда совершения особо опасного преступления; эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет со ссылкой или без; статья 72 не предусматривала срока изоляции, но отягощала наказание по 70-й статье. Отмечу, что первоначально было предъявлено обвинение по статье 64 (измена Родине), предусматривающей смертную казнь. Логика такая: хотите опровергнуть – рассказывайте вашу версию событий, или, попросту, давайте показания. В такой ситуации трудно держать язык за зубами. Меня начали допрашивать 15 июня 1970 года, а арестовали 20 августа того же года, после того как идентифицировали, что статья «Наши задачи» (подробнее – см. ниже) была напечатана на моей машинке. Пока я был на свободе, я не давал показаний, а через четыре дня после ареста следователь предъявил мне собственноручные признания Бутмана, и я тоже стал давать показания. Не давал их только Гилель Шур, который, как мне кажется, и о самолете ничего не знал, и с литературой не был связан. Он получил свои два года за стойкость. Дымшиц с первого допроса начал давать подробные показания – возможно, тем самым спасая от ареста жену и двух дочерей. Бутман стал давать показания через две недели после ареста. Он говорил и такое, о чем

мог бы умолчать, но объяснял это потом в своей книге тем, что не умеет врать. На это хочется сказать, что раз не умеешь врать и знаешь, что дело, за которое взялся, может привести к малоприятным беседам со следователем (а он это знал и неоднократно предупреждал нас, членов своей группы, что сидеть будем, да и сам он был следователем в милиции), – так не ввязывайся в такое дело! Правда, вероятно, он, как и все мы, был оглушен подрасстрельной 64-й статьёй, поэтому потерял контроль над собой. Все мы рассчитывали на наказание только по 70-й статье.

* * *

Но с того времени, как Гилель сказал, что о захвате самолета можно забыть, до первых обысков и арестов деятельность организации продолжалась. Мне понравилась работа по изданию журнала «Итон», я думал над тем, как сделать его интереснее, какие материалы, помимо публикуемых писем, могут способствовать выполнению стоящих перед ним задач. Я написал статью «Наши задачи», в которой предлагал пути повышения эффективности деятельности нашей организации по улучшению пропагандистской работы среди евреев. Передал статью Гилелю и попросил высказать свое мнение. Если статья подойдет, понравится ему, я надеялся опубликовать ее в нашем «Итоне», а если не подойдет – уничтожить. Но Гилель положил статью в карман пиджака и забыл о ней, так как стремительно развивались другие, не известные мне события, завершившиеся в аэропорту «Смольное», под Ленинградом. Впервые он прочитал эту статью по предложению следователя, а изъята она была из кармана его пиджака при обыске во время ареста. В дальнейшем следователи взяли на себя труд по распространению моей статьи, знакомя с ней всех арестованных (а позднее – подсудимых) по Второму ленинградскому (околосамолетному) процессу. И на том спасибо.

После того, как ленинградская сионистская организация отказалась от угона самолета, рижане, которых Бутман зажег этой идеей, не подчинились решению Комитета нашей организации, мотивируя это тем, что они не являются ее членами. Руководство операцией перешло к Эдуарду Кузнецову, ветерану антисоветских процессов, который привлек к участию тоже уже судимых за так называемую антисоветскую деятельность Юрия Федорова и Алексея Мурженко. При поддержке бывшего летчика Марка Дымшица был разработан план угона маленького, кажется двенадцатиместного, самолета из аэропорта «Смольное» под Ленинградом, следующего рейсом Ленинград – Сортавала с остановкой в Приозерске. Когда я ознакомился с этим планом, читая дело в кабинете следователя КГБ, мне казалось, что на каждом листе крупными буквами написано: осторожно, провокация! Так, предлагалось: 1) закупить все билеты на рейс (это нереально, так как всегда должна оставаться бронь для номенклатуры); 2) посадить захваченный самолет в Приозерске (Дымшиц должен был сделать это, поддерживая контакт с диспетчерами аэропорта!); 3) выгрузить

связанных летчиков и дополнительно посадить без билетов четырех участников, которые приедут в аэропорт; 4) взлететь и лететь в Швецию. Я не мог себе представить, как человек в здравом уме, да еще профессиональный летчик, мог признать такой план реальным, а не составленным специально для того, чтобы его «случайно» не удалось осуществить. Эдуард Кузнецов позднее говорил, что его задачей было не бежать из СССР, а поднять международный шум вокруг проблемы выезда из СССР. Что ж, если все так, то это ему удалось. Участники, готовившие угон самолета, были арестованы в аэропорту «Смольное» и в лесу под Приозерском.

* * *

За этим последовал, как и ожидалось, полный разгром нашей организации. Активисты еврейского движения были арестованы в разных городах Советского Союза. Власти считали, что Комитет госбезопасности выполнил свою задачу и что с сионизмом в СССР покончено, что в то время и было целью властей.

А начало ее выполнения уходило в далекое прошлое. Так, генерал КГБ Е.П.Питовранов предложил Сталину использовать провокации в борьбе с евреями, желающими выехать в только что созданное в 1948 году Государство Израиль. Согласно его идее, в разных городах СССР нужно было создавать сионистские группы под наблюдением сотрудников госбезопасности и через эти группы наиболее полно выявлять тех, кто хочет выехать из СССР, и тех, кто имеет выраженное и активное национальное самосознание. При этом не надо спешить, а лишь в нужный момент провести массовые аресты и другие репрессивные действия.

Провокации и ранее были одним из методов, применяемых в работе органов госбезопасности. Таким было дело СОФИН («Союз освобождения финских народностей») в 1931 году против финских народов, с которого практически началось уничтожение всего национального (в том числе русского), а позднее, года с 1943-го, – только всего нерусского. Формула «национальное по форме, социалистическое по содержанию» была идеальным прокрустовым ложем для этой цели. Почти аналогичным нашему «Самолетному делу» было «пресечение» нелегального побега из СССР сразу после Второй мировой войны группы каунасских евреев, спровоцированных летчиком, который сообщал им, что якобы уже много вывез в Румынию. Все они были приговорены к длительным срокам лагерей (я прочитал это в статье Зинаиды Виленской «История одной провокации», журнал «Сион», 1972 г., стр. 203–210; текст которой был любезно предоставлен мне Ильей Слосманом).

В 2018 году в России были арестованы молодые (вплоть до малолетних) члены так называемого экстремистского сообщества «Новое величие». Один из его создателей настаивал на принятии устава организации, что является юридическим доказательством наличия таковой; он же толкал ребят на

противоправные действия и после ареста давал нужные для следствия показания. Все это было и в нашей организации, и все это заставляет подозревать наличие провокации.

В монографии А.Д.Назарова (Москва: Юрлитинформ, 2010) указано, что провокации – один из методов, используемых оперативными сотрудниками для раскрытия преступных сообществ и расследования преступлений, однако государственным органам рекомендовано не злоупотреблять провокационной составляющей в борьбе с преступностью.

Многие предполагают, анализируя организацию операции «Свадьба», что провокация была основной ее составляющей и большинство из нас легко оказались втянутыми в нее, хотя участвовали лишь в обсуждениях. Конечно, хочется узнать, «кто есть ху», как говаривал М.С.Горбачев, но сегодня мы, к сожалению, можем всё только предполагать. Но вот что было бесспорно: 1) руководящее указание, идущее с самого верха, о провокационном выявлении сионистски настроенных граждан и, со временем, эффективным пресечении их деятельности; 2) участие Гилеля Бутмана в создании ленинградской сионистской организации и введении ее юридических атрибутов – членских взносов, программы и устава; 3) инициирование Бутманом обсуждения идеи угона самолета и бегства на нем из СССР (эффективный конец деятельности сионистской организации); 4) попытка Бутмана втянуть руководство Государства Израиль в одобрение идеи захвата самолета (нужно подчеркнуть, что Гилель имел высшее юридическое образование и был следователем в милиции). Кроме того, все планы угона самолета – от рейса на Мурманск до рейса на Сортавалу – были нереальными, и не видеть этого профессиональный летчик Марк Дымшиц не мог, не должен был. Обо всем этом писал Илья Слосман («Второй ленинградский процесс и вопросы, вопросы, вопросы...»).

Все вышеизложенное не оставляет и тени сомнения, что идея и планы операции «Свадьба» разрабатывались в КГБ и были лишь озвучены Бутманом. Не думаю, что Гилель осознавал, что это планы органов госбезопасности. Особенности его непростого характера позволяли опытному человеку манипулировать им так, чтобы он этого даже не замечал. А ум, образование и опыт сотрудников КГБ у меня, бывшего у них под следствием, не вызывают сомнения. Сам же Гилель, по-моему, был и оставался убежденным сионистом, и Государство Израиль было для него высшей ценностью.

* * *

В результате операции «Свадьба» планы органов госбезопасности, казалось бы, были полностью выполнены: все активисты еврейского движения были рассажены на уготовленные для них места. Оставшиеся на свободе стали вести себя тише воды, ниже травы. Никто из них не смел даже пикнуть. Можно было вздохнуть свободно и расслабиться.

Но случилось невероятное: евреи не покорились! Дорожка в ОВИР не заросла травой, люди подавали документы на выезд, зная о неминуемом отказе, за которым следовал переход на работу в котельные тех, кто еще вчера был, к примеру, научным сотрудником.

Отказники устроили сидячую забастовку в приемной Верховного совета. Евреи всего мира, у которых до этого всегда было на двоих три мнения, сплотились в борьбе за выдачу советским евреям разрешения на выезд. Организатором в этом деле стал светлой памяти Яков Бирнбаум. Еще в 1964 году он создал в Нью-Йорке студенческую организацию по борьбе за свободу советских евреев. К ним примкнули христианские религиозные лидеры, в том числе Мартин Лютер Кинг. Мощным толчком к активизации деятельности этой организации послужили попытка бегства из СССР на захваченном самолете 16 человек, преимущественно евреев, доведенных до отчаяния невозможностью вырваться из СССР (операция «Свадьба»), последовавшие за этим ленинградская попытка угона самолета и судебные процессы против еврейских активистов. Суровый приговор вызвал протесты во многих странах. К ним я бы отнес в первую очередь заявление Папы Римского и вмешательство Президента США Ричарда Никсона, поддержанное американским Конгрессом (поправка Джексона – Веника; см. в Интернете очерк о Якове Бирнбауме многолетнего лидера русскоговорящих евреев Нью-Йорка Инны Аролович). Произошло то, чего даже не могли предположить организаторы операции «Свадьба»...

Лет восемь назад в беседе с Гилелем я сказал: что бы ни говорили об операции «Свадьба» и ее инициаторах, – главное, что она вместе со всеми другими событиями оказала положительное влияние на процесс выезда советских евреев из СССР. Гилель согласился со мной.

Послесловие

Я родился в СССР, в Сибири, в городе Кемерово в декабре 1941 года, куда моя мать, адвокат, была эвакуирована еще в августе из уже находящегося под угрозой блокады Ленинграда. В мае 1944 года, сразу после снятия блокады, мы вернулись домой. Отец – военврач второго ранга (служил на флоте), кандидат медицинских наук, специалист по нейрогенетике – вернулся с фронта в 1946 году. Он был демобилизован по запросу академика С.Н. Давиденкова для изучения актуальных проблем этого раздела неврологии, к чему он и приступил сразу в стенах ленинградского ГИДУВ'а (Государственный институт для усовершенствования врачей) на кафедре нервных болезней, руководимой академиком Давиденковым. Но в 1948 году генетика в СССР была объявлена лженаукой («реабилитирована» была только в 60-е годы). Опальные генетики переквалифицировались в ботаников, химиков, биологов. Отец занялся изучением нейроинфекций – в частности, нередкого тогда в Ленинградской области, на Карельском перешейке, клещевого энцефалита.

Распространение его не укладывалось в привычные эпидемиологические рамки для такого рода инфекций. Отец пришел к предположению, что, помимо укуса клеща, имеется и другой путь распространения инфекции – употребление сырого козьего молока. Пока шли дебаты и проверка гипотезы в вирусологической лаборатории академика Смородинцева (предположение отца подтвердилось, и кипячение козьего молока оборвало этот путь передачи заболевания), отца (еврей все-таки!) уволили «за профнепригодность». Это было в конце 1951 года. Антисемитизм в Союзе набирал обороты, и папа был доволен хотя бы тем, что его не объявили вредителем и не посадили.

Мама работала в Ленинградской городской коллегии адвокатов, где было много евреев (в том числе, и она сама). И там в эти годы тоже началась чистка кадров под предлогом проверки качества работы. В одной из своих защитительных речей по делу малолетнего ворюшки она сказала, что «Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют всё внимание воспитанию подрастающего поколения». Проверяющие дали неожиданное толкование этой маминой фразе и пришли к следующему заключению: «Если адвокат считает, что всё внимание уделяется делу воспитания подрастающего поколения, значит, она считает, что больше ни на что Партия и Правительство внимания не обращают. А это уже грубая ошибка, несовместимая с высоким званием советского адвоката». Встал вопрос об отчислении мамы из коллегии.

Создалась критическая ситуация: папа был уволен, на другую работу его не брали, маму со дня на день должны были выгнать с работы. Обстановка дома была та еще! Правда, вскоре один из тех, кто затеял всю эту историю против мамы, сдох, и этот кошмар с отчислением мамы из коллегии адвокатов прекратился. А папа нашел работу врача-невропатолога в поликлинике. Однако на прежнее место в ГИДУВ его не приняли: эпидемия кончилась, а карантин остался. Его пригласили на работу научным сотрудником в Лабораторию медицинской генетики в Ленинграде лишь десять лет спустя, когда генетика как наука начала возрождаться из пепла и старые кадры были на вес золота. Лабораторией руководила бывшая папина коллега, ученица и вдова академика Давиденкова, тогда – профессор, а позднее – член-корр. Академии медицинских наук Е.Ф. Давиденкова.

Все, что творилось в стране, как в зеркале отражалось и в кругу детей. В нашем классе в 1952–1953 годах верховодила группа подонков, которые избивали тех, кого считали евреями. Кроме меня, это были мой товарищ, ныне живущий в Израиле профессор-аллерголог Александр Зисельсон, и еще один мальчик – полуеврей, носивший русскую фамилию матери. Но от детей ничего не скроешь, и ему особенно доставалось за то, что он «поддельвался под русского». Эти издевательства прекратились вскоре после того, как отдал концы Сталин. С лета 1954 года начался золотой

период моей жизни. Я спокойно учился в меру своих средних способностей. Устойчивый интерес к естественным наукам определился рано, и к началу девятого класса я решил стать врачом. Родители правильно отреагировали на тогдашнюю обстановку, на мои средние способности, упорство в занятиях и явно выраженный интерес к выбранной стезе. Они взяли мне репетиторов по физике, химии, русскому и немецкому языкам – тем предметам, по которым были вступительные экзамены в медицинский институт. Я не роптал, занимался упорно, так как понимал, что другого пути нет. К тому же заниматься химией мне было просто интересно.

В 1958 году, сразу после окончания школы, я поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт. Хотел, конечно, поступать в знаменитый Первый медицинский, но побоялся – туда конкурс был больше. И оказалось, что все к лучшему: в первый же день занятий я обратил внимание на старосту нашей группы – худенькую, стройную, буквально прозрачную девочку с косичками, уложенными «в корзиночку», и подумал, что за ней можно поухаживать. И не ошибся. Она стала моей женой и является таковой до сих пор.

И еще одна судьбоносная встреча произошла в конце первого курса: я увидел объявление о заседании студенческого научного общества кафедры гистологии и эмбриологии с докладом зав. кафедрой профессора А.Г.Кнорре о причинах дифференцировки тканей. Мне эта тема показалась интересной, и я пошел на это заседание. Профессор А.Г.Кнорре рассказывал об опытах Шпемана, поставленных в его лаборатории в первой трети XX века (за что он впоследствии получил Нобелевскую премию). Шпеман и его сотрудники выяснили, что на развитие эпителиальных клеток определяющее, детерминирующее влияние оказывает подлежащая ткань. У меня пронеслось в голове, что так, наверное, и возникает рак! С тех пор проблема клеточной дифференцировки – моя проблема, а гистология – моя любимая наука. С этим ощущением я живу всю жизнь. За годы учебы в институте, работая в студенческом научном кружке, я написал и опубликовал в ведущем научном журнале – «Доклады АН СССР» – статью на эту тему. Институт я окончил с отличием, но в аспирантуре меня не оставили (по известным причинам).

Поскольку в нашем институте не было военной кафедры, я попал на срочную службу в армии. Я боялся этой абсолютно незнакомой мне жизни, но с приятным удивлением отметил, что в моем окружении, там, где мне пришлось служить, антисемитизма не было. Старшие офицеры прошли войну, и я ощущал их доброе ко мне отношение. Воспоминания об этом (все же тяжелом) времени – самые теплые.

После прохождения службы по представлению тогда уже члена-корр. АМН СССР проф. А.Г.Кнорре я попал в одну из лабораторий Военно-медицинской академии. Выполняя там свою непосредственную работу, мог не упускать из виду интересующую меня проблему клеточной

дифференцировки.

Затем произошло то, о чем рассказано в моем очерке. Отбыв наказание, после освобождения я работал участковым педиатром, затем – врачом школьно-дошкольного отделения (совмещая эту работу с работой врача неотложной помощи в детской поликлинике, а позже – на станции скорой и неотложной помощи); неоднократно вывозил детей на оздоровительную кампанию (детские сады – на дачи, школьников – в пионерские лагеря). Прошел стажировку в детской больнице.

Я подавал заявления с просьбой разрешить мне выезд на постоянное место жительства в Израиль, но регулярно получал отказы, мотивированные моей прошлой работой в военном учреждении. Хотел получить узкую специализацию по детской гастроэнтерологии, но мне отказали: «Мы не будем готовить кадры для Израиля».

В 1978 году меня перевели в роддом, еще работавший, но подлежащий закрытию. Это «подлежание закрытию» продолжалось два года. Там я приобрел опыт работы неонатологом, стал исполняющим обязанности зав. отделением (наверное, потому, что никто не хотел занимать это место).

Наконец, роддом закрыли. Меня взяли в другой роддом – временно, на место женщины, находящейся в декретном отпуске. Вскоре я стал дежурантом. Наш роддом специализировался на ведении респираторно-сенситизированных женщин. У них часто рождались дети с гемолитической болезнью, так что дежурному врачу приходилось не вылезать из операционной, делая несколько переливаний крови за сутки. Но это давало возможность собрать хороший материал для научного исследования этой патологии, что я и стал делать. Меня оставили в штате сотрудников роддома, несмотря на то что, уже работая там, я подал заявление на выезд в Израиль. Отношение ко мне администрации и товарищей по работе оставалось хорошим. А потом началась «перестройка». Материал для диссертации был собран, и я пошел на прием к Главному прокурору Ленинграда с просьбой сказать, будут ли у них возражения в связи с моим желанием защищаться. Он ответил, что возражений не будет, обстановка изменилась.

В 1990 году я был реабилитирован за отсутствием состава преступления. И это произошло несмотря на правду в изложении фактического материала – такое может быть только, если преступление было совершено по провокации.

Я не назвал здесь имен многочисленных русских людей, которые оказывали мне поддержку в трудные годы. Память о них я буду хранить до конца моих дней. Я успешно защитил кандидатскую диссертацию и через два года уехал с семьей в Штаты. Израиль был и остается моей мечтой, но члены моей семьи высказались иначе, а разрушить семью я оказался не в силах.

Трудности жизни в Америке связаны в основном с языковым барьером. В молодости я учил немецкий язык, а английский стал изучать уже пятидесятилетним. О подтверждении врачебного диплома не могло быть и речи. Однако в Нью-Йорке я закончил цитотехнологическую школу и после этого поступил на работу в лабораторию по иммуногистохимической диагностике злокачественных заболеваний, что хорошо совпадало с моими научными интересами. Там я проработал более 16 лет, и в марте 2015 года, в возрасте 73 лет, был уволен «в связи с ликвидацией позиции». Все эти годы я в качестве волонтера занимался научной работой в области онкоиммуногистохимии под руководством доктора Бурштейна в медицинской школе Маунт Синай и публиковал обзоры по проблеме онкогенеза, что наполняло смыслом мою жизнь. Сейчас по мере сил я продолжаю эту работу, которую моя жена – с присущим ей юмором в мой адрес – называет трудотерапией. Для меня же это – жизнь.

На качелях

Вы
 хотели
 на качели,
 На
 качелях
 покататься.
 Посильнее
 раскачаться,

 Проволока
 чтоб
 скрипела,
 Чтобы
 Тонко
 -тонко
 пела
 И
 боялась
 оборваться,

 Чтобы
 мальчики
 смотрели,
 Чтобы
 платье
 не
 мешало,
 Чтобы
 тетка
 не
 кричала.
 Подлетать
 к верхушке
 ели.

Позабывшееся
 лето,
 Лето
 где-то
 под Москвою.
 И
 пльвет
 над
 головою
 Все,
 чего
 давно
 уж
 нету.

Отдать швартовы!

4:44 – время нашей Любви.
 На рассвете в тебя уплываю.
 Три четверки: швартовы отдать!
 Все забыть – ничего бы не знать,
 Плыть и плыть в никуда.
 Наш корабль с тобою
 Качает волна.

И волна за волной
 С головой накрывают.
 И шепчу я, слова повторяю,
 Единички к ним три прибавляю:
 5:55 – три пятерки.
 Слышу снова и снова:
 Отдать швартовы!

Три шестерки, куда вы девались?
 Бросим якорь?
 Пора нам рубить паруса?
 Твой будильник звенит.
 Я другие придумал часы:
 Три семерки –
 семь футов под килем!
 Но тебе на работу пора...
 Возвращайся скорей...

Вечер. Двойки одни –
 22:22.
 Тушим мы все огни,
 Повторяя слова,
 Что новее нам новых:
 Отдать швартовы!

Дотанцуй меня до конца любви

(Из Лени Козна –
 “Dance me to the end of love”)

Танцуй со мной скрипкою в огне.
 Танцуй со мной, танцуй во мне.
 Дотанцуй меня до своей красоты,
 Чтоб от страха спасти.
 Дым ползет из трубы.
 Неужели и мы?

Ты оливковой веткой меня подыми,
 Чтоб от страха спасти,
 Чтоб спасти из тьмы.

И голубкою путь к себе в дом укажи,
 Дотанцуй меня до конца любви.
 До конца любви
 Не бросай меня, докружи.

Когда круг будет пуст, упаду в красоту,
 Всем движениям любви отвечая в саду:
 Снова снится мне сон – входим мы в Вавилон,
 Замедляя чуть танец любви.

Позови меня, позови,
 Дотанцуй меня до конца любви,
 Затанцуй меня, закружи.

Дотанцуй до свадьбы меня потом,
 Забирая в полон
 Скрипичным огнем.
 Затанцуй меня нежно,
 Долго-долго танцуй.
 Мы плывем под любовью, а теперь над ней
 До конца любви,
 До конца любви.
 Дотанцуй меня до конца моих дней.

Дотанцуй меня до наших детей,
 Нас молящих на свет их родить.
 Распахни шатер, все пологи порвав, –
 В поцелуях наших там каждая нить –
 Дотанцуй меня, дай им жить.
 Дотанцуй меня до конца любви.
 Дотанцуй меня до своей красоты скрипкою в огне.
 Танцуй со мной, танцуй во мне,
 Чтоб от страха спасти, чтоб спасти из тьмы.
 Погладь меня своею рукой.
 До конца любви дотанцуй со мной.
 До конца любви,
 До конца любви
 Дотанцуй со мной.

«Спасибо деду»

Победу над фашистами так долго отмечали,
 что адский круг замкнув, их отраженьем стали
 в том зеркале кривом, где моль
 на ботоксе – король.
 Ну чем для ватников не новый Петр Первый
 из кагэбэшных смердов?

– Спасибо деду за Победу –
 Петру плешивому под пледом,
 – Мы можем повторить!
 Шпанистую покажем свою прыть
 из бункера на карантине.
 ...И повторили в Украине.

Новопетровская шпана
 величьем ваточным полна,
 совковой сочинской мечтой –
 Империи глумливой и пустой,
 стоящей во главе крошечных
 полков потешных, эфэсбэшных.

